

В. В. ШУЛИКОВСКАЯ

НАСТОЯЩИЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ВО ВРЕМЕНИ

БОН АНЦА

ИЖЕВСК
2008

УДК 821.161.1-4

ББК 84(2)6-46

Ш 955

Шуликовская В. В.

Настоящие путешественники во времени. Ижевск: ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца», 2008. — 384 с.

Должен ли человек смириться с необратимостью времени? Как изменит отдельную личность и общество в целом возможность произвольно управлять ходом времени? Кто и для чего создал этот мир? Существуют ли «скрытые пружины мирозданья» и что случается с теми, кто вообразил, будто знает механизм их действия? Эти и многие другие вопросы представлены в данной книге не с научной, а с художественной точки зрения, которая, по мнению автора, оставляет больший простор для воображения и самостоятельного истолкования текста, требуя от читателя обязательного сотворчества и соучастия.

ISBN 978-5-903140-24-4 (ООО ИИЦ «Бон Анца»)

© В. В. Шуликовская, 2008

Человеческие риски: от *Homo sapiens faber* к *Homo in tempore*

...Бесстрашие — пусть будет твой пароль,

Когда тебя ведут, ведут сквозь строй
От самого рождения до смерти
По безупречно горестной кривой,

Которую ни взвесить, ни измерить.
И, вспыхивая, гаснет твое Я,
Способное запоминать и верить

Сквозь плоские картины бытия,
В которые тебя лицом швыряют.
И это — жизнь бесценная твоя!

Один из наиболее верных способов ощутить бессилие своего интеллекта — это попытаться разглядеть сколь угодно далекое будущее, как лично свое, так и общее, человеческое. С детства нас учат жить, словно жизнь потенциально бесконечна. Правильным считается умение в любом возрасте отбрасывать прошлое и надеяться на что-то лучшее в будущем, ставить перед собой цель и достигать ее. Тот факт, что однажды этого будущего не станет, принято словно бы не замечать, и в любой культуре существует целый ряд установлений, призванных правильно ориентировать нас в отношении к смерти, независимо от того, что под ней понимать: небытие, загробную жизнь или череду реинкарнаций. Действительно, постоянное осознание грядущего небытия способно любого человека превратить в «постороннего» в стиле Камю. Но если каждому из нас знакомо то чувство ужаса и отвращения, которое охватывает человека при мысли о конечности его существования, то недостаток воображения, к счастью, мешает большинству людей по-настоящему представить себе бесконечно долгую жизнь — и ощутить не меньший ужас и не меньшее отвращение. Вера в загробную жизнь еще не означа-

ет ответа на вопрос, чего ждут, какие цели ставят, на что надеются обитатели наших будущих миров, а представить себе существование, лишенное привычной духовной деятельности, практически невозможно. Бесцельный поток перевоплощений также означает бессмысленность существования, а если перевоплощения происходят направленно, ради достижения какого-то иного, лучшего состояния (условно назовем его нирваной), то опять-таки непонятно, к чему должна стремиться душа, этого состояния достигшая. Все вышесказанное, относящееся к индивидуальной жизни, справедливо и в масштабах человечества, независимо от того, чего мы ждем: царствия Божьего, грядущей гибели Вселенной или бесконечного повторения ее истории. Можно сказать, что для адекватного описания отдаленного будущего необходимы модели столь же сингуллярные, как и для описания отдаленного прошлого (возникновения Вселенной).

В действительности любая из указанных систем взглядов неявно основана на гипотезе о том, что наше восприятие времени — единственно возможное и неизменное. Постоянно пытаясь преобразовать пространство, человек никогда не ставил задачу о преобразовании времени или хотя бы об изменении своего отношения к нему: и то, и другое считается одинаково невозможным. Между тем переосмысление времени, связанное с существенным изменением психики, невозможно не более и не менее, чем сам факт существования нашего мира (совершенно невероятного с научной точки зрения), зарождения жизни или появления разума и души у конгломерата белковых молекул. И неважно, потребуется для него «первотолчок» Всевышнего или какая-нибудь бифуркация. В результате может возникнуть иная форма существования человека, которую мы условно будем называть *Homo in tempore*.

На самом деле потенциальные *Homo in tempore*, то есть люди, способные к иному восприятию времени, вполне могут существовать уже сейчас. Ребенок, родившийся *Homo in tempore*, ни анатомически, ни интеллектуально ничем не

отличается от прочих людей, но с самого раннего младенчества он часто ставит окружающих в тупик тем, что не желает безвозвратно взросльеть и изменяться. *Homo in tempore* предпочел бы прожить свою жизнь вразбивку, перемешивая детство со взрослостью, молодость — со старостью. Как в книгах, которые он, выучившись читать, перечитывает по многу раз, перелистывая их в разные стороны, прокручивая ленту событий от начала к концу и от конца к началу. Как в видеофильмах, которые он любит смотреть, перемешивая эпизоды. Эти дети любят разглядывать картинки, радуясь, что всегда можно вернуться от одной части полотна к другой, что глаза обегают картину в произвольном порядке. Невозможность проделать то же самое с собственной жизнью вызывает у них интуитивный протест.

Несколько позже, по-видимому, с наступлением полового созревания, *Homo in tempore* начинает испытывать спонтанные изменения сознания, которые характеризуются необычным ощущением своего Я во времени. Если представить сознание современного человека в виде картинки (рисунок 1), то мы увидим, что в каждый момент времени абсолютный максимум приходится на состояние «сейчас», несоизмеримо меньшая часть сознания распределена между прошлым (память), и еще меньшая часть связана с будущим (предчувствия). Иногда, во сне, в трансе, оказывается возможным сократить этот разрыв между одним настоящим моментом и всеми остальными, заставив человека заново пережить какие-то картины прошлого и — иногда, намного реже и с меньшей интенсивностью — будущего.

У *Homo in tempore* этот разрыв изначально намного меньше, его сознание чуть-чуть размазано во времени даже в отношении «сейчас», хотя привычка и воспитание в человеческом обществе позволяют ему практически без труда концентрироваться на одном моменте, как это делают все окружающие его люди. В раннем детстве, пока количество воспоминаний не превышает некоторой критической массы, этим его отличие от окружающих и исчерпы-

вается. Но однажды Homo in tempore внезапно оказывается во власти какого-то прошлого духовного состояния, он ощущает свое прошедшее, хотя и чисто умозрительно, но настолько близко, что, кажется, малейшего усилия воли не хватает, чтобы это состояние превратилось в реальность. Воспоминание об одном моменте прошлого влечет за собой, как набор обертонов у музыкального звука, целую серию воспоминаний разной степени интенсивности, так что иногда картина жизни становится сплошной (рисунок 2). (Не эта ли способность внезапно просыпается у умирающих, когда они говорят, что вся жизнь за один момент прошла у них перед глазами, хотя и не могут объяснить своих ощущений?) Намного реже и не настолько интенсивно он одержим картинами будущего: обычный приоритет воспоминаний над предчувствиями сохраняется. (Впрочем, это зависит от индивидуальных особенностей, так как способность к пророчеству, такая же сингулярная, может доставлять Homo in tempore наряду с возможностью ощущать себя в нескольких моментах времени сразу.)

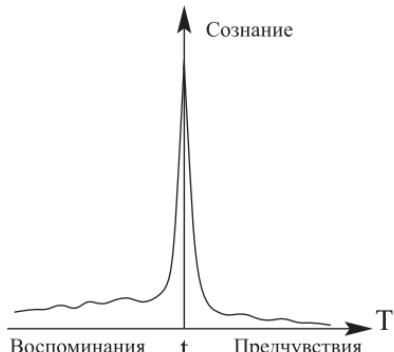


Рисунок 1

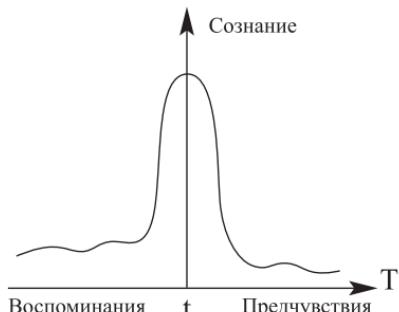


Рисунок 2

Эти состояния сознания, как правило, сопровождаются сильным эмоциональным возбуждением, в котором преобладает горечь от невозможности физически перенестись в такой, казалось бы, близкий момент прошлого. В эти моменты Homo in tempore ощущает себя словно влюбленный,

который вроде бы и понимает, что без любви его жизнь была и удобней, и проще, но в то же время не готов отказаться от нее ни за какие сокровища мира. Иногда груз имеющихся воспоминаний кажется *Homo in tempore* чересчур тяжелым для того, чтобы приобретать новые. Тогда он клянется себе, что сбросит этот груз, подавит свои необычные способности и станет таким же, как все. Не исключено, что после ряда упорных попыток это ему удастся. Но в действительности он бы предпочел пойти иным путем: остановить накопление новых воспоминаний и навсегда остаться среди имеющихся, «уйти в сновидения», выражаясь языком мифологии. И заодно отказаться от того неизведанного, что могло бы его ждать за пределами этого мира. Но что с того, если, переживая снова и снова имеющуюся жизнь, *Homo in tempore* не будет знать, что проживает ее не впервые.

Как уже было сказано, необычные состояния сознания наступают спонтанно и в этом отношении напоминают пробуждение разума у маленького ребенка: иногда, из черноты небытия, внезапно возникает картина окружающего мира, чтобы через несколько секунд вновь провалиться в черноту. Но если ребенок, живущий среди разумных взрослых людей, постепенно обретает способность находиться в сознании сколь угодно долгое время, то *Homo in tempore* лишен общества себе подобных, поэтому его необычные душевные состояния, которые можно определить как проблески *тэмпорального сознания*, так и остаются временными и спонтанными, точно проблески разума у младенца, попавшего к диким зверям. Возможно, для полного духовного развития *Homo in tempore* не хватает какой-то особенной системы сигналов, выполняющей ту же роль, которую в нашем обществе выполняет язык. Только в будущем, когда количество людей, способных по-особому воспринимать время, превысит некоторое пороговое значение, *Homo in tempore* смогут навсегда перейти к своему новому состоянию сознания. Пока же им предстоит жить, во всем подражая жизни других людей, хотя и отличаясь от них.

В лучшем случае *Homo in tempore* могут попытаться как-то исследовать свои особенности и научиться хотя бы отчасти управлять ими.

Есть воспоминания, которые редко возвращаются в сознание *Homo in tempore*, есть моменты времени, которые он впоследствии будет переживать очень часто. С возрастом он научается определять будущую интенсивность своих воспоминаний о данном моменте жизни по ощущениям, которые вызывает этот момент при непосредственном, физическом проживании.

Постепенно у него накапливается «коллекция» нужных состояний сознания, каждое из которых служит символом какого-то возраста. Экспонатами этой коллекции служат периоды времени, символизирующие состояние идеального здоровья, совершенной красоты, влюбленности. Таким образом, *Homo in tempore* стремится хотя бы на один период времени достигнуть подобных состояний, чтобы иметь возможность впоследствии возвращаться к ним усилием своей воли. Впрочем, моменты горя, боли и страха — такая же ценная часть его коллекции. Эти воспоминания, отличные от обычных своей интенсивностью, создают у *Homo in tempore* особенное понимание истории своей жизни, в которой он пытается отыскать внутреннюю логику. Можно сказать, что он интуитивно научается ощущать «длительность» каждой эпохи (в смысле Броделя), но в масштабах истории одной души. Он попытается управлять и этой своей способностью, задерживая в сознании ощущения одной эпохи, вызывая по своей воле нужные ему воспоминания. Поэтому одним из отличительных признаков *Homo in tempore* служит доскональная память на все события, происходившие в его жизни.

Впрочем, зачастую *Homo in tempore* отрицательно относится к особенностям своей духовной жизни и старается скрывать их, поэтому довольно часто взрослый *Homo in tempore* по поведению ничем не выделяется из общей массы, по крайней мере, на первый взгляд. Впрочем, можно заметить, что в первой половине своей жизни он кажется

духовно старше своих лет. Слишком часто в нем просыпается внутренний наблюдатель самого разного возраста, который с грустной и доброй усмешкой смотрит на его детские шалости и заблуждения юности. И в детских играх он порой проявляет безразличие глубокого старика. Во второй половине жизни *Homo in tempore* становится младше своих лет, не столько интеллектуально, сколько духовно. Он надолго сохраняет, по своему желанию, взгляд удивленного ребенка, детский интерес к непознанному миру и максимализм юности.

Эта способность делает его эмоциональную жизнь осмысленной, тем более что обычное состояние счастья для *Homo in tempore* практически недостижимо. Пытаясь искать духовную опору в существующих религиозных или философских системах, *Homo in tempore* будет отбрасывать их одну за другой, потому что ни в одной из них не существует свойственного ему осознания времени. Находя любовь, понимание, дружбу, он не может отречься от предыдущих моментов своей жизни, в которых ничего подобного не было. По этим же причинам не вызывает особых эмоций приобретение новых вещей, к тому же в момент их приобретения *Homo in tempore* способен внутренним взором разглядеть их будущую историю. Да и вообще, он стремится по возможности не менять внешние декорации своей жизни, так как это служит для него источником дополнительной душевной боли, связанной с невозвратимостью прошлого. Очень часто в сознании *Homo in tempore* происходит замена мгновенных показателей счастья на интегральные. Отсюда, например, следует, что он не станет приносить в жертву свои молодые годы ради осуществления каких-то жизненных планов в зрелом возрасте, зная, что тягостное эмоциональное состояние молодости никогда полностью не покинет его и снизит средний уровень счастья его жизни. Мысль о том, что ради сохранения высоких средних показателей жизнь надо вовремя прекратить, не вызывает у *Homo in tempore* ни ужаса, ни неприятия (даже если он и не сделает этого, ориентируясь на принципы современ-

ногого ему общества). Ведь прекращение жизни не отменяет того факта, что в течение некоторого промежутка времени *Homo in tempore* жил.

Строго говоря, точно таким же образом *Homo in tempore* будет относиться и к чужим страданиям, и к чужой жизни и смерти. Тот факт, что один из его знакомых не дожил до 2000 года, для *Homo in tempore* представляет собой явление того же порядка, как тот факт, что его знакомый не посетил Австралии. Эти два события, с его точки зрения, должны вызывать у окружающих одинаковую печаль. Человек, не доживший до 30 лет, похож на экскурсанта, не осмотревшего часть экспозиции, возможно, не самую лучшую. Желание избавиться от страдания вызывает недоумение, ведь невозможно отменить тот факт, что в течение определенного времени это страдание существовало. Однако внешне *Homo in tempore* старается соблюдать существующие в обществе этические нормы — из уважения к окружающим, из сочувствия к их ограниченности, к неумению понять то, что понимает он. Впрочем, он осознает необходимость обыденного отношения к течению времени, потому что истории человеческих жизней, прожитых обычным способом, создают для *Homo in tempore* ту канву, по которой он впоследствии будет вышивать узоры своих воспоминаний. Как бы ни были красивы эти узоры, без канвы они превратятся в хаос спутанных нитей. Кроме того, *Homo in tempore* рассматривает современную ему культуру как источник героико-романтической компоненты своего существования, потому что при его отношении к времени и героизм, и романтика возможны только в качестве декоративного элемента. У самого *Homo in tempore* существует иная, «неподвижная» этика, во многом ещё более жесткая. Действительно, он вынужден избегать постыдных, подлых ситуаций, поскольку для него не существует забвения или искажения памяти, этой своеобразной косметики души. *Homo in tempore* знает, что ему придется вновь и вновь переживать свои гадкие поступки, единственное, что он может сделать — не забыть их, а как-то переосмыслить, да

и то в очень ограниченной степени. Он не может решать своих проблем путем уничтожения источника раздражения: в прошлом этот источник по-прежнему будет существовать.

Все это во многом ограничивает деятельность сторону жизни *Homo in tempore*. Его осторожность — это осторожность художника, который знает, что у него нет возможности исправить ни один неудачный мазок. Добавим к этому нежелание менять внешнюю обстановку своей жизни и отсутствие обычной мотивации человеческих поступков. В то же время у *Homo in tempore*, наряду с очень хорошей памятью, есть способность воспринимать самые разные мировоззрения, поскольку ему с детства приходится сочетать свой личный взгляд на мир с общепринятым. В данном отношении его можно сравнить с человеком, который с младенчества говорит на двух языках и поэтому с легкостью усваивает другие. В результате *Homo in tempore* довольно часто способен на духовную, творческую деятельность, которой он занимается либо в рамках «обычного жизнепровождения», либо ради кого-то из окружающих, либо «из любви к искусству». Развлекаясь, он способен взглянуть на существующий мир глазами пещерного человека, глазами гостя из далекого будущего и заметить некоторые черты, не подвластные обычному глазу.

Таким образом, в *Homo in tempore* предчеловек (животное) причудливым образом уживается с собственно человеком и с постчеловеком, добавляя к двойственной биологической и социальной природе современных людей нечто новое. Несмотря на это, ничто не мешает *Homo in tempore* прожить обычную человеческую жизнь, слегка разнообразив ее за счет своих особенностей и теша себя надеждой, что со временем людей, подобных ему, станет все больше и больше, они смогут находить друг друга и объединяться в особые общинны. Представить себе общество, составленное исключительно из подобных людей, в настоящий момент времени невозможно, так как для его возникновения необходимо создавать совершенно иные социальные ин-

титуты, изменять все существующие формы общественного сознания. Процесс этот по своей длительности и сложности сопоставим с процессом развития человеческого общества от полудикого племени до современного состояния. Но процесс этот, наверное, неизбежен, потому что альтернатива — бесконечное движение вперед во времени либо бессмысленные и бесконечные циклы — кажется еще в большей степени безнадежной. Кстати, предполагая, что на определенном этапе своего существования цивилизация перестает «бесконечно обустраивать будущее» и устремляет свое внимание на уже имеющийся отрезок истории, мы сможем разрешить противоречие, известное как «основной парадокс ксенологии» (или «молчание космоса»).

2007 г.

НАСТОЯЩИЕ

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

ВО ВРЕМЕНИ



Настоящие путешественники во времени. Утопия

Пролог

Святой отец Франциск был совсем не стар...

Действительно, святой отец Франциск был совсем не стар, и потому его давние, еще монастырские служки удивленно слушали, как надрывно скрипит под его крепким телом ветхая лестница и как вторит сегодня этому скрипту тяжелое дыхание святого отца.

Над домом провинциального инквизитора занимался рассвет. Святой отец поднялся в свои покои, которые в мыслях до сих пор привычно именовал спальней, и хмуро взглянул на серое зарешеченное небо в окне. Как же слезятся глаза. Словно это его первая бессонная ночь в страшном подвале собственного дома, когда он поднимает на дыбе еретиков: «Признайся! Признайся!» Все быстрее и быстрее. И руки дрожат, как у мальчишки, словно не знает он, что сегодня, как всегда, торжественно огласит приговор и сегодня же сожгут на костре этого молодого человека с дьявольской черной бородой. Да, все было как всегда, если бы он не узнал его, избитого и израненного. Просто удивительно, он совсем забыл, а ведь должен был вспомнить всю историю еще раньше, еще когда его послали инквизитором в этот убогий городишко. Святой отец Франциск стремительно плеснул вина в массивный холодный бокал. Потом достал белый порошок и подсыпал себе то, что впоследствии назовут цианидом. Потом вспомнил: «Яд не принесет мне избавления». Свалился на кровать, не разобранную, даже не скинув своей грязной рясы. Нет, он не мог спать. Он снял нательный крест, крупный, тяжелый, и нажал пальцем на едва заметный выступ возле головы Христа. Тайник открылся, и в руках святого отца оказался медальон, он раскрыл и его наконец взглянул на



Пролог

лицо, которое хотел увидеть всю ночь, с тех пор как поймал взгляд обвиняемого и узнал его. Святой отец взгляделся в портрет. Совсем молодой человек. Классические черты лица. Светлые кудри окружают высокий лоб. Голубые глаза... Что в них затаилось в тот миг, когда щелкнул фотоаппарат? Страх? Тоска? Его обычная самовлюбленность?

Нет, не от бессонной ночи застыл сейчас в молчании святой отец Франциск. Просто он вспомнил, что когда-то его звали совсем по-другому. Когда-то его звали Лич, и он любил это имя.

ЧАСТЬ 1

ты —
наша случайность



Часть 1

ТЫ — НАША СЛУЧАЙНОСТЬ

Это было сотню лет назад...

Впрочем, если уж быть совсем точным, это будет много веков спустя. Их было трое. Сколько он помнил себя, их всегда было трое: Анж, Лич и Эвáр. Это Анж, еще в первые их сознательные дни, придумала такие смешные сокращения для имен, с тех пор они друг друга иначе и не называли. Анж была немного младше его, совсем немного, а Эвар — старше. Да, был день, когда они вместе строили песчаные замки на берегу сумрачного моря, ибо родной город Лича был морским; под грозовым небом, под шелест темных ветвей, пока мать Эвара, проклиная все на свете, не утащила их домой. Потом они вместе, забившись в угол кровати, учились читать большие яркие книжки, уже тронутые временем. Потом вместе мечтали. Личу исполнилось двенадцать, когда он понял, что любит Анж, и пятнадцать, когда он признался ей в любви, а Эвар — Эвар стал его лучшим другом. Они заканчивали школу в тот год, и до выпуска оставалось всего несколько месяцев, когда Эвар сказал ему, что собирается стать путешественником во времени.

Вечером Лич долго лежал на кровати, вспоминая хрипловатый печальный шепот друга: «Я не могу не сделать этого, понимаешь? Мне не хотелось огорчать родных, но я не могу. Я тоскую из-за невозможности попасть в прошлое, как слепорожденный тоскует о невозможности видеть».

Лич, конечно, знал, что около двух веков назад один учёный заявил об изобретении Машины Времени. Всеми было признано, что это открытие необходимо хранить в строжайшей тайне. Так до сих пор и хранили. А через год создали Школу Путешественников во Времени. С тех пор немало честолюбивых молодых людей стремилось туда, попада-

ли единицы, да и тех — почти всех — выгоняли после первого года обучения. Лич, как и любой из его знакомых, не видел ни одного настоящего путешественника во времени и не представлял, чем они могут заниматься. Разумеется, благодаря им учебники истории пестрели фотографиями знаменитостей, а в годовщину какого-нибудь важного события по телевизору крутили документальные кадры, о которых раньше можно было только мечтать. Правда, тогда, два века назад, за считанные годы именно с их помощью была ликвидирована преступность: кто станет замышлять такое, зная, что очередной путешественник во времени перенесется в место и время преступления, а потом представит в суде пленку с подробнейшей записью всех событий. Впрочем, им верили даже на слово. Юристам оставалось только определить, заслуживает подсудимый снисхождения или нет. Авторы детективов изощрялись, заставляя своих героев скрыть сам факт грабежа или насилия. В действительности оставались спонтанные преступления под влиянием чувств, но они в эпоху рационального человека казались невозможными. Люди прошлого, несомненно, разнесли бы Школу в клочки, но Лич, как и все вокруг, мирился с ее тайной, словно с черной дырой, куда уходили иногда чьи-то дети и — возвращались ни с чем.

Теперь Эвар решил проникнуть за занавес. Лич считал сумасшествием мечтать о таком, он бы посвятил всю жизнь изучению языков, но когда он сидел в гостях у Анж и листал ее книжки, а она по привычке забилась в угол дивана, когда он украдкой любовался на ее светлые волосы и вспоминал ее чистый прохладный взгляд, она вдруг сказала:

— Знаешь, я думаю, Эвар не поступит в эту школу.

— Не поступит?

— Нет. А ты поступишь. И будешь учиться.

Лич чуть не уронил книгу. Анжи раньше случалось предсказывать будущее. Личу нравилось, что она так делает, только когда они остаются вдвоем, словно это их тайна. Удивительно, но она ни разу не ошиблась, и ее пророчества трогали Лича не меньше, чем светлые раскосые глаза.

В этот день он заявил родителям, что поедет поступать вместе с Эваром. Отец, подвижный, черноглазый, отреагировал мгновенно:

— На что тебе это?

— Там здорово готовят лингвистов, даже за один год в Школе Времени я узнаю больше, чем во всех наших университетах, вместе взятых.

Мать, еще совсем молодая, улыбнулась полууверительно-полуутвердительно:

— А через год ты вернешься домой, — и поправила прическу.

Лич подумал, что у его родителей есть еще один сын. Ни мать, ни отец не показали, как они поражены известием. С тех пор Лич готовился наравне с Эваром к труднейшим экзаменам в школу, о которой ходили легенды. Эвар лучше знал историю, Лич — языки, так что они могли проверять друг друга.

Перед самым отъездом Лич и Анж гуляли в парке, старом городском парке, излюбленном месте для свиданий всех парочек уже не один десяток лет. Анж держалась, как весь последний год, неопределенного-ласково, словно и не знала о его чувствах.

— Ты не боишься, Лич?

— Анж, это всего лишь год, через год я вернусь, я все равно там не смогу.

— Как знать. Ты сделал это из-за меня?

— Я люблю тебя. Анж, я не хочу уезжать вот так.

— Как?

Они совсем скрылись в густой траве. В их городе любили старый парк, в частности, и за множество укромных уголков... Они просто стояли рядом, Анж никогда не позволяла объятий.

Презеленая прохлада,

Приласкай мою волну,

Ту, в которой я тону...

Пело невдалеке радио. Любимая песня Лича.

Еще не оборвался первый куплет, когда Анж вдруг обернулась к нему и сама провела рукой по гладкой щеке.

— Лич, иногда я...

«Это Анж, Анж», — разрывалось в Личе, все быстрее и быстрее. Покоряясь резким ритмическим толчкам крови, он сорвал и бросил на землю куртку.

А потом она поцеловала его и подарила ему свою любовь здесь, в глухом парке, среди густой травы. На следующий день он уехал, не прощаясь, так настояла она. И пока они с Эваром вжимались в спинки кресел самолета, мчавшегося к сборному пункту абитуриентов, и позже, когда они летели в Школу, Лич удивленно рассматривал руки, еще хранившие следы ее тепла, и облизывал губы, так недавно касавшиеся ее губ, и думал, что хранит самое дорогое воспоминание о всей своей прежней жизни.

Особый рейс доставил их к Школе, она словно специально затерялась в какой-то глухи, и только раз в год, в дни вступительных экзаменов, сюда садился самолет. Озираясь по сторонам, Лич понял, что не смог бы даже приблизительно определить расположение Школы. Их везли с закрытыми иллюминаторами. Куда они сели? В тропические леса? В Антарктику? На другую планету? Наверное, координаты Школы тщательно скрываются. Школа была окружена высокой непроницаемой стеной, единственный вход шел через коридор и кабинет директора. Снаружи находилась еще одна ограда, а между двумя стенами, внешней и внутренней, размещался аэродром, общежитие для поступающих и экзаменационные залы. «Закрытый средневековый город, неприступный и страшный», — вспомнил историю Лич и очень захотел превалиться, но ведь Анж предсказала...

Экзамен по физике был вовсе не так суров, как они ожидали, как ни странно, он больше походил на беседу с психоло-

гом. «Что Вы думаете о парадоксе дедушки?» Лич, например, о нем вообще не думал. Экзамен по истории и палеонтологии представлял из себя ответы на длинные, скучные тесты. От поступающих требовали даты и имена, имена и даты. Здесь провалились 9/10 всех желавших поступить, но Лич с Эваром выдержали. А экзамен по лингвистике отсекл Эвара. Лич его сдал. Предсказание Анж сбылось.

Лич запомнил длинный коридор, ведущий в кабинет директора Школы, и дрожащие тени тех, кто пришел сюда на последнее, самое таинственное и, по слухам, самое страшное испытание, какое-то собеседование. Сам он такой же дрожащей тенью маялся, ослепленный солнцем, и невыносимо хотел увидеть Анж. А потом был уютный, удобный кабинет, мягкое кресло и седой, седоусый, очень уютный директор по имени Фатых.

— Знаете ли Вы, молодой человек, кем Вы здесь станете?
— Я буду путешествовать во времени.
— Да, но с какой целью?
— Я люблю историю, мечтал изучать языки, древние. Надеюсь, это будет полезно.
— Так вот. Здесь никого не готовят. Или, если хотите, здесь из людей готовят нелюдей, — Фатых склонил голову. — У Вас есть родственники?

Вопрос был задан так резко, что Лич вздрогнул.
— Да, есть.
— И Вам их не жаль? Вы никому не принесете пользы, если Вы об этом мечтаете, нет, Вы будете скитаться по всем векам, чужой и никому не нужный. Путешественник во времени — не профессия, как Вы, возможно, думали. Вы будете вроде туриста, — Фатых словно задумался, — или разведчика.

«Не буду! Я уйду от вас через год! Если бы Анж не сказала, что я буду здесь учиться, я бы ушел сейчас.» Лич облизал губы.

— Но зачем тогда она?

— Кто?

— Ну, Школа. Такого конкурса нет ни в один университет.

— Низачем. Просто после изобретения Машины Времени на срочно созванную конференцию вошли люди из будущего и рассказали все: и сохранение тайны, и устройство Школы, подробное. Они достоверно знали, что Школа будет существовать. Вот она и существует, хотя все, чьему здесь учат, никому не нужно.

Из слов директора Лич ничего не понял, он только знал, что его втягивают во что-то зловещее, и синие его глаза широко распахнулись от страха.

Напоследок Фатых устало произнес:

— В этом кабинете есть две двери. Если Вы не хотите стать одним из нас, выйдите в ту, в какую вошли. Если хотите — в противоположную, и Вы будете приняты.

Очень медленно Лич встал. Если бы он мог снова выйти туда, к блуждающим теням, если бы предсказания девочки со странными глазами, нежной и ласковой, не имели обыкновения сбываться...

Лич шагнул к противоположной двери, открыл ее и закрыл за собой. Ему показалось, что за ним захлопнулись врата ада.

Ровно через неделю Лич утопал в удобном — по его фигуре — кресле и чувствовал полное удовлетворение жизнью. Он расположился в отдельной кабинке и ловил в наушниках звуки, а потом повторял их, гласные, носовые, открытые и закрытые, передние и задние, согласные, твердые, мягкие, придыхательные, гортанные, щелкающие. Все они были набраны из разных языков, некоторые казались знакомыми, другие — нет. Лич помечал в особой тетради типы звуков и определял предположительно языковую группу или семью. Потом отрабатывал очередную порцию звуков, пока на табло не загорался красный сигнал, озна-

чавший, что задание скопировано успешно. Тогда он регулировал температуру и влажность воздуха в кабинке или подносил к губам стакан с газировкой. Время от времени он повторял: «Ни с кем не обсуждать ни свое, ни чье-либо прошлое, не обсуждать историю эпохи рационального человека, даты упоминать только по внутришкольному времени». Лич взглянул на часы. 1 сентября, 10-00. Год здесь, похоже, не указывают, хотя телевизор в его комнате принимает программы такие же, как и дома.

В тот раз, когда он закрыл за собой дверь Фатыха, он очутился за стеной таинственной Школы: кабинет директора служил как бы входом в нее, — но не увидел там ни палачей, ни орудий пыток. Только солнце и легкий ветерок... Похоже, здесь искусственный климат. И от радостного пейзажа зубы у Лича впервые за все утро перестали жалобно дрожать. К нему подошел смуглый мальчуган в шортах и белой футболке (кто он, портье?) и предложил следовать за ним. Вместе с Личем потянулись те самые дрожащие тени, которые сейчас вновь уплотнились до нормальных людей.

Они проходили по светлым улицам, вызвавшим у Лича смутное воспоминание об идеальном городе. Иногда на пути процесии встречались такие же молоденькие мальчуганы, все в шортах и рубашках, или девушки в легких платьях. Шепоток, неизвестно как родившийся среди вновь прибывших, сообщил Личу, что перед ним люди из obsługi. Лич совсем успокоился, но когда первокурсников вели коридором их нового дома, из ниоткуда навстречу вдруг шагнул злой бородатый человек и крикнул: «Умрите, дети! Умрите сейчас! Потому что потом вы даже придушить себя не сможете! Проклятый SAVER спасет вас!» Нестройные ряды расступились перед ним, и он исчез.

— Неплохой человек, но у него свои проблемы, — заметил им смуглый спутник. Лич перевел дыхание, чувствуя, как утренний кошмар возвращается к нему.

Так их привели в прохладный дом с высокими потолками, мальчуган показал студентам квартиры, где им предстояло теперь жить, и исчез.

Едва Лич переступил порог своего нового жилища, как понял, что год, на который его обрекла Анж, вовсе не будет годом мучений: он еще не жил в такой роскоши. Прихожая в зеркалах вела в комнату, которую Лич окрестил будуаром: это была гостиная с низкими пufами, диваном и камином. Скользкий паркет. Фонтанчик с газированной водой трех типов: минеральной, фруктовой и тонизирующей, — такие же он нашел в других комнатах. Лич включил телевизор и кинулся в кресло, нашел дистанционное управление. Цвет, звук, запах, тактильные ощущения (их научились воспроизводить совсем недавно). Полки, видимо, для книг. Так, право их заполнить предоставлено ему самому. Балкон. Тяжелые шторы. От гостиной шла целая анфилада комнат: обитая шелком спальня с пушистым ковром на полу, просторный кабинет с сейфом и солидным столом, маленький тренировочный зал для занятий спортом, чулан, где Лич обнаружил полотер и пылесос новейших марок, краски, столярные инструменты, ванная, если ее можно так назвать, потому что кроме отдельных ванной, душа, раковины и мини-прачечной там был небольшой, но вполне настоящий бассейн. Лич не удержался, разогнался и долго скользил по зеркальному полу, пока не уперся в стену. Кухня, еще больше ванной. Чего здесь только нет. Лич не очень любил готовить, но теперь он, видимо, изучит всю древнюю экзотику. «Нелегко тебе после всего этого будет вернуться в единственную комнату в типовом доме, где потолки вдвое ниже, а окна — уже.» Последняя из комнат вновь выходила в гостиную, замыкая круг. Все было роскошно, основательно. И во всем ощущалось некое отсутствие стиля, которое заметил даже неискушенный Лич, словно декоратор стремился скрыть время и место постройки дома. «Или меня приучают к быту разных эпох?» Лич усмехнулся и повертел в руках брошюру, которую взял со стола в кабинете. Только два факта неприятно поразили его: брошюра была на его родном языке, а в спальне он нашел чемоданы со своими вещами. Их принесли из общежития, но

когда? «Путешественники во времени», — пробормотал Лич и стал разбирать вещи. Абитуриентов заранее предупреждали, что в случае поступления в Школу их уже не отпустят домой, так что Лич сразу собрал целый контейнер всякого хлама, о чём сейчас горько пожалел. Вернется ли он домой хотя бы на каникулы? Нет, отсюда или выгоняют, или не выпускают все пять лет.

Разобрав вещи, Лич углубился в чтение брошюры и тут же недоуменно поднял брови: он изучал план Школы. Лич нашел тот дом, куда его поселили, и учебный корпус, куда он явится ровно через неделю на занятия. А кроме того, в Школе был универсальный магазин, где он мог... взять любые товары хоть за деньги, хоть бесплатно, прачечная, столовая, где он мог поесть — тоже бесплатно, — если ему не хотелось готовить, бытовая служба, где он мог заказать уборку квартиры, если не хотел мыть полы и пылесосить сам. Бар-дискотека. Почему такое название? Неужели они знали, что Лич мысленно именно так именует все места, где можно развлечься? Кино. Музей. Библиотека. Парк. Пляж. (Мало ему бассейна.) Господи, да это не Школа, а целый город. По крайней мере, нуждаться он ни в чем не будет. Лич пролистал страницы и нашел описание своей квартиры. Регуляторы климата в каждой комнате. Студентам I года обучения обстановку менять запрещено (то есть потом будет можно?). Программы телевизора он и так знает. Устройство холодильника, прачечной... Ну, в этом он еще разберется, если не будет лень. А может, пытаться в столовой, и белье отдавать? Откуда они набирают обслужку? Или там все автоматы? А смуглый мальчуган — робот?

Третий раздел посвящался учебе. За эту неделю он должен пройти полный медосмотр, чтобы врачи могли разработать программу его физического совершенствования (вот почему они не включили в экзамены медкомиссию!). Учебе отводилось 5 дней в неделю. Учились 40 недель в году или 20 — в семестре.

Учебный план I года обучения.

Семестр	Число часов	Название предмета	Содержание предмета
I 800	50	Общая физическая подготовка	Занятия по индивидуальному плану.
	50	Ведение боя	Тактика и приемы борьбы.
	100	Фонетические структуры	Виды звуков, строение фраз, интонация и темп речи. Тест: повторение фраз.
	400	История цивилизаций	Первобытное общество, Древний Восток. Античность.
	200	Мировоззрение	Предопределенность, обоснование этики.
II 900	50	Общая физическая подготовка	
	50	Владение оружием	Национальные виды оружия.
	100	Грамматические структуры	Типы, семьи, группы языков. Грамматические формы, части речи. Строение фраз и предложений.
	400	История цивилизаций	Древняя Европа, христианская Европа, арабская цивилизация, Россия. Новое время (Европа).
	300	Мировоззрение	Потеря смысла жизни. Разбор жизненных ситуаций. Неподвижность.
1700			

Значит, тайны времени не откроются ему ни в этом семестре, ни в следующем. Жаль.

Самый конец брошюры занимали правила поведения. (К чему они? Что мы, дети?) Но сами эти правила были таковы, что Лич только рот раскрыл: «Ни с кем не обсуждать ни свое, ни чье-либо прошлое, не обсуждать историю эпохи рационального человека, даты упоминать только по внутришкольному времени». Впрочем, он решил их выучить и соблюдать, хотя и не понимал их смысл, просто в благодарность за райскую жизнь.

— Другое будет просто неприлично, в конце концов, мы рациональные люди, — сказал он сам себе в зеркало и отправился гулять, вооружившись картой Школы.

Он блуждал по ее тропинкам и переходам, пока не запомнил все, что хотел. Неожиданно тяжелым оказалось посещение библиотеки. Лич прокрался в полутемную галерею с книгами эпохи рационального человека и замер: вдаль уходили ряды этажерок, и на каждой был проставлен год... В полумраке нельзя было видеть противоположной стены. Лич вдруг подумал, что здесь собраны все книги будущего, до последнего года человечества. Ряды не могли быть бесконечны. Ноги Лича стали ватными. Никогда он не заставит себя пройти галерею до конца и узнать дату... Помещение сделалось таким зловещим, что Лич выскочил вон и прикрыл дверь. Постоял, прислонившись к стене.

Уже вечерело, и небо покрылось красивыми, словно по заказу, облаками, когда Лич вошел в бар-дискотеку, которую оставил напоследок. Большой зал был темен и пуст, только у стойки стоял единственный посетитель. Лич вдруг подумал, что этого видения он не забудет никогда, и тут же спохватился своей глупости. Парень повернулся так, что луч света, прокользнувший в дверь вслед за Личем, золотил его волосы, удивительно густые и красивые. Казалось, эти волосы много раз стирали, прежде чем они приобрели свой цвет.

Лич заставил себя пройти вперед. Парень заметил его и улыбнулся:

— Привет! Ты почти первый, так что нам придется знакомиться. Кто ты?

— Я сегодня сюда поступил, а зовут меня, — и вдруг он решился, — зовут меня Лич!

Пусть его знают именем, которым его звала Анж. Ведь в правилах поведения, кроме всего прочего, было сказано, что студент может избрать себе любое имя.

— Лич? Ну а меня в таком случае, — парень словно задумался, — Фернан. Идет?

— Идет.

«Господи, о чём же с ним говорить, если не о себе, не о политике, не об истории.»

— Какой сейчас год? — вдруг поинтересовался Фернан и внимательно взглянул Личу в лицо. Лич, в свою очередь, решил тоже разглядеть незнакомца. Он отметил смуглую кожу очень приятного оттенка. Тонкий и сильный, рука с длинными пальцами лежит на столе. Лицо незаурядное, но не поймешь, красивое или же, наоборот, уродливое. Треугольные скулы, лягушачий породистый рот, тонкий нос, а брови — домиком, насмешливые. Глаза — зеленые, голубые? Какое-то беззаботное веселье, радость жизни хлестала в нем через край. Лич ощутил растерянность. Он всегда считал красивым себя. Белокожий, голубоглазый, блондин — любое из этих качеств было огромной редкостью, а у него — все три, и классическое лицо... Сейчас он смущился и нехотя ответил Фернану.

— А, ну ясно, — Фернан кивнул подошедшему бармену, — налей нам чего-нибудь! Будешь пить?

Бармен-мулат, нет, скорее самбо, подмигнул Фернану, как старому знакомому, и пододвинул бокалы.

— Так ты, значит, новенький? Сколько тебе? Лет, я имею в виду.

— Семнадцать, — пожал плечами Лич, преодолев искушение накинуть год-другой.

— Господи, неужели и мне когда-то было семнадцать? — Фернан почесал в затылке и махнул рукой. — Даже не верится.

Лич недоверчиво оглядел паренька, который казался даже моложе его самого. Как они здесь ухитряются так выглядеть? Если Фернан учился в Школе пять лет, то ему 22, не меньше.

— Мне недавно миллион стукнул, — доверительно сообщил Фернан, словно прочитав его мысли, и тут же поймал бокал, который Лич смел со стойки бара.

— Да не смотри ты так! Я пошутил. Ну не миллион мне, ну сто тысяч, какая разница. Не веришь? — Фернан заглянул ему в глаза и добавил уже мягче, — да не волнуйся, это совсем не страшно. Не веришь, смотри, — он достал медальон, который Лич давно уже заметил за полураспахнутой рубашкой, потянул за цепочку, а она вдруг удлинилась так, что Фернан держал медальон в ладони, не сняв его с шеи, — вообще-то это пульт управления Машиной Времени, каждый его запрятывает, куда хочет: в кольца, серьги, кресты. А я еще держу здесь коллекцию своих фотографий, так тоже почти все делают. Вот, — он раскрыл медальон и показал его Личу. Но с фотографии смотрел вовсе не Фернан, а мальчишка полненький, прыщавый, с усиками и толстыми стеклами очков. «Кто из нас двоих сошел с ума?» — Лич отпрянул от фото и уставился на Фернана.

— Ах, Лич, да неужто ты не знаешь, что мы можем не только омолаживаться, но и менять свой облик?

— Нет, нет, я не знал, — пробормотал Лич.

— Смотри, а вот девушка, — и он показал какую-то вампирическую красотку, — я оставил ее в затруднительном положении, она должна дать отставку поклоннику, а это я решил побывать прокаженным, да тоже никак не соберусь прожить его жизнь до конца. Я как скверный шахматист, который при каждом трудном ходе откладывает партию, — чуть что, переношусь в другую эпоху и оставляю мою историю незавершенной порой на пару веков личного времени. У меня, наверное, тысяча жизней, и только в двух я уже умер. А здесь я слепорожденный, меня интересовал их мир, а вот этот — силач, настоящий молотобоец.



«Роковая женщина, слепец. Сейчас он покажет мне фотографию крысы и скажет, что его заинтересовал мир крыс, внутренний», — все вокруг становилось все менее реальным, казалось, он сейчас потеряет сознание. Наконец Фернан захлопнул медальон и снова взглянул Личу в лицо. Лич опустил глаза, боясь, что Фернан опять угадает его мысли, но тот уже перемигивался с барменом и, хохоча, двинул ему второй бокал.

— Пей, дружище! За встречу! Вообще-то здесь преподаю, — добавил Фернан, утирая рот, — так что мы еще часто будем видеться.

— Но почему тогда...

— Почему я с тобой здесь пью и выбалтываю роковые тайны?

Опасный взгляд Фернана выдал в нем опытного факира и заклинателя змей. «Телепат. Гипнотизер», — перевел свои мысли на современный язык Лич и жалобно кивнул.

— Видишь ли, сегодня странный день. Я перенесся на две сотни лет назад, сообщил одному чудаку, как устроена Машина Времени, и велел выдать за свое изобретение. Он так и сделал.

— Так это ты изобрел ее? — вскричал Лич.

— Вовсе нет, я узнал весь механизм здесь, в Школе.

— То есть ее никто, никто не изобретал?

Фернан кивнул:

— Бывает. Мы предпочитаем не знать, сколько книг, картин вот так вот никем не созданы, сколько открытий никто не совершал. Может, ни одного, может, почти все.

— Зачем ты это сделал?

— Предопределено. Я заранее знал, что должен так поступить. Тебе еще объяснят все в Школе, я же сам и объясню.

Так Лич впервые услышал про предопределенность. Тогда он не придал этому слову никакого значения.

— Ты разговаривал со мной о своем прошлом, а это нельзя, — пробормотал он.

— Нельзя. Но я знаю, что ничем не рисковал. А тебе нарушать правила не советую. Представь, ты встретишь

здесь свою мать, в молодости, узнаешь, ведь у тебя был семейный альбом, и скажешь ей, что ты ее сын. А ей-то про это еще ничегошеньки не известно. Хорошо будет?

— Ты хочешь сказать, что мама? — голос Лича подозрительно задрожал, и он зло покраснел от стыда за свою слабость.

— Нет, да нет же, это просто пример. Ладно, хочешь ко мне в гости? Тебе пока ничего нельзя менять в своей квартире, но если ты пройдешь на второй год... Короче, посмотри, как обустраиваются путешественники во времени.

«Это сон. Я просто брежу. Я всегда следовал снам», — подумал Лич, и вложил свои пальцы в Фернанову ладонь.

Фернан жил в том же доме, где студенты, но, кажется, на другом этаже. Странно, прихожая и комнаты ничем не отличались от его собственных. «А я здесь ничего не менял», — объявил Фернан, но странным образом они шагнули в какую-то лишнюю дверь и очутились в роскошной спальне времен средневековья. Показалось ему, или за дверью и впрямь шушкались придворные? А потом они попали в пещеру, холодную и грязную, с рисунками на закопченных стенах. Дальше была хижина отшельника, поразившая Лича каким-то гнилым запахом, крестьянская изба и, кажется, лаборатория алхимика. В довершение всего Фернан привел его в подводный грот. Лич догадался, что они под водой, увидев плывущую рыбину, схватился за рот — его обычный жест в минуту волнения — и обнаружил, что он в акваланге. «Он переносит меня во времени, а я и рта зажать рукой не могу», — Лич даже обиделся на Фернана, который повис рядом без всякого акваланга с уверенностью профессионального ловца жемчуга. Внезапно все кончилось. Они стояли в прихожей, которая ничем не отличалась от прихожей Лича.

— Тебе дурно?

«Этот нахальный и ласковый голос будет сниться мне по ночам.»

— Тебе все объяснят, я сам или другие. Ты, конечно, не видел всего, я же говорил, что у меня тысяча жизней, но...

— Фернан! — вскричал вдруг Лич. — Фернан, закат! — Лич вцепился в плечо Фернана. — Когда я шел в бар, небо было точно таким же, солнце все еще не зашло, а ведь прошло столько времени.

— Чудак, я же перенес тебя не только в пространстве. Смотри в коридор, сейчас ты увидишь, как мы с тобой идем ко мне в гости.

Невозможно было преодолеть искушение взглянуть на себя самого. Лич приник к замочной скважине. Сначала он только слышал стук шагов, потом увидел... «Просто как на видеокамере, совсем не страшно», — уговаривал он себя, пока Фернан, тот, другой, подходил к дверям. Лич так был и стоял, но когда дверь стали открывать с той стороны, чья-то рука оттащила его за портьеру. Вошли. Лич, прежний, прошел вперед, ничего не заметив, а вот оба Фернана подмигнули друг другу. Этого было более чем достаточно. Стараясь не кричать, Лич бросился вон. Последнее, что он слышал, были слова: «А я здесь ничего не менял». Он долго блуждал в поисках своей квартиры и, прежде чем забыться сном, успел порадоваться, что через год не будет иметь никакого отношения к Школе.

Неделю перед занятиями Лич провел совершенно погрудацки: читал книжки, ходил на пляж, смотрел телевизор и придумывал, какое письмо написал бы Анж, если бы им разрешали писать. Он посетил врачей, и его стройное, но нервное тело нашли вполне здоровым, так что на уроках физической подготовки раз в два дня он будет по индивидуальной программе делать мускулы еще сильнее, суставы еще гибче, глаза еще зорче. Что ж, через год он станет неотразим. А если учесть самую лучшую подготовку по истории и лингвистике, то время в Школе вовсе не пройдет зря.

Занятия шли в точном соответствии с тем самым планом из брошюры: в 8 утра Лич являлся на физическую подготовку или ведение боя и проводил один час в спортзале, на стадионе или в бассейне, где, пятаясь, заставлял себя прыгать с метровых вышек. Потом был хитрый предмет под названием фонетические структуры. Похоже, преподавателя здесь вообще не существовало. Личу дали пленку, прослушав которую, он уяснил, что отныне ему предстоит ежедневно совершать гимнастику для речевого аппарата, а затем по часу повторять вслед за магнитофоном различные звуки, потом слова, потом иностранные фразы, все быстрее и быстрее, соблюдая темп и интонацию, словно его ожидал экзамен на попугая. Кроме того, он изучал классификацию звуков, а на экзаменационном тесте должен был по звукам, по интонации определить язык. Такая работа Личу, в общем-то, нравилась. Он понял, что в Школе изучают не много языков по отдельности, а как бы все скопом, и это было ему в диковинку.

После фонетических структур четыре часа он посвящал истории цивилизаций. Лич встречал своих товарищей по курсу, они вместе отправлялись в большой лекционный зал и смотрели там фильмы. Преподаватель и здесь прятался в безвестности. Сперва содержание фильмов вызвало у Лича недоумение. Экзамен по истории, который им устроили при поступлении, был настолько суров, что, казалось, учить их уже просто нечему. Но студенты изучали вовсе не историю войн и королей, даже не историю классов. Кажется, им поясняли, о чем можно сплетничать в том или ином веке, как одеваться, быть грубым или нежным, хитрым или глупцом, объясняли им способы общения с людьми, еще не создавшими языка. «Итак, мы попадаем в неизвестное время, по разговору людей определяем язык и эпоху, после чего, обезьянничая, как нас научили на фонетике, сплетничаем на этом языке о том, чему нас научили на истории», — думал Лич. Но поскольку фильмы были сняты, очевидно, в путешествиях в прошлое, содержали забавные комментарии самих путешественни-

ков и много фактов, неизвестных обыкновенным историкам, так что смотреть их всегда было до жути интересно и легко запоминать. После урока студентам выдавали кассеты с записью фильма, чтобы они могли еще раз просмотреть его дома. Лич в этом отношении был ленив, он просто сваливал пленки в кучу, хотя и предчувствовал, что перед экзаменом по истории проведет возле телевизора немало бессонных ночей.

С двух до трех по внутришкольному времени студенты обедали. Лич не любил готовить и собирался ходить в столовую, но потом его захватило увлечение древними и экзотическими блюдами (эпидемия всего первого курса, наверняка предусмотренная учебным планом), и он все чаще орудовал дома то на костре, то в печке. Впрочем, столовая, видимо, тоже входила в учебный план, потому что подавали в ней пищу старинную и удивительную, надеясь, что студенты хотя бы от любопытства попробуют все по разу. И одежда в магазинах была собрана из разных эпох, вскоре Школа стала похожа на парк для маскарадов, только служащие щеголяли в привычных рубашках и шортах.

С трех часов начиналось мировоззрение — самый странный предмет в здешней странной Школе. Личу он нравился и отталкивал, потому что здесь, наконец, он увидел живого, настоящего учителя: Фернана.

Фернан стоял посреди ослепительно белой большой комнаты и разглядывал студентов. Он был еще моложе и жизнерадостнее, чем в тот памятный вечер, только при свете дня в нем не было ничего зловещего. Он казался проще и потрепанней. Посреди комнаты черными пятнами выделялись кресла, стулья и коврики: в Школе каждый сидел, как хотел. Интереснее стало, когда Фернан велел каждому задрапироваться в кусок яркой цветной ткани, они были свалены на полу. Лич сделал себе голубой шелковый плащ и плюхнулся в ближайшее кресло. «Белая комната, черная мебель, цвет-

ные люди. Что будет дальше?» А дальше Фернан сообщил, что курс мировоззрения принадлежит к так называемым «предметам второй половины дня», так величают в Школе курсы из психоэмоциональной подготовки, и рассчитан на все пять лет обучения. Именно он, Фернан, обязан через год определить, кто из студентов вернется домой, а кто перейдет на второй курс и, значит, станет выпускником Школы, потому что после первого курса из Школы уже не выгоняют. Так Лич узнал, что у него есть только один шанс сбежать отсюда.

— Надеюсь, вы осознали серьезность предмета, — улыбнулся Фернан. — В первом семестре по плану мы разберем такое понятие, как предопределенность, а также обоснуем и выучим этику путешественников во времени. Я надеюсь, все помнят те правила, которые вам вручили при поступлении в Школу? — тут студенты согласно закивали. — Так вот, мы исходим из того, что жизнь наша и, — Фернан слегка поклонился, — ваша будет отлична от жизни обычных людей, не лучше, а именно отлична, и правила поведения здесь иные. Собственно, к обычной этике добавляется только одно правило, но оно и становится главным. Запоминайте: «Если есть ситуация предопределенности, следуй ей, но старайся не создавать такую ситуацию ни для себя, ни для других».

Итак, предопределенность. Это когда вы достоверно знаете из своих воспоминаний, от товарища или из истории человечества, что в какой-то ситуации вы поступите совершенно определенным образом.

Разберем пример. Из истории известна дата изобретения Машины Времени и имя изобретателя, — показалось ли Личу, что Фернан смотрит на него? — Будете вы пытаться воспрепятствовать изобретению? Нет. Оно предопределено. Очень часто предопределенность возникает при встрече с собой, тут, я думаю, комментарии не нужны.

Ну, первую часть закона вы можете пытаться нарушить, но у вас это никогда не получится, так что избавьте себя от лишних потуг. Вы должны вести себя так, словно судьбу вам предсказала гадалка, только такая гадалка, кото-

рая не ошибается. Это не всегда приятно, и мы, попадая в такую ситуацию, стремимся разделаться с ней поскорее и забыть. На следующих занятиях мы еще разберем поведение при предопределенности.

Серьезнейшим нравственным прегрешением будет нарушение второй части закона, — Фернан ухмыльнулся, — если, конечно, оно не предопределено. Поэтому мы и просим вас не разговаривать в Школе об эпохе рационального человека: встретите молодую девушку, покажете ей газету с фотографией знаменитой женщины-убийцы, а она эта женщина и есть, только еще не знает, а однажды взглянет в зеркало и узнает себя, и придется ей идти убивать. В путешествиях, когда вы за пределами Школы, закон превращается в требование хранить инкогнито и не предсказывать будущее. Вы, естественно, предполагаете, что ваш собеседник обычный человек и не может вернуться в прошлое. Итак, с людьми, если вам известно достоверно, что они не из Школы, общайтесь, как обычно люди общаются друг с другом. С несомненными членами Школы общайтесь, как указано в ваших правилах.

— А если мама мне говорила, что я преступником буду, потому что кошку мучаю? — вдруг спросил сосед Лича слева. — Это будет предопределено?

— Ну, мама может и ошибиться, — улыбнулся Фернан. — Значит, нет.

Их диалог заставил Лича очнуться от странного забытья. Действовали не слова Фернана, а голос, интонации, жесты, весь его беззаботный и счастливый образ. Несомненно, Фернан — великий актер. Лич восхищался сочетанием связности и серьезного смысла его речи. «Все колдовство, он околдовывает нас, чтобы мы вели себя, как должно.»

— Особо жестко требование сохранять инкогнито в эпохах до изобретения Машины Времени. Вообще, что скрывать, все, чему учат в Школе, нужно для путешествий именно в эти эпохи. В недавнем прошлом и в будущем можете вести себя, как вам заблагорассудится, хотя обычно никто из нас и там не сознается в путешествиях.

Не предсказывайте будущего, не нарушайте ход истории...

Лич не заметил, как прошли часы, и уходил странно умирающий. На следующих уроках Фернан так много не говорил, разговаривали в основном студенты: придумывали этические ситуации и распутывали их, искали ошибки в фантастических произведениях прошлого, отшучивались, когда Фернан провоцировал их на нарушение этики. Снова и снова Лича поражала способность Фернана шалить и безобразничать, да еще заражать студентов неуместным весельем.

— Запомните! — вещал, например, Фернан, сидя верхом на чьем-то стуле. — Если вы совершиете убийство в Школе и скажете: «Предопределено», — вас отпустят с миром. В XIX веке вам отрубят голову, — и тут же показывал, как жонглировать рюмками, наполненными вином. — Это меня в Древнем Китае научили.

Странно, но у Лича оставалось много свободного времени. Свободны были все вечера и два выходных в неделю. Тем не менее друзей он не завел, предпочитая спорт и легкие книжки. Через год он увидит Анж.

В то же время у него возникло что-то вроде дружбы с Фернаном: они часто, случайно столкнувшись, подолгу болтали о пустяках, словно Фернан выделял его из общей массы студентов. Но порой Личу казалось, что все это, включая спектакль, разыгранный в первый вечер, было лишь частью общего плана и то же самое Фернан проделывает со всеми остальными. Сомневаться в его способности быть в десяти местах одновременно не приходилось, он только должен был избегать встреч с собой в присутствии посторонних.

Кончился семестр, и Лич успешно сдал экзамены, так и не увидев своих преподавателей: он просто прошел один за другим экзаменационные тесты. Оценок в Школе не ста-

вили, если студент допускал ошибки в ответе, его просто заставляли начинать тест по новой. Второй семестр принес мало изменений, только ведение боя сменилось владением оружием, и Лич упражнялся в забрасывании лассо и метании пращи. А вместо фонетических структур появились структуры грамматические, сугубо теоретический предмет, учить его было не так интересно и гораздо сложнее, к счастью, Лич увлекался чужими грамматиками с детства, и «эволюцию склонения в indoевропейских языках» — вопрос, попавшийся ему на экзамене, — он рассказал блестяще. Удивительно, без Машины Времени ученые могли бы только гадать, каким был прайзык индоевропейцев.

На первом же мировоззрении Фернан, взлохматив волосы, признал, что этику они давно разжевали и обмусолили, так что теперь студентов ждала новая речь.

Фернан сделал заботливое, добродушное лицо, словно прощения просить собрался:

— Это вопрос морального равновесия или, если хотите, смысла жизни. В путешествиях вы сможете выбрать себе судьбу самую прекрасную, самую необычную, самую блестящую. И вот тогда, — как он ловко заговорил зловещим тоном! — тогда вы поймете, что эти прекрасные, необыкновенные судьбы так же ничтожны, как судьбы обыкновенные. И все прошлые миры, которыми вы бредили в детских снах, потухнут, стоит вам действительно очутиться в них. Вам не о чем будет мечтать! Самые смелые мечты смогут исполниться, и вы поймете все их ничтожество. И вы разочаруетесь в жизни. Вы, чужие, не сможете принадлежать ни к какой нации, классу, касте. Начиная большое дело, вы будете заранее знать его исход, рожая ребенка, вы сможете проследить его судьбу. Наш старый мир станет для вас старым надоевшим домом, вы будете долго блуждать по его закоулкам, где все давно знакомо, и слезно молиться, чтоб ваша жизнь обрела хоть какую-то цель, ведь ваша

жизнь потеряет цель в тот момент, когда Фатых даст вам Машину Времени, и вы покинете Школу. Так пусть же потерянный смысл принесет вам не горе, а радость! — как громко прозвучали вдруг эти слова. — Да, радость! Это произойдет вдруг и сразу, в один момент вы поймете, как пуста наша жизнь, и вы полностью примете ее, великую и подлую, трагичную и смешную! Это должно произойти с вами очень скоро. Это должно произойти до конца первого года. Я узнаю, с кем из вас это случилось, не объясняю вам, как, но узнаю. Только потерявшее смысл жизни останутся в Школе. Другие вернутся домой.

Набатные слова прозвучали бы страшно, если бы Фернан не улыбался так искренне и открыто, не потягивался всем телом, точно сонный кот.

— И тогда я смогу вам сказать: «Друзья мои с каменными сердцами!» Да, вам покажется, что сердца ваши окаменели. Возможно, вас огорчит, что вы никогда не сможете по-настоящему радоваться. Но вспомните, что вы не сможете и по-настоящему страдать. И узнайте мой маленький секрет: настоящий путешественник во времени хранит это знание о жизни глубоко внутри, вытаскивая его на свет божий только во время глубочайших потрясений. Пройдут годы, и вы научитесь забывать о нем в свои счастливые дни, и вы сможете и верить, и любить, и искать, и быть как все, кто окружает вас, словно вы не умерли, словно вы живы.

А вы действительно умрете где-то в самом сокровенном тайнике души. Но разве это сможет вас испугать? Не бойтесь, когда мертвая душа вдруг проглянет в вас там или здесь, когда вы вдруг поймете всю неподвижность жизни. Сравните себя с разведчиком в чужой стране, но с разведчиком, не имеющим долга перед Родиной, потому что у него нет Родины. Тогда с ваших губ будут часто срываться слова: «Все равно. Мне все равно». Нищий или король, гений или идиот — все равно, все равноценно. Все ценно! О каком прогрессе можем говорить мы, которые бывают в любом моменте истории мира и — скажу по секрету — в любом моменте собственной жизни? Наша жизнь не

идет по прямой, она складывается в немыслимые, порой невыносимые узоры. Мы всегда можем все вернуть, но не можем все переиграть. Дорога, по которой вы без конца бродите взад-вперед, застыла на месте.

И весь семестр студенты объясняли друг другу абсурдность жизни и равнодушие к смерти (ведь стоит нажать кнопку, и мы увидим нашего покойника живым, хоть ребенком, хоть юношей). В то же время Фернан мог войти на урок и объявить: «Сегодня мы живем так, словно главное для нас — деньги» (или слава, или прогресс). Все обязаны были немедленно настроиться должным образом и сыграть так правдоподобно, чтобы сам Фернан не усомнился в их искренности.

— А для этого заставьте себя и впрямь поверить! — задорно кричал он студентам, захлебываясь от восторга.

Еще Лич узнал, что разочарование в жизни напоминает мгновенный удар, а потом сразу — свобода от привычных человеческих понятий долга, цели, счастья. «Хочешь быть счастливым — будь им.»

Никакой смерти Лич не испытал, и испытывать не собирался, он терпеливо ждал, когда его исключат из Школы, тем сильнее поразил его тот факт, что списки исключенных не содержали его имени. Лич решил, что произошла ошибка, но нет. Он и впрямь один из достойных, троих из всего курса. Личу было неприятно, что квартиры всех трех шли подряд, крайние левые из всех заселенных квартир в коридоре. Словно кто-то заранее знал, кого куда поместить. Но его апартаменты из трех были справа, значит, он может отказаться, стоит только подать заявление. Он так и сделает, но перед началом семестра, в августе. Личу захотелось провести каникулы здесь. В раю.

Жарким августовским днем, впрочем, в Школе все дни были жаркие, Лич бесцельно бродил по парку, когда чьи-то веселые возгласы заставили его поднять взгляд. Он рас-

сиянно отметил парочку, смеявшуюся на качелях: девушку в сером платье и юношу, в котором Лич без труда узнал Фернана, его волосы с каждым взмахом то вспыхивали на солнце, то вновь гасли. Девушка казалась знакомой, повернувшись она хоть в профиль, Лич узнал бы ее, он должен был ее узнать, но слишком быстро и высоко взлетали качели.

Вдруг он услышал шлепок об землю прямо за своей спиной, обернулся и тут же зажал рукой рот: тело, лишенное головы, вероятно, совсем недавно, билось в конвульсиях прямо у его ног. Лич отскочил, не в силах бежать, так невозможен был окровавленный труп среди этого мирного парка. Рядом уже начала собираться толпа, когда произошло второе неожиданное событие: сверху раздался свист, и Фернан, прямо с высшей точки качелей, прыгнул вниз. Он летел, цепляясь за ветки деревьев, и спрыгнул на асфальт точнехонько перед трупом. Если бы Лич не был так испуган, он бы оценил полет Фернана, но сейчас он был способен лишь наблюдать, как тот склонился над телом, и после каких-то манипуляций все исчезло, даже кровь.

— Это я сам, весело пояснил он собравшимся, — один из первых опытов по оживлению. Я был гильотинирован во время революции, — Фернан прищурил глаза и глянул куда-то вдаль, видать, вспоминал. — Тело перенеслось во времени, а голова — нет. Потом схему оживления усовершенствовали, так что подобное, — он указал на пустой асфальт, — не повторится.

Если бы он не смеялся, не обнажал свои безукоризненные зубы, Лич бы выдержал очередную фернановскую демонстрацию достойно. Но теперь он едва успел забежать за кусты, взглянул еще раз на брызги крови на рубашке — и согнулся в спазме, выворачивавшем его наизнанку. Когда все прошло, Лич понял, что не один. За ним наблюдала девушка в сером платье. Анж. Мгновенную радость сменил стыд, позже Лич почувствовал гнев и схватил ее за плечи, вкладывая в стиснутые кулаки все переживания этого дня:

— Какого черта ты развлекалась с Фернаном? И чем ты вообще занималась весь этот год?

— Отпусти, Лич, мне больно!

Его отрезвила пощечина, и он увидел Анж такую, какую никогда не видел: бледную, негодящую.

— Я приехала к тебе, я пробралась сюда, в этот парк, благодаря Фернана, а ты, ты... — ее голос зазвенел и сорвался, она исчезла прежде, чем Лич вскочил догнать ее и прошептал: «Виноват».

Сколько ночей он проклинал себя, сколько дней придумывал, что теперь скажет при встрече. Он уже боялся идти к директору, боялся вернуться к родителям и предстать перед Анж. Она не забыла его за год, раз сумела всеми правдами и неправдами пробраться в Школу — тут у Лича аж дух захватило, — но не бросит ли она его теперь? Надо дать ей время прийти в себя. Лич ругал свою трусость, дни тянулись бесконечно, но он бы ушел из Школы, непременно ушел, если бы в последнюю неделю августа в скромной программе новостей родного города его не оглушило известие о смерти Анж.

Самоубийство. Она спрыгнула с последнего этажа десятиэтажного дома на железные прутья и трубы. Лич никогда не думал, что Анж, рассудительная, умная Анж способна умереть. Он никогда не думал, что совсем не знает ее, он понял это только теперь. Еще он понял, как тяжело, что Анж никогда не услышит ни его извинений, ни слов любви. Он ничего не сможет ей объяснить. Лич не хотел допустить, что сам виноват в ее смерти, но других причин он найти не мог. Пожалуй, последняя мысль казалось самой страшной.

Вдруг неприязнь к Фернану обожгла его резко и отчетливо. Что он наболтал Анж, его Анж, о людях, о смысле, о морали, пока они взлетали и падали на качелях? Он заставил ее умереть, Лича не заставил, так ее — взамен? А ему — глядеть на ее портрет осталось, долго глядеть, чтоб глаза сами закрылись от слез...

И все же ему не удалось поймать ни момента истинного горя. Гадкое чувство, что он играет в горе, Лич постарался загнать гадливость поглубже. Он торопливо приписал все шоку, неожиданности, неверию. Нет, он не поверит в эту смерть! Он не вернется домой и не посмотрит в глаза ее отцу. Вдруг он не сумеет зарыдать на похоронах? Вдруг люди не прочтут в его взгляде то, что должны прочесть? Лич проглотил комок в горле. Неужели он не будет тянуть время и идти к Фатыху? Остаться навсегда в Школе. С ним не могло бы случиться ничего страшнее, и нежелание бороться покорило его. Все равно он опоздал. Несколько дней Лич просидел в оцепенении, не отходя от портрета Анж. 1 сентября II года по внутришкольному времени он явился на занятия. Студент, на которого он чуть не налетел у кабинета мировоззрения, был Эвар.

Лич смотрел на Эвара совершенно обалдело. Тот, видимо, был изумлен не меньше и едва выдавил приветствие.

На сей раз на мировоззрении Фернан вздумал рассуждать о неизбежности потери моральных принципов.

— Высшей ценностью долго считалась и считается человеческая жизнь, а что она нам? Мораль каждого путешественника во времени бывает собрана из понятий различных эпох и легко приспосабливается к любой из них. Никто не требует от вас идти против совести, но будьте готовы, что совесть ваша изменится. Равная склонность к добру и злу — не тасуются ли эти понятия даже сейчас?

Потеря моральности должна произойти с вами, как произошла потеря смысла жизни. Иначе столкновение с людьми до эпохи рационального человека, боюсь, вызовет у вас разлитие желчи. Они покажутся вам мелочными, эгоистичными и до невозможности жадными. Потом вы поймете, что это не так. Здесь высший пилотаж — радоваться любому проблеску моральности окружающих, как вы будете радоваться любому проблеску разума у первобытных.

Так что теряйте моральность, но не увлекайтесь гадостями и подлостями. Ради самих себя, иначе вы вступите в противоречие со скрытыми сторонами своей натуры. Подлецом стать легко, обратное превращение в человека с чистой совестью дается с трудом, в полном виде оно вообще невозможно, пока сохраняется память.

Сегодня болтовня Фернана приятно успокаивала Лича, и он все менее опасливо косился в сторону Эвара. Эвар знает ли об Анж? Откуда он здесь? Лич обратил внимание, как необычно много студентов сегодня у Фернана, и почти все незнакомые, но за год Школы он привык к загадкам.

В тот день Фернан сообщил им, что путешественники во времени могут омолаживаться:

— Нажатие кнопки — и Вы становитесь таким, каким были, скажем, в 5 лет. Можете вновь пережить детство. Есть еще специальный автоматический режим, не позволяющий умереть случайно: особый датчик фиксирует смерть, включается омолаживание, пока тело не становится жизнеспособным, затем омоложенное тело возвращается в Школу или в другое заранее выбранное место. Но, в отличие от обыкновенного омолаживания, на «месте преступления» остается Ваш хладный труп.

Значит, бессмертие. Лич не знал, рад ли он. Он никогда не боялся смерти, потому что не думал о ней... до последнего времени. Лич украдкой подглядывал, как менялись лица других студентов. Да, не стоило говорить об этом на первом курсе. Даже рациональный человек ворвется в Школу, если там раздают бессмертие. Лич задрожал в привычной тоске, которая охватывала его, когда он опять сталкивался с чем-нибудь необычным. Живот сжался, руки вспотели, к глазам подступили слезы.

В этот же день тоска накатила на него еще раз, когда в дверях он столкнулся с толстеньkim прыщавым юнцом. Где-то он видел его... И наконец вспомнил: Фернан на фотографии из медальона Фернана! Он что, учит сам себя? Но почему?

Хандра не помешала Личу двинуться вслед за Эваром и обнаружить, что квартиры их — соседние. Новых студен-

тов поселили вместо кого-то из исключенных. Одновременно Лич увидел, что теперь в коридоре заняты и все квартиры слева.

Эвар круто обернулся и улыбнулся, тепло, сердечно:

— Значит, теперь мы вместе?

— Выходит, так.

Они не стали обниматься, не хлопали друг друга по плечам и не пустились в воспоминания: оба не любили выражать свои чувства, да и год в Школе давал знать свое. Эвар затащил Лича к себе, приготовил кофе и включил телевизор. И тут Лича ждал еще один, последний сюрприз. В программе новостей он услышал нечто такое, что тут же схватил Эвара за руку и закричал ему в лицо:

— Эвар, какой сейчас год?

Эвар ответил. Ровно на год больше, чем назвал бы Лич.

— Эвар, с какого раза ты поступил в Школу?

— Ты же знаешь, я потерял целый год, пока не выучил, спасибо Анж, все нужные языки. Во второй раз меня приняли.

Это была та еще картинка: Анж учит Эвара языкам, — но Лич предпочел не обсуждать ее.

— Эвар, я думал, тебя все же приняли, только в другую группу, а теперь все группы соединили.

— А я думал, что тебя оставили на второй год. Глупо, здесь так не делают.

Эвар подошел к телевизору и внимательно осмотрел панель управления.

— Лич, взгляни! Здесь встроен новый блок, которого в прошлом году не было. Мы можем выбирать не только программу, но и время передачи.

— Ловить их из будущего и прошлого?

Эвар мялся.

— С утра я обнаружил еще одну штуку. Видишь будильник? Его можно завести на традиционные 7 часов и указать время сна. Я мог бы лечь в 6 утра, встать в 7, но проспать хоть 8 часов, хоть 10. Второму курсу многое позволяет.

— Это не объяснит нам главного. Почему мы вместе? Почему твой телевизор принимает программу на год позже, чем мой? Ты ведь не регулировал его?

Казалось, Эвар задумался, но тут же хлопнул себя по лбу:

— Все ясно, Лич, все ясно. Каждый год из набора остаются совсем немного студентов, вот они и соединили всех, за все годы, понимаешь, в одну группу!

— И запретили нам говорить о прошлом... Какой же сейчас год на самом-то деле, Эвар? Куда они нас перенесли?

Они представили себе, что Школу окружают джунгли мезозоя... Или в далеком будущем, в том году, которому в библиотеке Школы уже не соответствует ни один стеллаж?

— Не знаю, Лич. Зато я понимаю, почему только теперь мы увидели своих учителей. Они не хотели много раз учить одному и тому же первокурсников, вот и записали все на пленки.

— А Фернан?

— Ну, он, наверное, не мог иначе. Предмет такой, — неуверенно ответил Эвар. Он все думал о чем-то своем.

— Лич, послушай, Анж...

— Я узнал неделю назад.

Эвар смотрел ясными, большими глазами, и Лич не вынес, прижался к его плечу и расплакался, впервые за последние дни.

— Я знал ее на год дольше, я расскажу тебе про нее, мы будем долго говорить, хорошо? — прошептал Эвар.

Лич вдруг подумал, что Эвар, собственно, тоже был влюблен в Анж, Лич всегда подозревал.

«Анж предпочла меня, я знаю о ней то, чего Эвар уже никогда не узнает, то, что случилось с нами в парке, — и Эвар утешает меня.» Лич вытер слезы и осторожно спросил:

— Мы с тобой не нарушили этику?

— Нарушили, — согласился Эвар, и они подмигнули друг другу, словно вступили в заговор против Школы.

Часы показывали 20-00 1 сентября II года внутришкольного времени.

Учебный план II года обучения.

Семестр	Число часов	Название предмета	Содержание предмета
I 1000	50	Общая физическая подготовка	
	50	Владение оружием	Древнее и холодное оружие.
	100	Графика	Основные алфавиты.
	200	История цивилизаций	Индия, Китай Япония.
	200	История науки	Древность и средневековье.
	200	Психические заболевания	Психиатрия.
	200	Мировоззрение	Потеря моральности, связь с неподвижностью.
II 900	50	Общая физическая подготовка	
	50	Владение оружием	Фехтование, огнестрельное оружие, современное оружие.
	100	Графика	Иероглифика, идеография, пиктография.
	200	История цивилизаций	Кочевники Азии, Африка, индейцы Америки, аборигены Австралии.
	200	История науки	Новое, новейшее время. Эпоха рационального человека.
	—	Психические заболевания	Лабораторная работа.
	300	Мировоззрение	Ностальгия (симптомы, лечение).
1900			

Потянулись учебные дни, более приятные, чем на I курсе: во-первых, теперь студенты увидели своих педагогов живьем. Они не были так молоды, как Фернан, более соответствовали представлениям Лича об учителях, обращались к студентам на «Вы» и давали более традиционные уроки. Только преподаватель истории науки устраивал у себя то платоновскую академию, то средневековый университет, в зависимости от изучаемой эпохи. Требовал он строго:

— Сболтнете по глупости об открытии, которое еще не совершено. Хуже и представить нельзя. Если Вас сожгут как колдуна, это еще лучший выход.

Во-вторых, рядом был Эвар. Только вот времени по вечерам оставалось меньше, потому что кроме мировоззрения к предметам «второй половины дня» добавился курс психиатрии. Вводная речь преподавателя была краткой и энергичной:

— Вы должны уметь справляться с болезнями, потому что для путешественника во времени нежелательно обращение к психиатру, слишком много нового и интересного он сможет найти в вашей психике. А бегать с каждой болячкой в Школу вам ни к чему, да и кто станет вас лечить? Фиксирую ваше внимание на бреде преследования, по понятным причинам, и на бреде величия: ведь вы будете сознавать и скрывать свое превосходство над людьми прошлого. Вы будете искать разнообразие ощущений и захотите побывать алкоголиками и наркоманами. После этого вы должны суметь вернуться к нормальной жизни, что будет нелегко даже после омолаживания...

Так что Лич приходил в свой кабинет, одевшийся в леса разнообразных алфавитов в их историческом развитии — студентов уверяли, однако, что в прошлом лучше притворяться не шибко грамотными, — еще на час позже. Его не покидало ощущение странной легкости, с какой он запоминал все новое. Лич сверил ощущения с Эваром. Казалось, в памяти открылись неизвестные резервы.

— Они проделывают с нами какие-то штучки, — решил Эвар.

Но, в общем, друзья неплохо жили весь семестр. Во второй половине года их покой был нарушен, когда Лича вызвали в кабинет директора.

— Согласно учебному плану, Вы должны выполнить лабораторную работу по психиатрии. Через несколько минут Вам под гипнозом будет внушено пристрастие к наркотикам плюс другие психические расстройства, будьте готовы к шизофрении, бреду величия или преследования, ну, диагноз сами поставите.

«Зачем же все сразу?» — жалобно подумал Лич.

— Вы должны, продолжая учебу и никому, учтите, за Вами будут следить, не сообщая о своем состоянии, спрашиваться с болезнью. К лекарствам прибегайте в крайнем случае. Шире используйте уроки мировоззрения. Если Вы не сможете выполнить лабораторную работу, заявите об этом, мы вылечим Вас, а работа будет перенесена на следующий семестр, но учтите, там учебная нагрузка больше и Вам будет сложнее. Вы готовы?

Лич кивнул.

Когда через четверть часа он закрыл дверь своей квартиры, кукольная трагедия Анж, оказывается, он до сих пор не верил, что эта смерть — настоящая, вдруг выросла до размеров истинной, заслонила все вокруг и потрясла его существо.

Прошла неделя.

Лич разлепил глаза и заставил себя оглядеть свой кабинет. А ведь ему удалось не пить два дня, до вчерашнего. Какое ломкое мужество. Боже, он заснул прямо здесь, на полу... Около правой руки валялся разбитый шприц. Игла воткнута в «Руководство по психиатрии». «Наркотики-то я откуда взял? Ничего не помню», — Лич встал на колени и поднял голову. То, что он увидел на стене, заставило его вздрогнуть: огромный, во всю стену, профиль Анж, когда он только успел его нарисовать, да еще так похоже. Видимо,

он не был уверен в своих художественных способностях, потому что еще и подписал: «Анж», чтобы уж без всяких сомнений. Но Лича ужаснуло даже не это, а то, что в глаз ее кто-то (он сам, конечно, больше некому) вбил гвоздь. Неужели он возненавидел Анж? А стена под гвоздем измазана кровью. Той же кровью, которой он вывел слово *Asylum* на зеркале, на стенах, на шторах. Весь кабинет теперь взывал: «*Asylum! Asylum! Asylum!*» Лич торопливо осмотрел руки. Вены порезаны, разумеется. Где-то у него завалялась бутылка.

Ночи превратились в сплошной кошмар. Днем Лич вставал, как солдат, запудривал лицо, крича себе о своем величии, о своей воле, по утрам он не мог думать ни о чем другом, искал рубашку с длинным рукавом и шел заниматься физкультурой. Скрипел зубами на утренней пробежке, борясь с рвотой, 20 раз подтягивался правой рукой на турнике, борясь с рвотой, менял руку. Сдерживая дрожь, размахивал шпагой, удивляясь, как это он еще способен отражать удары. Ради Эвара, только ради Эвара. Лич знал, что Эвар сейчас испытывает то же и держится ради него. А терпеть с каждым днем становилось все труднее, он должен был подавлять вспышки смеха и слез, и приступы неудержимого гнева. Стало тяжело учиться. Часто, слушая чью-нибудь лекцию, Лич ловил себя на желании уставиться в ближайший затылок и ни о чем не думать. Он так чудовищно, нечеловечески устал. Только пойманый такой же тупой взгляд кого-нибудь из студентов мог, как ни странно, вернуть ему интерес к жизни. Но студенты избегали встречаться по вечерам, раз уж за ними следят, и ничто не могло удержать Лича («Моя божественность не терпит их мелочных преград!») зайти в школьный магазин и взять там заветные бутылки, а то и шприц. Никто его не видел, денег он не платил. К счастью, ему хватало ума, раздавая себе немыслимые обещания, каждую ночь запираться в кабинете. Он стал бояться открытых дверей и окон, и сделал ставни в каждом окне своей квартиры. Специальное устройство открывало засовы не ранее 7 утра. Из кабинета пришлось вынести всю мебель, потому что



уже к середине ночи он, лишенный выпивки, начинал мечтаться, как раненый зверь, а потом брал свечу, он хотел именно свечу, и простиавал перед обезображенными лицом Анж, возвращая себе кошмар полугодовой давности. Как во сне, мелькали перед ним какие-то детские воспоминания: трехлетняя Анж смотрит на него удивленно и доверчиво, а он протягивает ей мячик, яркий, цветной, свое маленько сокровище; восьмилетняя Анж в день смерти матери размазывает слезы по щекам, а он неловко утешает ее; им по двенадцать лет, он в драке порезал руку, и Анж с Эваром затащили его куда-то на чердак, Анж склонилась над ним и перевязывает рану, а Эвар смотрит обеспокоенными глазами. В тот момент Лич понял, что любит ее...

— Почему ты ушла от меня? — кричал он ей в лицо. — Анж, мне плохо, Анж!

А потом он вскакивал, чуя в темноте кабинета невидимого врага, и прижимался спиной к стене, никакая сила не смогла бы его оторвать, так он боялся нападения сзади, и уговаривал себя заснуть, пока не погаснет свеча, ведь когда она погаснет, влажные пальцы того, кто пищит в углу, начнут ощупывать его кожу. Если бы он мог истончиться, истаять куда-нибудь туда, где Анж...

Но в одну из этих сумасшедших ночей Лич сумел найти спасительную мысль: он будет путешественником во времени, значит, он сможет вернуться в прошлое и увидеть Анж снова, а может быть — от этой мысли у него закружились голова — он воскресит ее, умеют же воскрешать путешественников во времени. Смерть — это ничто, как говорил Фернан. Преодолеть болезнь, чтобы закончить Школу и спасти Анж! Удивительно, как он не догадался раньше. Теперь днем Лич держался ради Эвара, а ночью — ради Анж. Эвар и Анж вытащили его из пропасти.

Он уже хотел, отчаянно хотел путешествовать во времени, и каждое слово Фернана ловил как откровение, ста-

ряясь выучить, если не понять. Учеба в Школе стала для него долгим путем. Путем к Анж...

«Что не помешало тебе, дружок, заводить интрижки со знакомыми девушками, пока образ твоей единственной становился все менее земным», — задумчиво сказал, взглянувшись в Лича, святой отец Франциск и вновь перевел взгляд на противоположную стену...

Одновременно Фернан рассказывал им о ностальгии. Лич так и не понял, почему ее включили не в психиатрию, а в мировоззрение.

— Мы имеем в виду не обычную ностальгию, а так называемую профессиональную болезнь путешественников во времени, надо же было ее как-то назвать. Если обычный человек хочет вернуть счастливое прошлое (пусть счастье придумано), то мы тоскуем по любому прошлому, и тоска приобретает ненормальный характер. Во время приступа... Избегайте одиночества. Плохо, что вы будете дорожить своей болезнью, считая ее величайшей ценностью в жизни. Прямо как влюбленные.

«Еще одна психопатия, которой мне не понять», — думал Лич, выучивая на всякий случай симптомы и твердя формулы Фернана: «Лучше иметь и потерять, чем не иметь вообще»; «Ностальгия — болезнь стариков»; «Времени нет».

— Смысл последней фразы неясен, но вы поймете ее, когда изучите свойства времени.

Учебный план III–V года обучения.

Год	Семестр	Число часов	Название предмета	Содержание предмета
III	I	50	Общая физическая подготовка	
		50	Выживание	Климатические и погодные условия.
		100	Лексика	Консультации.

Год	Семестр	Число часов	Название предмета	Содержание предмета
III 900	I	100	Основы изучения языков	Теоретический курс. Происхождение языков. Работа с литературой. Другие подручные средства.
		200	История цивилизаций	Новейшее время.
		100	Естество-знание	Палеонтология.
		100	Борьба с управлением	Стадное чувство, социальный образец, гипноз.
		200	Мировоззрение	Ностальгия (влияние на взаимоотношения с людьми и формирование личности).
	II	50	Общая физическая подготовка	
		150	Выживание	Стихийные бедствия.
		100	Лексика	Консультации.
		200	История цивилизаций	Эпоха рационального человека до изобретения Машины Времени.
		80	Естество-знание	Палеонтология.
1900	1000	20	Календари	Различные системы счета времени.
		300	Управление эмоциями	Холодность и эмоциональность, лабораторная работа: встреча с собой, страх, гнев.
		100	Мировоззрение	Борьба с деградацией.
IV	I	50	Общая физическая подготовка	
		250	Выживание	Войны, социальные потрясения, робинзонады.

Настоящие путешественники во времени

Год	Семестр	Число часов	Название предмета	Содержание предмета
IV 1600	I	200	Основы изучения языков	Практика, подготовка к тесту: овладение языком по ситуации.
		100	История цивилизаций	Консультации, подготовка к тестам.
		100	Новые психологические ситуации	Переключение культур. Грязь.
		100	Мировоззрение	Одиночество, дом. Отношение к людям. Симпатии.
	II	50	Общая физическая подготовка	
		350	Медицина	Первая помощь и самопомощь. Травмы. Инфекции.
		100	Переключение главных языков	Практика, подготовка к тесту.
		100	Работа с памятью	Запоминание и забывание. Практика с параллельным мозгом. Память тела.
	800	100	Новые психологические ситуации	Переключение ролей. Тайны.
		100	Мировоззрение	Радость жизни.
V	I	100	Общая физическая подготовка	
		100	Специальная физическая подготовка	Нагрузки, возникающие при использовании Машины Времени.
		100	Построение тела	Внешний вид, здоровье, физическое развитие.

Год	Семестр	Число часов	Название предмета	Содержание предмета
V 1200	I 800	100	Теоретические основы путешествий во времени	Некоторые положения физики времени.
		300	Новые психологические ситуации	Омолаживание, воспоминание, прочие режимы.
		100	Мировоззрение	Радость жизни.
	II 400	—	Практика на Машине Времени	Режимы работы. Криминальная практика.
		300	Новые психологические ситуации	Консультации по практике.
		100	Мировоззрение	Радость жизни. Консультации.

Итого:

1) Физическая подготовка (ОФП, ведение боя, владение оружием, выживание, медицина, СФП, построение тела) — 1700 часов.

2) Интеллектуальная подготовка (фонетические структуры, грамматические структуры, графика, лексика, основы изучения языков, история цивилизаций, история науки, естествознание, календарь, переключение главных языков, работа с памятью, теоретические основы путешествий во времени, практика) — 3500 часов.

3) Психоэмоциональная подготовка (мировоззрение, психические заболевания, борьба с управлением, управление эмоциями, новые психологические ситуации) — 3100 часов.

Всего: 8300 часов.

Последние три года обучения в Школе сливались в памяти Лича в один сплошной поток: занятия, контроль, беседы с Эваром, дружеские обеды, когда студенты, вооружившись вертелами, храбро жарили целые туши мяса, походы на пляж.

С III года в физическую подготовку был включен предмет с занятным именем: выживание. И если раньше Лич только предполагал, что климат в Школе искусственный, то теперь ему было суждено убедиться в этом. Весь III год Школа жила в полосе засух и заморозков, бесконечных дождей, пожаров, наводнений. Студенты могли бы отсиживаться в своих удобных квартирах, но учителя были предупредительны, и регуляторы климата в доме в первые же дни дружно вышли из строя. Приходилось вспоминать о существовании каминов, печек и батарей. Если бы в Школу мог попасть посторонний наблюдатель, он бы поразился, как предупредительны и остроумны стали студенты с продавцами в магазинах, прачками, дворниками, поварами и официантами: справедливо рассудив, что квартир обслуживающего персонала катаклизмы не коснутся, весь курс, как один человек, потянулся искать себе друзей из obsługi. А под конец в Школе было устроено настоящее землетрясение и извержение невесть откуда взявшегося вулкана. Лич укрепился в своем убеждении, что со студентами уже проделали какие-то трюки: будь он нормальным, он никогда бы не выжил в таких учебных передрягах. Часто, приходя в себя, после того как его засыпало камнями и пеплом или накрывало цунами, он думал, что уже наделен даром бессмертия, но не умеет им управлять.

Будь у Лича побольше времени, он бы изучил все свое тело и нашел бы отгадку, но свободного времени почти не оставалось. Неожиданно тяжелыми для студентов оказались основы изучения языков.

— Сложность в том, что невозможно выучить даже один какой-то язык и учесть все его диалектные изменения и — хуже того — все его исторические изменения. Даже в пределах не века, нет, десятилетия в языке исчезают

и появляются устойчивые слова, фразы, интонации. Поэтому, отправляясь в эпоху, желательно — мы не можем вас заставлять, поэтому я говорю: «Желательно», — изучить характерные особенности языка в соответствии с легендой, которую вы себе сочините.

И студенты не вылезали из школьной библиотеки, учась собирать материалы по языкам, составляя списки наиболее употребительных фраз и слов, которые следовало запомнить в первую очередь. Студентам предлагались рефераты на темы вроде «Естественный путь изучения падежей» или «Связь фонетических особенностей языка с психологией носителя». Впрочем, любимой ситуацией преподавателя была следующая: «Вы очнулись в незнакомом месте и времени. Хотите — притворяйтесь глухонемым, но настоящий путешественник во времени тут же начнет следить за окружающими и копировать их фразы. Кто-то зашел в магазин купить хлеба — следуйте за ним, повторите его фразу, голодными не останетесь. Одновременно вы разбираетесь, когда и куда попали, сочиняете себе легенду и — живете в свое удовольствие».

Уже в IV год студенты ежедневно практиковались в овладении языком по ситуации. На экзамене преподаватель постарался отобрать языки самые редкие и противные, впрочем, из Школы не выгоняли. Например, Лич, если бы не мечты об Анж, ни за что бы не стал учиться, его только удивляло, ради чего из кожи лезут остальные.

Но основы изучения языков были предметом вполне безобидным по сравнению с курсом под кратким названием «лексика». Когда Лич увидел список требуемых к изучению языков, даже у него, признанного полиглota, потемнело в глазах. Все языки, игравшие когда-либо роль международных, а в дополнение к ним — любые по выбору, так, чтобы студент знал по одному языку из каждой семьи и каждой группы. В учебное время занятий по этому предмету не было, можно было только прийти на консультацию. Студенты и приходили. Жаловаться. И получали в ответ ледяные насмешки. «Интересно, каково преподавателю? Ведь

среди студентов присутствует он сам, в молодости, в другом облике, но тем не менее!» Впрочем, иногда здесь можно было услышать и дельный совет. Например, им рекомендовали последовательность зубрежки языков: от древних к современным, запрещая одновременно учить два близких языка, которые непременно начнут путаться.

Вечерами и в выходные дни студенты, проклиная все на свете, прятались в теплых комнатах прачек и поваров или мерзли в своих квартирах и учили бесконечные списки слов. Утешало одно: эпоху для каждого языка студент мог избрать самостоятельно, но на экзамене он должен был четко ее соблюдать, спрашивали в этом смысле очень строго. А все-таки... Все-таки Лич никогда бы не смог столько запомнить в обычных условиях, дома. Что-то неладно было у студентов с головой.

Во II семестре III года добавилось еще требование подготовить один главный язык: «В любой момент времени Вы должны будете как-то отрекомендоваться: китайцем, немцем, русским или тасманийцем. И уметь соответственно разговаривать. Если, конечно, не решите прикинуться глухонемым или дебилом». Студенты завидовали своим китайским товарищам: их язык существовал почти во всех тысячелетиях, им ничего не стоило «отрекомендоваться китайцем». Лич предпочел родной язык, а в те эпохи, когда его еще не было, он поставил античные языки, которые прилично знал. Уже позже, в IV год, на истории цивилизаций от них потребовали придумать аналогично главную цивилизацию, и Лич погрузился в историю античности. На экзамене ему могли произвольно назвать год, после чего Лич должен был бодро выдать свою легенду. Другой вид контроля назывался «тест по сбору материала». Студенту задавали год и страну, и он за полчаса собирал в библиотеке все возможные сведения для безопасного путешествия.

Вообще, интеллектуальная подготовка, по наблюдениям Лича, все больше дробилась на множество мелких предметов: историю цивилизаций потеснило краткое ес-

тествознание, где студенты изучали земной климат и выживаемость в разные геологические эпохи. А потом появился совсем короткий курс календарей, к которому студенты не относились серьезно вплоть до конца семестра, о чем им пришлось пожалеть. Лич вспомнил, как за день до экзамена он мучительно тренировался переводить даты с одного календаря на другой, а во сне ему почему-то снились красный месяц нивоз совместно с днем шаббат, зелененьким в желтую полоску.

Фернановское мировоззрение вновь сдавало свои позиции: его теснили сперва борьба с управлением, а затем управление эмоциями. Лич осознал необходимость и возможность для себя бороться с гипнозом и телепатией, изучал влияние на путешественников во времени социального образца и стадного чувства.

Вечерами Фернан рассказывал студентам, как будут складываться их отношения с обычными людьми:

— Постепенно вы начнете выделять две крайности. Либо вы ставите себя выше обычных людей и преисполнитесь презрения к окружающим, все, кроме собственной персоны, кажутся вам мелкими и испорченными. Либо вы воспринимаете себя как нравственного урода, неспособного к истинной правдивости и настоящей симпатии. На практике два подхода обычно чередуются, между временами презрения и самоуничижения наступают периоды ровного отношения к людям...

Одновременно Фернан продолжал обсуждать ностальгию, приводя Лича в недоумение. Впрочем, он догадывался, что лучащийся радостью Фернан, умеющий превращать любое страдание в забавное приключение, в основном исполняет роль утешителя после испытаний, выпавших на долю студентов на психиатрии, а потом — на управлении эмоциями.

А этот предмет с безобидным названием был и впрямь ужасен. Пока студентам говорили об образцах холодности и эмоциональности, о преодолении боли и страха с помощью гнева, все шло спокойно. Даже встреча с собой, кото-

рую организовали студентам, чтобы преодолеть их ужас перед подобными ситуациями, не произвела впечатления на Лича, ведь ему это было не в новинку. Он стоял в кабинете и ждал, когда откроется дверь, в нее войдет — он сам, Лич поздоровался с собой, и двойник вышел. Затем Лич перешел в соседний бокс, не почувствовал, как его перенесли в прошлое, вошел в дверь, поздоровался с Личем №1 и мог быть свободен.

А потом им заявили, что они должны приобрести опыт боли и смерти, чтобы при путешествиях в прошлое страхи перед пытками не заставил их пуститься на ненужные признания.

—Страдания усиливает мысль, что разрушается навсегда ваше тело. Но любой путешественник во времени знает, что его тело можно восстановить, так что используйте приятие пыток!

Переживая дыбу или костер, Лич вспоминал: «Умрите, дети! Умрите сейчас!» А ведь он почти забыл эту фразу. Кто придумал такую дрянную систему обучения? И Лич вспоминал, что Школа так же никем не придумана, как и Машина Времени.

Когда он падал, истерзанный, четвертованный, на пол, а потом вставал, живой и здоровый, ему казалось, что те, кто раньше проявлял свою власть над его телом скрыто, теперь смеются ему в лицо. Улыбаясь этим мыслям, Лич переодевался и шел в кабинет, где Фернан уговаривал студентов не только исполнять этику и не сходить с ума в путешествиях, но и быть счастливыми. По мнению Лича, для этого достаточно взглянуть на Фернана. Честно говоря, без Фернана Лич ни за что бы не поверил в свое грядущее счастье.

— Не теряйте самоуважения, а для этого совершенствуйтесь неограниченно! Как бы умны и опытны вы ни были, какие бы заслуги не имели, год-два безделья сведут все на нет, и вы сочтете себя деградирующими. Познавайте глупость, пьянство и разврат, но не стойте на месте.

— А если мы узнаем все, что может знать живущий на Земле?

— Есть еще и другие планеты...

После начались разговоры о неизбежном одиночестве, Фернан советовал лечить его симпатиями к людям:

— Станьте богом, творите добро, и вы не будете чувствовать себя брошенными. Не можете испытать любовь — отдайтесь власти простых симпатий.

— Знайте, что у вас есть по крайней мере одна тихая пристань: ваш дом здесь, в Школе. Вы всегда можете в него возвращаться, обустраивайте его по вашему вкусу. Можете завести себе другой в любой эпохе, но дом в Школе всегда останется за вами.

Лич вспоминал квартиру Фернана и поеживался.

На IV год Школу залихорадило: студентам стали выдавать денежное вспомоществование некоей внутришкольной валютой, а все магазины, кино и прочее сделали платными. Так они узнали, что такая бедность, грязная тряпка для мытья пола и стирка в корыте, скудная невкусная еда. Они подрабатывали в столовой и прачечной, продавали вещи и... доносили друг на друга, ибо каждое утро студентам зачитывался список запретов и крамольных идей, а за доносы о нелояльности щедро платили. В четверг в Школе могли объявить атеизм, а в пятницу все обязаны были обратиться в религиозных фанатиков. Провинившихся сажали в тюрьму, специально для этой цели заведенную, и отпускали только на занятия. А потом, когда кому-то даже удавалось сколотить капиталец, Фатых объявлял о революции, и студенческие пожитки распределялись поровну. В следующий раз тот же Фатых объявлял о страшном голоде, и даже хлеб студенты могли достать только по знакомству, у ребят из obsługi. «Не умрем же мы и в самом деле с голодухи», — думал Лич, прихлебывая очередную порцию воды. А еще через неделю начиналась война, и Школа оказывалась в прифронтовой полосе.

Тревожно шел он на новые психологические ситуации, слишком натерпелись студенты в последнее время на психоэмоциональной подготовке. Но предмет был милым: их учили не испытывать дискомфорт при переходе их атомно-

го века в пещерный (это называлось переключением культур) и при превращении короля в нищего, пьяницы и донжуана — в отшельника (это называлось переключением ролей).

— Настоящий путешественник во времени всегда способен быть довольным жизнью и собой, — вещал преподаватель.

— Люди нашей эпохи испытывают неудобство при со-прикосновении с грязью, вас это смущать не должно.

И студенты преодолевали брезгливость, пили кровь и ели жирную пищу, учились носить лохмотья, шитые золотом, и просто лохмотья, нормально относиться к болезням, которые раньше вызывали у них ужас и отвращение.

Особое внимание уделялось хранению тайны: совмещение скрытности и симпатии к людям, внутренний барьер, через который нельзя переступить ни под гипнозом, ни на пытках, разделение памяти на отсеки по типу корабля: это можно говорить, а это — нет, — позволяющее чувствовать себя совершенно правдивым.

— Помните, телепат может прочитать ваши мысли, если они облечены в слова, но ведь можно мыслить без слов, образами, чувствами!

Студентов учили скрывать свои знания, не испытывая при этом мук оскорбленного самолюбия. «Фиксируйте внимание не на скрываемых знаниях, а на том, чему вы можете научиться у данного человека.» На контролльном диалоге преподаватель умудрился подобрать для каждого те сведения, что были студенту особенно дороги. Так, Личу досталась лингвистика, и в беседе ему пришлось притворяться полным профаном, едва говорящим на родной латыни.

Несколько уроков преподаватель отвел проблеме освоения нового тела, имени, возможным изменениям темперамента и характера.

Отдельно и почему-то в интеллектуальную подготовку было вынесено переключение главных языков.

— Главный — это язык, на котором вы думаете, кричите от боли, бредите, шепчете пьяные признания. Сегодня вы

думаете по-японски, а завтра — на языке суахили, потому что он стал главным по вашей легенде. Переключить языки несложно, если вы одинаково хорошо знаете оба и словарный запас их одинаков: понятия, отсутствующие в языке №2, приходится досочинять и оставлять для сугубо личного пользования, закрывая в потайной отдел памяти. Но иначе вы будете думать о них на языке №1.

Вообще, работа с памятью, наряду с медициной, стала основным содержанием их обучения в 8 семестре, так как второй предмет из интеллектуальной подготовки даже назывался «работа с памятью». И если на уроках медицины студенты обсуждали проблемы распространения инфекций при переносах во времени, то здесь Лич понял, почему в Школе он проявил такие необычайные способности к запоминанию.

— Во время омолаживания обновляется все ваше тело вместе с мозгом, значит, вы забываете ряд фактов из вашей жизни. Чтобы избежать этого, вводится конструкция «параллельный мозг». Он выведен... («Что бы солгать?» — ясно говорил взгляд преподавателя) за пределы пространства, но подключен к вашему мозгу и имеет неограниченные размеры, учитывая неограниченную продолжительность вашей жизни. Сложность его использования состоит в том, что очень многие события записываются по нескольку раз, кроме того, изменяется — в вашем восприятии — последовательность воспоминаний. Эти ощущения необычны, и к ним надо привыкнуть. На наших уроках вам предстоит их испытать. Второй момент — забывание незначащих мелочей. Параллельный мозг плохо выделяет главное. Третий момент — память тела. Она не сохраняется, так как мы не создаем параллельное тело, но может быть легко восстановлена. Наконец, четвертое — правильное распределение информации. Предпочтительнее, если каждому из ваших обликов будет отведен особый блок параллельного мозга.

«Они подключили к нам параллельные мозги уже давно, — хотелось захочотать Личу, — вот почему мы так все

запоминаем!» Секундой позже мысль, что где-то внутри его мозг соединен с чужеродной коробкой, привела его в ужас. А потом он обедал и слушал разглагольствования Фернана о радости жизни, они убаюкивали.

У года Лич ждал с нетерпением, так как в плане был упомянут небольшой, всего 100 часов, курс «Теоретические основы путешествий во времени». Его товарищи, видимо, тоже нетерпеливо предвкушали раскрытие тайны. Тем большее было разочарование! На первой же лекции студентам сообщили, что никакой тайны раскрывать не собираются, просто в конце Школы они все получат пульты управления Машиной Времени, а саму Машину Времени к каждому из них заранее подключат так, что никто этого и не почувствует. «Очевидно, ее тоже вынесли за пределы пространства», — ядовито заметил Лич в разговоре с Эваром. Совсем плохо ему стало, когда преподаватель произнес: «Машина Времени соединена именно с Вашей личностью, то есть Вы не сможете переносить во времени другого человека, даже отдав ему пульт управления. Путешествовать во времени можете только Вы, зарубите себе это на носу». Лич считал, что его грубо обманули, он не сможет вернуть себе Анж, так что он вообще здесь делает? Неужели расширяет свой кругозор в физике? Конечно, им сообщили немало фактов, неизвестных ученым там, за стеной, но Личу они казались скорее остроумными мыслями, чем серьезными открытиями. Одновременно Лич узнал, что ученый, самостоятельно приходящий к идее Машины Времени (а такие, естественно, были), не объявляя о своем открытии, связывается с директором Школы и проходит под видом молоденького студента полное обучение. Или, по его желанию, необходимые факты стираются из памяти.

Лишь в конце лекции студентам сообщили известие, заставившее Лича воспрянуть духом.

— В Машине Времени имеется счетчик Вашего личного возраста. Когда Вы проживете 1000 лет, Вы имеете право явиться в Школу, обратиться к любому из преподавателей,

нам всем за тысячу, а Фатых, например, сидит в своем кабинете в любой момент, и узнать принцип работы Машины Времени до мелочей. Если, конечно, за эти годы сами обо всем не догадаетесь. Заодно вас привлекут к работам, связанным с созданием Машины Времени и постройкой Школы.

Значит, ему нужно ждать тысячу лет. Что ж, он подождет, ради Анж он способен на многое.

Преисполненный решимости ждать, Лич терпеливо проходил специальную физическую подготовку, хотя отлично знал, что никаких нагрузок при перенесении во времени не возникает.

— Ах, да ведь все вы путешествовали в пределах нескольких минут, — шутил над ним Фернан. Оказалось, что при переходе на тысячелетия рекомендуется сжиматься в комок, закрывать глаза и ждать.

— А что случится, если я этого не сделаю?

Фернан только фыркнул:

— Ничего, конечно, но у нас все бессмысленно, так что следуй инструкциям.

Больший интерес вызвало у Лича построение тела.

— Я научу вас создавать свое тело в зависимости от желания. Хотите вы в очередной жизни быть атлетом или иметь пышные телеса, напоминать собой скелет или бочонок, — я научу вас делать все то, что вам подвластно. По крайней мере, в момент выпуска из Школы вы будете иметь абсолютно здоровое тело и сможете использовать это при омолаживании. А вообще я советую вам создать несколько таких вот баз для омолаживания в разные моменты жизни.

Режимы работы Машины Времени

Определения:

Психический возраст — длительность психической жизни (с учетом режима воспоминаний).

Личный возраст — длительность психической жизни без повторов (без учета режима воспоминаний).

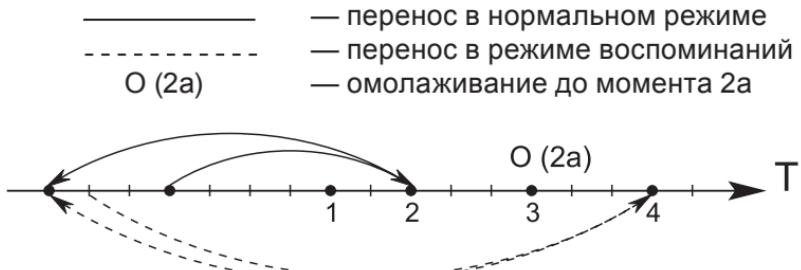
Физический возраст — возраст тела.

Психическое, личное и физическое время (τ , t , T соответственно) определяются как промежутки между соответствующими возрастами.

Обыкновенное время (T) — время в человеческом обществе с указанием календаря.

P — координаты в пространстве.

Пример



Возраст \ Время	τ	t	τ	T
1	0	0	0	0
2a	2	2	2	2
2b	5	5	5	2
3a	8	8	8	5
3b	8	8	2	5
4a	11	11	5	8
4b	12	11	5	8

Примечание:

- 1) 1 деление соответствует 1 единице времени;
- 2) переходы во всех режимах мгновенны (не изменяют ни один из возрастов).

Нормальный режим (Ввод: P , T) — обеспечивает перемещение в любую точку пространства в любой момент времени. Координаты пространства географические. Возможно использование условных координат: в память Машины Времени заранее вводится база (координаты, связанные

с какой-либо местностью, городом или страной), в дальнейшем следует набрать название местности, и нормальный режим перенесет пользователя в точку базы. Рекомендуется использовать в качестве базы уединенные и потайные места, чтобы скрыть факт путешествия во времени. Для путешествия в Школу использовать внутришкольные координаты и внутришкольное время.

Возможно возвращение в точное время и место, покинutое в экстренном режиме.

Особый нормальный режим (Ввод: Р, Т) — обеспечивает путешествие во время, предшествующее возникновению Земли. Координаты пространства — продолжение внутришкольных.

Экстренный режим (Память: Р, Т) — обеспечивает перенесение в заранее выбранные место и время. Используется при утере пульта управления, в случае непредвиденной опасности. Работает при мысленном приказе.

Режим оживления (Память: Р, Т) — автоматический вариант экстренного режима. Включается в момент смерти пользователя. Сопровождается омолаживанием до восстановления жизнеспособности.

Режим омолаживания (Ввод: t , если $t < t^*$, где t^* — личный возраст в момент использования режима) — позволяет приобрести физический возраст, бывший у пользователя в момент t .

Режим воспоминаний (Ввод τ_1 , τ_2 или словесная формулировка. τ_1 и $\tau_2 < \tau^*$, где τ^* — психический возраст в момент использования режима) — позволяет вновь пережить отрезок жизни в возрасте от τ_1 до τ_2 .

Режим переселения — обеспечивает перенесение личности пользователя в другое тело. Работает при участии пользователя.

Режим замыкания — обеспечивает замыкание жизни: пользователь последовательно переживает все моменты жизни по психическому времени в обратном порядке, от замыкания жизни до рождения, затем от рождения до замыкания и т.д. Использование не рекомендуется.

— Почему у нас отняли право умереть, а взамен дали право превратить жизнь в замкнутый круг? — при первой же возможности спросил Лич у Фернана.

— Предопределенность, — из всех улыбок Фернана эта была самой загадочной. — Хотя замкнуть жизнь — всегда поражение.

Во время последнего семестра студенты учились пользоваться режимами, позаимствовав пульт управления у преподавателя. «Значит, к нам уже подключили Машину Времени», — от этой мысли, как обычно, у Лича ныло в животе и рука тянулась зажимать рот. Их учили точно вводить необходимые формулы в режим воспоминаний и выбирать базу для нормального режима. Лич узнал, что режим оживления часто называют SAVER-ом или Спасом, а режим переселения получил название KING, потому что его создал Фернан, когда захотел побывать царствующей особой, и только потом мужчины кинулись перевоплощаться в женщин, женщины — в мужчин: во многих эпохах предпочтительнее было иметь мужской пол, в некоторых — женский. Другие путешественники подгадывали дату своего рождения под определенный гороскоп. Правилом хорошего тона считалось иметь в активе представителей разных рас, чтобы не мучаться с построением тела. Лич опробовал режим воспоминаний, пережив еще раз свидание в парке, 5 лет назад. Когда все кончилось, он испытал дикое желание переживать его снова и снова, но... «Увлекающийся воспоминаниями обычно замыкает жизнь», — эту фразу им твердили весь последний год, и она гвоздем засела в голове Лича. Нет, он не замкнет жизнь, он доживет до тысячи лет и вернет себе Анж. Уже сейчас его личный возраст на полчаса превышает физический, а психический — и того больше.

Разрыв в возрастах возрос во время практики. Лич хорошо помнил свое первое, с наставником, перемещение в настоящее прошлое. Он не стремился к таким путешествиям,

но даже его захватило волнующее ощущение, что улицы не-знакомого города, по которым они идут, — прошлое, и люди, и весь мир. Первые метры он шел точно по раскаленным углям, казалось, его сейчас схватят, и тогда случится нечто ужасное. Лич так забылся, что не сразу заметил понимающий взгляд незнакомого наставника (интересно, кто он?). А потом стало весело, и понравилось ему ласковое солнце, и улыбки хорошеных девушек, и он стал насыщивать какую-то песенку, пока не замолк на полуслове, вспомнив, что эту мелодию сочинили полвека спустя. Что же с ним теперь будет? Лич краем глаза взглянул на спутника. Тот шел, как ни в чем не бывало. Он ничего не заметил! Значит, прав был Фернан, когда в минуту веселья признался, что все строгие правила — это пустяки, все равно все предопределено. Никто его свист не услышал, а если и слышал, то не запомнил, а если и запомнил, то никому не рассказал, а через 50 лет решил, что автор у кого-то стянул мелодию!

Потом была несложная, но скучная практика по криминальным делам, и Лич внес свой вклад в разоблачение преступников, позволившее 200 лет назад за считанные месяцы свести преступность на нет. Из всех расследований только одно по-настоящему захватило его, но именно о нем Лич предпочитал не вспоминать, слишком долго он просидел после этого в кабинете мировоззрения, слушая утешения Фернана, пока радость жизни не вернулась к нему.

Наконец, настал знаменательный день, когда Лич стоял в ряду своих товарищей и слушал прощальные слова Фатыха:

— Так пусть же наша Школа будет светлым воспоминанием во всей вашей дальнейшей жизни, а жизнь вам предстоит долгая, и конец ее скрыт от всех нас мраком неизвестности.

Лич оглядывал молодые и очень разные лица. Вот Эвар, а вон там — тот, кем был когда-то Фернан, который еще

вчера уверял студентов, что его, по крайней мере, в одном экземпляре можно будет найти в Школе в любой момент внутришкольного времени.

Он услышал свое имя, шагнул вперед, и в руку его из руки Фатыха перетек маленький, легкий пульт управления.

Лич был свободен и никому не нужен. О, его ждала долгая жизнь!

Святой отец Франциск шевельнулся и коснулся лбом холодного бокала с ядом.

— Ты побоялся вернуться домой и сказать, что проучился все 5 лет. Ты побоялся вернуться и сказать, что проучился 1 год, ведь тебе пришлось бы скорбеть о недавно умершей Анж. И тогда ты, дружок, почувствовал в себе тягу к экзотике. И ты отправился в Древний Египет, к порогам Нила, в ту эпоху, когда Нармеру было суждено основать I династию.

Лич вошел в Гиераконполь, столицу Верхнего царства, когда Солнце клонилось к западу, пардон, бог Ра заканчивал свой дневной путь. Только черты лица могли бы выдать в нем пришельца, но вряд ли здесь найдется пара достаточно внимательных глаз. Лич выкрасил свои локоны, затемнил кожу и изменил цвет глаз. За отсутствием в Гиераконполе денег он запасся медными слитками и кусками льна, а на грабителей держал нож, вполне острый по египетским меркам. Льняное опоясание непривычно стягивало бедра, заставляя изменить походку. Простенькое оплечье должно было выделить его из рабов и крестьян, впрочем, Лич не был уверен, стоит ли надевать оплечье, но иначе слишком нелепо смотрелся небогатый браслет на руке, снять который никак нельзя. Маленький браслет с маленьким секретом.

Лич спустился к Нилу и долго смотрел сквозь заросли папируса на смуглых подростков на тростниковых плотах.

Они старались поразить кого-то в воде длиннющими копьями, и при каждом попадании в цель раздавался радостный крик всей команды. Рыбачат, а может, крокодила хотят убить? Вот оно, растительное подчиненное существование, столь характерное для данной эпохи. Но путешественнику во времени нечем гордиться перед ними, хотя и стыдиться нечего.

Уже в сумерки Лич подыскал себе жилье. Глиняные стены, решетка на окне, плетеная кровать и циновки. Он заранее знал обо всех подробностях и уверенным голосом потребовал воды для умывания. Хозяйская дочка, бойкая девочка лет шести, хитро подмигнула ему.

Лич с наслаждением окунал голову в таз с водой, впитывая драгоценную прохладу. Потом он долго отфыркивался, бросился в постель и впервые начал прикидывать, чем он, собственно, может здесь заняться.

Его разбудил истошный детский крик. Лич протер глаза, вспоминая, где он, и заметил вчерашнюю девчонку в своей комнате. «Чего она так орет? — Лич механически переводил. — Вода от него черная, черная, а волосы меняют цвет. Колодун! Колодун!»

Спросонья Личу почудилось, что слова, точно сухие горошины, отскакивают от стен и множатся, множатся, рождая с каждым ударом новые горошины, и уже весь дом кричит: «Колодун! Колодун!» Глупый, необъяснимый ужас обуял его.

— Да, волосы меняют цвет, — вздохнул Франциск. — Ты это понял, когда отыскал зеркало, самую ценную из твоих вещей. Ты поленился изменить структуру волос по-настоящему и просто выкрасился, но, Боже, я до сих пор не знаю, почему та краска сошла от простой воды. Словно все было подстроено (кто из Школы мог так над ним подшутить), чтобы, когда ты метался по комнате, к дверям стекались слуги, а решетка на окне не позволяла тебе сбежать, в дверях появился Пхатх.

Пхатх окинул Лич быстрым оценивающим взглядом и молча вышел, потом долго беседовал с хозяином дома. Вдруг все успокоилось. Лич томился еще около получаса, прежде чем Пхатх вошел к нему во второй раз.

Со своей кровати Лич разглядел гостя. Одежда знатного египтянина, но курчавые волосы и черты выдавали в нем нубийца.

— О, чужестранец со светлой головой.

Лич согласно кивнул. Пусть чужестранец, раз уж все пошло наперекосяк.

— Нас разделяла стена, когда я услышал скверные крики. Твой бог хранит тебя, ведь я знаком с хозяином дома. Мое сердце склонилось на твою сторону. Теперь ты — чужеземец, ищащий встречи со мной.

Лич кивнул, он успел все подслушать сквозь стенку. Не хотелось только, в соответствии с местными правилами, униженно благодарить своего спасителя. Черт с ним, пусть уж этот Пхатх припишет его сдержанность чужим обычаям.

— Но я мечтаю услышать твою настоящую историю, — вкрадчиво продолжал тот.

Лич вновь кивнул, за полчаса он успел кое-что придумать и даже порепетировать со своим отражением.

— Мое имя Лич, на моем языке это означает «странник», — раз уж он чужеземец, то может называться по-настоящему, — страна моя далеко там, — Лич махнул рукой туда, где, по его прикидкам, был север, — надо плыть вниз по Нилу, потом морем, далеко-далеко.

Теперь сделать вид, что больше ему нечего сказать:

— Я ушел из дома, чтобы увидеть мир.

— Или должен был уйти, — понимающе произнес Пхатх.

Лич согласился и с этим.

— Я отвезу тебя за пороги, странник.

— Я хотел побывать на юге.

— Там мой брат, Дрэй. Вождь племени, но пусть меня убьет тот, кто разглядит в нем хоть один седой волос! Дрэя интересуют чужестранцы, — Пхатх вдруг недобро усмехнулся, и Лич понял, что его согласия никто и не спрашивав-

ет. Ладно, он сдастся в плен с элегантностью, неподражаемой в –31 веке.

Тусклые черные кудри, умные глаза и презрительная улыбка. Таков был Дрэй. Первый силач, первый красавец, ловкий охотник, лучший пловец. Лич признался себе, что только два имени на свете так же радовали его слух. Пхатх подарил его Дрэю, точно редкую кошку, а Дрэй сразу увидел в Личе друга, словно глазастый бог симпатии с первого взгляда решил соединить эти сердца.

Лич потихоньку привыкал к деревне, он уходил вместе с Дрэем пасти скот, слушал его задорный смех и забавные сказки, угождал соседей ячменным пивом, и девушки глядели на него все внимательнее. Если и были в деревне недовольные, то неприязнь к Личу они скрывали: Дрэй мог заставить замолчать кого угодно. Что касается Пхатха, то он все время исчезал с какими-то таинственными сообщниками и возвращался не раньше чем через месяц, чтобы, отдохнув пару дней, вновь исчезнуть. Следовало бы, конечно, вмешаться в его дела хоть бы для развлечения, да не хотелось стеснять Дрэя.

Нуб была самой искусной танцовщицей и самой талантливой певицей. Мало-помалу Лич успел передарить ей все безделушки, которыми запасся в начале путешествия, кроме одной. Нуб казалась благосклонной, пока однажды вечером, когда Лич настиг ее возле дома и легко обнял, она не оттолкнула его:

— Противный, ты злой, злой! Я все знаю, ты убийца, потому и убежал от своих, — Нуб заплакала и скрылась в темноте.

— Кто тебе сказал такое? — проорал Лич ей вслед.

Да, в последнее время по деревне ходили какие-то нехорошие слухи, словно тайный недоброжелатель стремил-

ся оклеветать его. Лич поспешил поделиться опасениями с Дрэем.

— Рода не бойся, ты — мой, — спокойно ответил Дрэй, — а враг твой сам найдется, подожди.

Ночью Лич подслушал совсем другой разговор. Как сквозь туман дрожал девичий голосок. Лич заставил себя разлепить глаза и различить тоненькую Нуб, особенно зыбкую в этот поздний час.

— Дрэй, ну чем я тебе не хороша? Что мне сделать, чтобы ты снова смотрел на меня? Да если б ты на другую смотрел, я бы поняла, а ты никуда не смотришь и никто тебе, Дрэй, не нужен. Ты же пылкий был раньше, какая в тебе отрава теперь? Я ведь вижу, ты места себе не находишь, словно болит у тебя что, словно ты зверь пленный. Исхудал весь, кожа посерела.

Дрэй разглядывал ее отстраненно, с каким-то нежным и тревожным выражением, отчего его вытянувшееся лицо казалось насмешливым.

— Не надо приходить ко мне, я плохой муж, Нуб. Тебе нужен хороший.

— Я тебя хочу, плохого ли, хорошего ли, да видно, ты меня не хочешь.

Нуб разрыдалась и выбежала вон. Лич окончательно проснулся и выскоцил вслед за ней:

— Нуб! Нуб!

Она встала. В лунном свете Лич видел, как она торопливо срывает с себя его подарки.

— Уходи! Надоел, постылый.

Лич почувствовал прилив жара. Неужели Дрэй любил ее? Неужели Дрэй бросил ее, чтобы она досталась Личу? Еще не поздно, еще совсем не поздно...

— Дрэй, это я, Лич. Дрэй, догони ее, возьми ее, она не нужна мне, я не знал, что она твоя, я бы не стал... — Лич невольно перешел на ее торопливый разговор.

— Нуб не стоит твоих забот, — лицо Дрэя вдруг перекосила презрительная гримаса. А Нуб когда-то хвастала, что Дрэй мог бы взять ее в жены.

— Ты любил ее, Дрэй?

— Я хотел ее, — пожал плечами Дрэй, — но что впереди? Я прожил больше полжизни в этом племени, — тихо сказал Дрэй, заискивающе, но обращаясь и не к Личу вовсе, а уж совсем непонятно куда. — Пасти скот, жениться, детей растить, — он почти задыхался. — Да, стать вождем, быть как все вожди, уйти к предкам — все? Такая жизнь — для деда Дрэя, для отца Дрэя. Но не Дрэю. Нет, не Дрэю. Дрэю мало! — он вдруг неприятно засмеялся, дернул плечом и вышел из хижины. Лич понял, что совсем не знал этого человека.

Через неделю вернулся в очередной раз Пхатх и решил, что пора посвятить Лича в свои планы.

— Чужеземец, согласен ли ты подчиниться Нехбет и не подчиниться Уаджет? Согласен ли ты служить царю Верхнего Египта Нармеру?

Пока заинтригованный Лич торопливо произносил слова клятвы, Дрэй с Пхатхом испытующе глядели на него. На конец Дрэй кивнул.

— Нармер собирает войско против Хасехемуа, — продолжал Пхатх. — Нармер победит, и весь Нил от порогов до моря станет одной страной. Нармер воин, он вознесет человека, который поможет ему добить победу.

Лич все еще не понимал, куда клонит Пхатх.

— Дрэй соберет войско, которое победит, и Нармер сделает его дзати.

— Нуцийцу не быть дзати, — пробормотал Дрэй.

— Ты можешь быть дзати! И будешь.

Лич удивленно поднял брови. Он вдруг увидел на лице ловкача Пхатха то влюбленно-зависливое выражение, которое так часто наблюдал когда-то у своего маленького братишши.

— А если войско не победит? — вмешался он в разговор.

— Оно победит, — вздохнул Дрэй. — Воины Хасехемуа не будут сражаться.

— Не будут?

— Они не трусы, но их начальников можно упрекнуть. Пхатх может упрекнуть.

— Человек берет зерно из чужого амбара, а Пхатх помнит, — рассмеялся Пхатх, — а люди Пхатха следят, куда зерно ушло. Человек идет в дурной дом, а Пхатх видит.

— Пхатх все помнит, все, — задумчиво сказал Дрэй, — у Пхатха голова Тота.

Выходит, Пхатх профессиональный шантажист. Хорош дикарь! Лич представил себе фотографию Нармера. И человек, вырезанный на таблице Нармера, слева от царя, неужели это и есть Дрэй?

— Военачальники Хасехемуа воруют, и Пхатх, угрожая все выдать, заставит их поддаться, — подвел он итог, уже сгорая от нетерпения.

Пхатх и Дрэй переглянулись. «Светлая голова», — пробормотал Пхатх.

— Метен не ворует, — Пхатх был искренне огорчен, — Метен не пьет пива, сторонится женщин. Но Метен хочет стать выше своего господина!

Наконец Лич узнал, какая роль отводится ему в Пхатховых интригах. План был прост и безумен: явиться к Метену тайком под видом посла из северной страны и предложить договор: Лич помогает Метену занять место Хасехемуа, Метен платит дань стране Лича. Потом Метена обвиняют в измене. Грязное дельце. Что ж, как говорил Фернан, надо потерять моральность. Шантаж так шантаж. Дрэй будет хорошим правителем, в нем нет жестокости, алчности, он справедлив.

На рассвете Лич отправился на рудники разыскивать раба Метена, у которого тот отобрал маленькую дочь и продал.

Путь до медных рудников и обратно занял почти месяц. Лич хранил в памяти мрачные скалы, вспышки в гор-

нах и стук молотков. Они пришли к полной договоренности с человеком по имени Нетх.

Около сáмой деревни Лича встретил Дрэй. Было заметно, что он бежал всю дорогу.

— Не ходи в деревню! Тебя ищут воины Нармера, кто-то донес, что ты лазутчик.

Опять таинственный недоброжелатель!

— Лич, ты скроешься. Жди меня здесь к ночи, я принесу вещи, мы вместе уйдем, один ты не выберешься.

— Дрэй, нет! Это измена! Если ты сбежишь, тебе не вое-вать у Нармера, тебе не стать дзати.

— Лич, ты мой друг, — легко возразил Дрэй.

Вечером следующего дня они расположились на ночлег на берегу реки.

Дрэй взглянул на небо. Глаза у него были черные, а сейчас в зрачках отражались звезды. Казалось, он светится изнутри.

— Как в твоей стране называют светлую звезду? — спросил он вдруг. Лич вздрогнул, словно ослышался. Он лихорадочно искал ответ, поскольку и думать забыл о своей мнимой родине, когда Дрэй продолжил:

— Мы верим в Гора и небесного быка, а в южных землях у неба другие лица и умирают не так... Лич, мне не жаль, что я ушел с тобой. Нармер умрет, дзати умрет, умрут их дети, и никто не вспомнит про Дрэя, — Дрэй вдруг заговорил горячо, очень горячо. — Живем, чтобы умереть, и все. Для чего живут люди в твоей земле? Лич, странник, скажи, как я должен прожить, чтобы уйти во мрак без ужасных глаз. Я все вынесу, но я делаю неправильно, каждый год по-разному, но неправильно, а волосы белеют. И с Пхатхом я неправильно сделал. А где правильно? Возьми меня с собой, странник, куда-нибудь далеко, где по воде ходят, точно по-суху, и ночей не бывает. Там хорошо живут...

Лич в очередной раз подумал, что совсем не понимал этого юношу, этого жгучего атлета, умницу, неудержимого во всем. А вот Нуб понимала. Он и впрямь безнадежно отправлен жизнью. Какие у него искательные глаза. Сколько еще он сможет тянуться, сжигать себя?

Они сидели плечом к плечу, и их волосы переплелись. Лич уже давно принял решение.

— Я возьму тебя очень далеко, не поверишь, как далеко, и ты проживешь самую лучшую жизнь на свете. Взгляни сюда, — и Лич снял браслет. — Ты спас мне жизнь, Дрэй, поэтому я открою тебе тайну. Я пришел не с севера, я пришел из времени, которое еще не настало...

Дрэй взял браслет из его рук, очень бережно.

Вскрик. Кто мог так кричать? Какая птица... Почему Дрэй падает? Почему, почему из его спины торчит нож, такой нелепый здесь и сейчас?

Лич вскочил, ища убийцу. А убийца и не думал скрываться. Лич понял, что ему не зря чудилось всю дорогу, будто кто-то крадется сзади. Лич нашел своего тайного врага. Над Дрэем стоял Пхатх.

Теперь Лич просто смотрел, как убийца тщательно протирает свой нож, и ждал. «Зачем, зачем, если он сейчас замарает этот нож и моей кровью?» Лич взял на руки Дрэя, склонился, чтобы Пхатху удобнее было нанести удар. Сколько людей его сейчас окружили? Все воины деревни? Чего они ждут? Какие пытки готовят?

Пхатх взвесил в руке браслет Лича.

— Да ты никак ждешь смерти? Ты что, еще не понял, что сам убил Дрэя?

«Как смешно, он говорит совсем на другом языке, не по-египетски даже, он...»

Лич понял, почему нож в спине Дрэя был так нелеп: не железо даже, нет, это была нержавеющая сталь!

— Ты бы еще застрелил его, Пхатх, — сказал он совсем спокойно.

— А ты, я вижу, оклемался. Я ведь сразу узнал тебя, Лич, еще в Гиераконполе... Дрэй просил меня идти следом за вами и в случае опасности отвести в сторону погоню. Что, ты думаешь, я пережил, когда стоял и подслушивал

ваш разговор? Я знал, что ты выкинешь что-нибудь этакое, еще когда ты не смог даже волосы толком выкрасить, чему тебя в Школе учили? Я должен был убрать тебя от Дрэя. Знаешь, что смешнее всего? Я сам привез тебя к нему!

— Это ты прислал воинов?

— Если бы это был я, ты бы не скрылся. Тебя высследил хозяин дома в Гиераконполе, помнишь? Через меня, он и меня подозревал в измене.

— Значит, ты, Пхатх, завалил все дело!

— Ты дурак, Лич, — Пхатх вдруг расхохотался. — «Ты спас мне жизнь, Дрэй.» От чего, интересно, он тебя спас, если ты бессмертен? А я, я любил Дрэя, я хотел сделать его счастливым, я бы сделал его дзати Нармера, кто еще в 30-х веках *ante christum* мог бы применить методы частного детектива?

— А Дрэю это совсем не нужно было. Ты бы лучше объяснил ему, что жить не стоит, Пхатх. Дрэй ведь думал, что стоит.

— Ты недоучка, Лич, раньше таких называли второгодниками. С какой попытки ты стал студентом? С десятой?

— Я поступил с первого раза и не был второгодником, — Лич испытывал жгучую ненависть, тем более жгучую, что Пхатх был прав. Как он выглядел в годы их учебы? в кабинете Фернана?

— Ты тоже плохо сыграл, Пхатх. Ты был слишком активен и суеверлив, в тебе не было древней покорности.

— У Дрэя ее тоже не было. В сущности, Дрэй уже завалил все дело, еще до тебя, на встрече с Нармером. Дрэй не умел кланяться и не хотел. Он был беззащитно-высокомерным. Или высокомерно-беззащитным, я не разбираюсь в таких вещах.

— Пхатх, он ведь не из Школы?

— Нет, я проверял, он не из Школы, стал бы он иначе выпендриваться перед тобой.

Либо солгал, либо сказал правду, и не проверишь теперь.

— Пойдешь со мной, Лич.

— Куда?

— В Школу, Лич, в Школу! Сперва я похороню Дрэя, я не хочу, чтобы он... — неожиданно Пхатх всхлипнул. Лич смотрел, как он борется со слезами. «До чего же он меня ненавидит.» Повинуясь новому для себя гадкому чувству, Лич почти прошипел:

— Заколи меня, Пхатх, прежде чем мы отправимся в Школу. Посмотришь, как я буду умирать? Моей смертью ты докажешь верность Нехбет, у тебя ведь все готово, и ты сам станешь дзати.

— А ты редкий дурак, Лич, — Пхатх буквально размазал его черным взглядом. — Я задушу тебя, таких давить надо.

А потом Пхатх как-то обмяк, даже позволил Личу сложить в могилу побольше вещей, чтоб Дрэю было хорошо в стране мертвых.

— Ему едва исполнился 21 год, по моим подсчетам, — сказал Пхатх вместо эпитафии.

«На два года младше меня», — подумал Лич.

Но когда они стояли в кабинете директора, голос Пхатха вновь приобрел всю свою гневную силу:

— Он даже не догадался сообщить мне, что все было предопределено, хотя ведь знал, что я не смогу проверить. Его следовало бы вышвырнуть из путешественников во времени! Я был вынужден убить Дрэя, моего лучшего друга!

— Дрэй был и моим другом! — взорвался, наконец, Лич.

— Идите, Пхатх, — устало сказал директор. — Я сам разберусь с ним.

Пхатх окинул Лича презрительным взглядом и вышел, хлопнув дверью.

Какое-то время они молчали. Казалось, директор совсем вжался в свое кресло, ослабел и устал.

— Садитесь, — сказал он наконец. — Пхатх и Фатых. Звучит очень похоже. Сам я понял это много лет спустя.

Лич подумал, что у Фатыха внешность идеального директора.

— Так я стал директором Школы. Я узнал Вас сразу, когда Вы впервые вошли в этот кабинет. Вам ведь хотелось уйти, очень хотелось, верно, Лич? А я не должен был Вас зачислять, Вы не прошли ни экзаменов, ни собеседования. Но Вы создали ситуацию предопределенности, когда возле трупа Дрэя кричали Пхатху, что поступили в Школу с первого раза. Как я Вас ненавидел! А потом Фернан подал списки первокурсников, подлежащих исключению. Ваше имя стояло там первым, Лич, первым, а списки были общие за все годы!

«Фернан, всегда такой дружелюбный.»

— Но я знал, что не могу Вас исключить. А потом я сам выдал Вам Машину Времени и отправил убивать Дрэя. Вы были знакомы с ним полгода, Пхатх знал его всю жизнь. Как я был молод!

— Фатых, почему Пхатх убил Дрэя?

— Вы раскрыли инкогнито, хотя это можно было обратить в шутку. Но Вы показали ему Машину Времени, показали ее работу и, по всему, не собирались останавливаться на достигнутом.

— Он умер счастливым.

— Да. Подумайте на досуге, что могло стать с Дрэем после Ваших откровений, и Вы поймете, что ему лучше было умереть.

Фатых замолчал. Прошло много минут, прежде чем Лич решился пошевелиться. Тогда Фатых продолжил свою речь:

— В общем, я рад, что для меня предопределенность кончена. Я не знаю, что будет с Вами дальше, если таким было начало. А ведь у Вас немалые лингвистические способности, Вы могли бы прожить спокойную жизнь, посвященную древним языкам.

«И виделся бы с Эваром! И женился бы на Анж!»

— Вы случайно сюда поступили и случайно закончили Школу, Лич. Идите. Побудьте женщиной, может быть, это расширит Ваш кругозор.

Лич встал.

— Запомни, Лич, ты — наша случайность!



Лич вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Ему показалось, что Фатых посмотрел на него с жалостью.

Интерлюдия

Лич вернулся в свою квартиру. Слова «Ты — наша случайность» приговором звенели в его ушах, а к ним примешивался издевательский голос: «Побудьте женщиной, может быть, это расширит Ваш кругозор».

«Побудьте женщиной.» Из всех женщин его интересовала только одна, Анж. Прошло четыре года. Или четыре с половиной по его личному времени. Анж. Которая знала, что он поступит в Школу, Анж, которая любила предсказывать будущее!

«Побудьте женщиной.» Если бы не пророчества Анж, ничего бы не случилось. Глупо запрятывать Машину Времени в браслет, удобнее носить медальон, как Фернан. У Анж тоже был медальон, она носила в нем портрет покойной матери.

Ни один путешественник во времени, разве что такой плохой, как Лич, не стал бы предсказывать будущее, как это делала Анж. Не стал бы, если бы это не было предопределено. А о предсказании Анж знали только два человека: она и Лич.

Почему тем, последним, летом она прошла на территорию Школы? Это не Фернан ее провел, он бы такого не сделал, она просто имела право тут быть.

«Побудьте женщиной!» Лич подошел к зеркалу и впервые увидел себя по-настоящему: спутанные волосы, черная борода. Именно такой мужчина подходил к Анж в день похорон ее матери, когда она выскользнула во двор, а потом она сказала Личу, что дяденька подарил ей медальон.

«Обычно мы спешим поскорее разделаться с ситуацией предопределенности», — говорил Фернан.

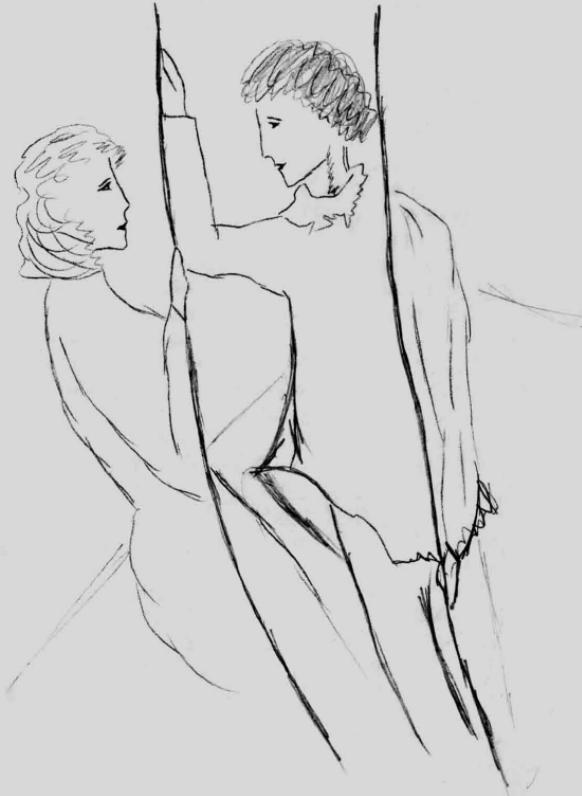
«Побудьте женщиной!» Это устроить совсем не трудно: сначала он проделает некие манипуляции над еще не родившейся девочкой, пока спит ее беременная мать, по-

том перенесется на 9 лет вперед и вручит Анж медальон с пультом управления, потом отдаст мысленную команду Машине Времени...

Личу хотелось зареветь, и он не мог. Вдумчиво и тщательно он стал готовиться к осуществлению сложнейшей из операций с временем.

ЧАСТЬ 2

АНЖ



Часть 2

АНЖ

Она проснулась для жизни года в три, как обычные дети, поскольку Лич не решился провести в полном сознании девять утробных месяцев и год в колыбели. Она увидела лицо матери и поняла, что сможет называть эту женщину мамой, а другую — мадам. Она улыбнулась, ее ждал старенький двор, где в песочнице возятся два карапуза: Лич и Эвар.

Анж, Анж, она твердила свое новое имя. «Подойдет ли оно мне?» — мечтала она, глядя в зеркало. Ах, именно она придумала Личу и Эвару их имена. Значит, они никем не придуманы? Какой смешной, оказывается, был Лич в три года: толстощекий, пухлый и розовый, он походил на пупсика из ее кукол. А вот и Эвар, уже сейчас спокойный и ясноглазый, немного смуглый, темные волосы еще выются. Почему волосы перестают виться у взрослых?

Счастьем было окунуться в волшебный мир детства, Лич не понимал этого счастья, ведь он еще не был взрослым, а Анж понимала. Правда-правда, Лич всегда считал ее особенной, умной, умнее других, если б он знал... А Эвар, что думает о ней Эвар? Анж с интересом глядела на золотоволосого мальчишку, в которого ей суждено будет влюбиться, и думала, что ей не составит труда читать его мысли, надо только вспоминать, она уже сейчас все вспоминает. Удивительно, как можно привыкнуть не говорить про Лича «я», словно он посторонний. Анж невольно обращала взгляд к Эвару, с Эваром ей не было так странно и жутко, с Эваром она не испытывала чувства, что общается сама с собой.

Через несколько лет умерла мать. Анж знала время смерти с точностью до часа, но ее ужаснуло горе отца, ведь для него все случилось неожиданно. Она тревожно ждала похороны, боясь встречи с Личем, взрослым, но Лич торопливо сунул ей медальон и ушел. Отцу она сказала, что нашла его в чулане, среди старого хлама, а фотографию они выбирали и вставляли вместе.

Теперь восьмилетний Лич должен неловко обнять ее во дворе. Поразительно, ей совсем не хотелось плакать, она просто склонилась на плечо Лича. Боже, какая холодная кожа. Лич думал, что в тот момент он успокоил ее, но он ее совсем не успокоил, ведь она знала, как в самый неподходящий миг Лич подумал об угощении на поминках и гадал, дадут ли там сладкое. Она высвободилась из его неумелых рук. «Спасибо, Лич», — и Анж вскользнула в гостиную с гробом, чтобы увидеть то, о чем Лич не знал.

Эвар держал за руку ее отца и говорил своим тихим, совсем не мальчишеским голосом: «Дядя Ян, она так похожа на Анж, так похожа»... А отец вдруг разжал стиснутые руки и крепко обнял Эвара. Анж убежала, забилась в свою комнату, залезла под стол, она вспоминала — это помнил Лич — как добр будет к ней отец все следующие годы. Он так и не женится во второй раз. И ему будет всего сорок, когда Анж погибнет.

Они уже посещали школу, и Анж стала притворяться, что не умеет читать и писать, даже училась она не на «отлично». У нее появились подружки, с которыми приятно было смеяться по углам и обсуждать мальчишек. Тут она впервые поняла, что превращение в женщинудается не так-то просто, если в тебе память мужчины. Раньше она считала предопределенностью бросать куклу и идти играть с мальчишками во двор. Но вежливо улыбаться, когда тебя ташат за руку девчонки и, хихикая, показывают подарок к дню рождения, какую-нибудь браслетку, но это стремление пропускать вперед подружек, эта растерянность, если разговор заходит о платьях, а Анж так и не усвоила отличия юбки «модерн» от «мини»... Неужели ее всему научит Жанет? Значит, ждать еще долго.

В двенадцать лет она готовилась к встрече на чердаке. В тот день Лич решил, что любит ее, а она? Что почувствует она? Анж искала в себе крупицы нежности, но, перевя-

зывая порезанную руку, она невольно ловила себя на мысли, что вспоминает весь ряд гадких видений юного Лича, он сделал ее участницей этой грязи, если бы она могла забыть... А ведь сейчас мальчишке кажется, что его глаза затмили сиянием звезды, он так боялся, что его мысли выдаст улыбка или неверный голос. Но Анж видела только жалкое избитое существо, у него и губы дрожали, и голос срывался, словно от обиды. Лич не вспоминал начала драки, какой непростительный непрофессионализм для выпускника Школы, а ведь он был сам виноват, он слишком любил дразниться и задирать нос. Наверно, в ее нежности к Личу будет что-то материнское. А еще Анж видела то, чего не заметил в тот день Лич: Эвара, который вступилился за Лича в драке, а потом нес его на чердак. Эвара, на руке которого теперь красовался здоровый синяк, а он тихо успокаивал Лича. Только раз, когда Анж случайно оторвала взгляд от повязки, она увидела, как Эвар, не зная, что на него смотрят, позволил себе скривиться. И рана Лича вдруг показалась Анж пустяковой царапиной.

Лич объяснился ей в любви через три года, неумело, как все, что он делал. Он долго объявлял ей, что должен сказать кое-что важное, долго таскал ее по улицам, выбирая укромный уголок, чтобы потом громко крикнуть, он и глаза зажмурил, в самом неподходящем месте: «Я люблю тебя!» Что подумают прохожие. Она стиснула его руку, поцеловала в лоб и убежала. Так должно. А он вообразил себе бог знает что, ведь он уже тогда считал себя неотразимым, гораздо красивее Эвара. Хуже всего, она знала, как сегодня вечером в комнате Эвара Лич скажет совсем неожиданно:

— Эвар, что ты думаешь об Анж?

И Эвар покмет плечами, откроет окно и ответит совсем равнодушно:

— Она замечательная девчонка, ты же знаешь.

А Лич повернет к нему сияющее лицо:

— Я люблю ее, давно люблю!

— Правда? — улыбнется Эвар.

— Наверное, я любил ее всегда, а вот понял не сразу, —
тут Лич зальется краской, впервые за весь день, — Эвар,
я скажу тебе, мы любим друг друга, понимаешь...

— Да это же чудесно! — рассмеется Эвар и будет весел
весь вечер. Тот самый Эвар, который в последнее время
так часто следил за ней своими большими глазами, а иног-
да улыбался так тепло. Неужели из сочувствия к Личу?

Анж подходила к зеркалу и вглядывалась в свое лицо.
Она так и не научилась интересоваться фигурой, хотя умело
копировала движения девушек перед трюмо и помнила пару
диет. Какой противный профиль: вздернутый нос, безволь-
ный подбородок, скошенный, как у индианки, лоб. Серые во-
лосы, невыразительные... А Лич считал ее прекрасной. Она
была тоже светлокожей, светловолосой и светлоглазой. Прос-
то удивительно! Что ж, она всегда будет уверена, что по край-
ней мере один человек считает ее платье самым красивым,
а прическу — самой лучшей. Но вот странно, она поняла, что
это ей совсем безразлично, совсем.

Она познакомилась с Жанэт уже в последних классах
школы, у Анж и раньше были подружки, но никто не про-
водил с ней столько времени, сколько эта красавица-му-
латка, жгучая, вызывающая — в свои 15 лет. Около Жанет
всегда вертелись мальчишки, и она гуляла то с одним, то
с другим. Удивительно, но Лич не обращал внимания, он
едва помнил о ее существовании. Пожалуй, она возилась
с Анж, точно с куклой, но Анж это не обижало, Анж не зави-
довала веселой Жанет, только злилась, когда та втягивала
ее в свои легкомысленные похождения.

— Странная ты, Анж. Дружишь с двумя парнями, и даже
ни разу не поцеловалась, — болтала она, например, раз-
глядывая свои новые серьги, — чудеса, да и только.

Анж невольно вспыхнула:

— Мы дружим с детства, что ты вообразила, Жанет.

— Невероятно! И ни один из них не влюбился в тебя?

— Может, и влюбился.

— Лич или Эвар? Они сидят за одной партой, а ты все время смотришь туда, да-да, не отпирайся, смотришь, но я не могу понять, на кого. Так кто в тебя влюбился?

— Лич, например.

— Но, Анж, он же чудовищный неженка, знаешь, по-моему, второй куда занятней.

— Эвар?

— Да, Эвар. Я ведь не путаю? Лич беленький, а Эвар — который брюнет, правильно? Еще все время молчит, прямо как рыцарь, молчаливый и сильный. Он, наверное, всегда скрывает все свои чувства. Может, он совсем бесчувственный или заторможенный какой-то?

— Да нет, Жанет, он просто скромный.

— Невообразимо! Ты часто видела, чтобы он смеялся?

— Видела, Жанет, видела. Но, конечно, смеется он редко, и сердится редко, — Анж подумала, какую радость ей доставляет в последнее время тайком ловить на лице Эвара проблески чувств, словно она коллекционировала в своей памяти: Эвар весел, Эвар грустен, Эвар сердит, Эвар оскорблен. Он даже с Личем ничем не делился, а ведь Лич бегал к нему с каждой обидой и неудачей.

— Вот-вот, настоящие средние века.

«Какие средние века, Жанет, что ты о них знаешь, выдумала себе бог весть что.»

— Он совсем взрослый, Жанет, вот и все.

Они еще поболтали о пустяках, а потом Анж осталась одна и долго думала о том, о чем Жанет не сказала: Эвар еще с детства был поразительно чутким, и у него всегда были добрые глаза, и почему-то в его присутствии Анж обволакивало теплом, он ничем не напоминал античное мраморное изваяние. А еще он был упрям, и уж тогда добивался своего, и мог хладнокровно разнять дерущихся, а однажды он на спор вдруг спрыгнул с моста, никто и не

ожидал такого, совершенно спокойный, и так же спокойно пошел домой, но Анж-то видела, какой он был бледный...

...Она старательно осваивала все женские ухищрения, все то, чему, видимо, нормальные девчонки учатся от природы. Анж уже привыкла к каблукам, не стеснялась декольте или мини, но, по мнению Жанет, все еще не обладала настоящим стилем и вкусом. Порой ей казалось, что она никогда не освоит соотношение моды и фантазии в выборе платьев, и умения в несколько секунд сотворить из прически маленькое чудо, и изящную походку, Личу она и так казалась изящной.

Но однажды она поняла, что на сей раз у нее получилось. «Обворожительно!» — сказала ей Жанет. Ее платье было образцом настоящего вкуса, Анж придумала все сама, проявив смелость и благородство в равной мере. Она придала нижней юбке, гибкой и жесткой, форму опрокинутого тюльпана, а поверх этого корсета (как смешно, что раньше корсет надевали на туловище) пенились белые кружева до колен. Декольте гармонировало с ожерельем (подарок Лича, но разве это важно), челка вставала над лбом.

В тот день был большой школьный бал по случаю начала каникул. Она вертелась в туалетной комнате перед зеркалом так и эдак, то дергая мешочек с духами, основной тон в запахе она задала еще дома, но его требовалось освежить, то добавляя себе еще немного теней. А ведь когда-то в туалетных комнатах были только зеркала, и женщины таскали с собой косметички. Ужасное неудобство! И пусть Жанет выглядывает из-за занавески так нетерпеливо. Сегодня Анж научилась опаздывать.

Она насмешливо и немного свысока смотрела на юношей, только стрелки на брюках выдавали в них нечто праздничное. Интересно, причесываются ли они хоть изредка? Локоны Лича давно следовало постричь, а какой безобразный пробор у Эвара...



Как жаль, что Лич все приглашает и приглашает ее на танец, он не дает другим мальчикам никакого шанса. Их считают влюбленной парой, но Анж часто задавалась вопросом, какой порыв толкнет ее однажды в объятия Лича в городском парке? Удивительная штука... Из-за плеча Лича она часто видела задумчивого Эвара. Он следит глазами за лучшим другом и девочкой, которую знает с детства. Но вот Эвар словно отряхнулся с себя нерешительность. Любопытно, с кем он будет танцевать? Эвар подходит к Жанет. Она дает ему руку. Все это просто любопытно, но почему Жанет так улыбнулась? И почему засмеялся Эвар? Он ведь так редко смеется...

Анж невпопад отвечала на слова Лича и почти с досадой вспомнила, что именно эту рассеянность он принял за проявление подлинной страсти. Она уже не думала о том, что отвернулась от своего партнера, глядя на танцующие пары, точнее, пару... Когда же кончится танец? Пригласит ли Эвар Жанет еще раз? Почему Анж должна быть верна Личу? Если бы она не знала наверняка, с кем протанцует весь вечер... Как легко было бы улыбнуться, сказать: «Что это Эвар скучает? Давай его развеселим! Не будешь дуться, если я станцу с ним вальс? Принеси нам что-нибудь попить, хорошо?» Лич бы не догадался.

Эвар приглашал Жанет снова и снова. Анж как во сне разглядывала платье Жанет, белое на смуглой коже. Декольте у нее глубже, а юбка короче. Она что-то шепчет Эвару. Он не смеялся столько за весь год! Почему, ну почему Эвар танцует с Жанет? Сердце Анж разрывалось от ревности. Неужели нельзя было догадаться сразу, что она любит Эвара, а заветная сцена с Личем — лишь мимолетный каприз!

А Лич ничего не замечал. Анж вспомнила, в каких мыслях о ней он проведет ночь. Как просто с парнем, мысли которого знаешь наизусть, и как сложно...

После школьного бала Анж нервно ждала сцены в парке. Уже объявила она Личу, что он поступит в Школу, и Лич

покорно готовится к экзаменам вместе с Эваром. Уже привычной стала для нее дрожь и ощущение жара, когда Эвар входил в комнату и приближался, чтобы просто сказать: «Привет!» Но все еще она глядела на Лича, идеально красивого, мраморно холодного, и задавалась вопросом: почему, как она испытает любовь к нему?

Наконец, настал тот день, когда они долго гуляли и оказались в самом глухом месте парка. Это должно произойти сейчас. Но Лич казался все столь же холодным и далеким. Вот заиграла та самая песня. Они просто стояли под деревом, ничего не говоря друг другу.

Ту, в которой я тону,
Мне другой волны не надо.
Пусть шершавый смех песка...
Ну и вкусы у Лича.

Анж подумала, что могла бы видеть в нем хорошего друга, если бы не необходимость играть в любовь.

Она вдруг поняла, что песня кончилась, а они все стоят в молчании. Не может быть! Чувство мгновенного облегчения сменилось невозможным ужасом, потому что она услышала голос Фернана: «Первую часть закона вы можете пытаться нарушить, но у вас это никогда не получится...» Что же теперь будет? И тут знакомая песня раздалась еще раз. В этот день ее включили два раза подряд, а Лич и не запомнил!

Это ж надо быть такой дурой! Да не будет никакой страсти! Просто... все предопределено. Она медленно подняла руку, вспоминая слова:

— Лич, иногда я...

Теперь поцеловать его в губы. «Кажется, я плохо играю. А он не понимает, ничего не понимает. Хорошо, что это не Эвар. Эвара я бы не провела», — и Анж тут же обругала себя. Ведь как говорил Фернан? Надо вести себя как ни в чем не бывало, все само собой сложится необходимым образом.

Какая мокрая трава и мокрые суетливые руки у Лича. Он холодный, с ним ей всегда было холодно. Если бы не холод, она могла бы закрыть глаза и представить, что это Эвар, с Эваром ей было бы теплее.

Больше всего она боялась, как бы кто-нибудь не застал их. Лич ведь мог и не помнить. А когда все кончилось, она лишь с облегчением подумала, что дома прежде всего надо будет хорошенко вымыться. А Лич замарал свою куртку, он не станет ее чистить, так и уедет в грязной. Продав голосу нежность, она попросила Лича не прощаться с ней завтра.

Наконец-то одна. Анж не покидало ощущение, что она вымазалась в грязи. Только сейчас она поняла, как устала общаться с Личем и все время помнить каждый свой следующий жест, каждое слово, совершать свои маленькие пророчества... У Лича и впрямь хорошая память.

Целый год без Лича! Она могла бы ненавидеть его. Целый год она проведет с Эваром, теперь можно не притворяться, не пророчествовать, не играть, как плохая актриса в полуза забытой пьесе. И заснула она так счастливо, словно не знала о своей скорой смерти.

Прошел месяц, целый месяц назад уехал Лич. Домой вернулся Эвар, уже неделю она занималась с ним языка-ми — увлечение Лича, — а он смотрел на нее ясными, ласковыми глазами, ходил гулять с ней в парк и был неизменно вежлив, спокоен и предупредителен. Иногда он прощался и уходил, спеша.

«Он, наверное, всегда скрывает свои чувства», — сказала как-то Жанет. Анж решила сделать первый шаг.

Это было в парке, снова в парке, но сегодня рядом с ней стоял Эвар. Анж нервно кусала травинку, разглядывая его.

Эвар, в отличие от Лича, не считал себя красивым. Возможно, он им и не был, но у него густые волосы и выразительные глаза, утомительные занятия уже прочертили на них красную сетку и собрали на веках ранние морщины. Анж подумала, что даже стареющий Эвар станет ей только дороже, какая сладкая боль — видеть пометы времени на его лице. «Какой он усталый и сильный. С таким я могла

бы ничего не бояться и ни о чем не заботиться. Эвар, скрути меня, поведи за собой! Ну догадайся, пожалуйста! Нет, он не мог бы предать меня или оскорбить, он вообще не способен на такое.» Что же сказать ему? Анж вдруг поняла, что смотрит на Эвара слишком пристально, уже давно. И тогда она просто прижалась к его груди, его тепло уже не обжигало ее, а мягко обволакивало, позволяя закрыть глаза...

Пара крепких рук взяла ее плечи и отстранила от себя.

— Лич мой друг, — мягко, очень мягко сказал Эвар. — Лич мой друг. А ты любишь его.

Анж не ответила. Нет, ей ничего не стоило открыть ему все, совсем все, с ним не случится того, что случилось с Дрэем. Просто она вдруг вспомнила, что у нее есть другое имя. Ведь Анж, ей осталось жить всего несколько месяцев, а Личу суждена долгая жизнь. Она должна забыть об Эваре. Как иначе Эвар с Личем посмотрят друг другу в глаза, что станет с их дружбой? Ради Лича, он имеет право сохранить друга, Анж должна забыть об Эваре.

— Извини, Эвар, просто мне иногда бывает так одиноко.

— Я все понимаю.

«Ты ничего не понимаешь!» — но тут Анж обо всем забыла, потому что он взял в ладони ее лицо. Он думал, что она плакала. Но нет, она не плакала. И Эвар все так же спокойно сказал:

— Развлекайся, Анж. Мне надо идти.

«Развлекайся!» Она вдруг вспомнила, как Лич прощался с Эваром в Школе. «Позабыться об Анж, развлекай ее, дружище.» Неужели Эвар просто выполнял обещание? Неужели Эвар не видит, что убивает ее своей вежливостью? Анж считала бы гадостью следить за ним еще вчера, но сегодня ничто не помешает ей выяснить, куда он уходит, спеша. И увидеть, как его ждет Жанет. «Он опоздал, он скрывал от нее, что гуляет со мной!» Увидеть, как рука Эвара ложится на ее талию, они смеются. Она будет целовать Эвара, как целовала до этого десяток мальчишек. Эвар, который плохо одевался и еще хуже причесывался,

Эвар, который был так добр и мужественен, Эвар уходил с Жанет.

Дома Анж достала фотографию Жанет и долго всматривалась в знакомое лицо. Потом протянула фото отцу.

— Папа, что ты думаешь о Жанет?

Отец взглянул на портрет и отложил его.

— Знаешь, иногда мне кажется, что вы — сестры. Нет, не думай ничего такого. У вас какое-то неуловимое сходство, и дело не в цвете кожи, даже не в чертах лица. Что-то в мимике, в голосе, может быть...

Бедный отец, тебе суждено вскоре потерять меня. Ты останешься один. У Лича был брат, у Эвара — сестренка. Если бы не предопределеннность.

— Анжелика, — тревожно позвал отец.

— Все в порядке, папа.

Отец удивился тому, как непривычно дрожал голос до-чери. Он удивился бы еще больше, узнав, что Анж пропла-кала в своей комнате до рассвета.

И снова настало лето. Анж купалась, и ходила на танцы, и следила по телевизору за изгибами мускулистого парня в набедренной повязке. В тот год он был самой популярной моделью. Реклама баков и светлых волос. Отведенное ей время насчитывало уже не месяцы, а недели, когда она вспомнила о своей последней встрече с Личем. Наконец-то она использует медальон.

Удивительно, но ей и впрямь захотелось в Школу, почему бы не погулять по знакомым улицам, по парку, если она достоверно знает, что опасности встретить Лича нет никакой.

А потом столкнуться с Фернаном возле качелей и поклониться, когда он галантно пропустит ее вперед.

— Ваше имя, прелестная незнакомка?

— Анж.

Фернан поглядел на нее с каким-то новым интересом. Ну конечно, ведь Лич болтал о своей великой любви направо и налево.

— У меня здесь друг.

— Этот молоденький, кудрявый и голубоглазый, Лич, кажется?

— Да, верно.

— А он знает?

— Нет, он и не подозревает, кто я.

«Вот бы сейчас выпытать его отношение к Личу. Или посоветовать поставить фамилию Лича первой в списке исключенных? Тогда все будет предопределено, не так учинительно.»

Фернан беззаботно раскачивал качели, и неожиданно Анж почувствовала безудержное веселье, даже смех Эвара, звучавший ей весь последний год, прекратился.

— А ты повеселела!

Они незаметно перешли на «ты». Что ж, Лич приревнует ее, значит, пусть хотя бы не зря! «Я могла бы влюбиться в Фернана», — Анж сама удивилась такому открытию.

— Значит, я была грустной?

Фернан кивнул. Взгляд его остался пронизывающим, лицо с готовностью изображало сочувствие.

— Представляешь, 20 лет прожить в ситуации предопределенности, зная каждый свой день и час, — неужели она может так легко, по-светски безразлично выкладывать ему свое горе? Какое горе? Почему все так забавно? — Да еще любить одного, а притворяться влюбленной в другого!

— Да, тяжко тебе пришлось. Но зато ты уже точно знаешь главное.

— Главное?

— Ну да, что хуже вряд ли будет.

Анж смеялась. Качели летели на такой высоте, что они уже не говорили друг с другом. Невольно Анж всматривалась в человека, которому сто тысяч лет, который так ве-

сел, который через минуту спрыгнет отсюда к своему обезглавленному трупу и хорошо знает это. Какие слезы туманят его глаза? Что значит этот ненасытный, нежданно языческий оскал великолепного рта? Удивительное лицо. Казалось, он наслаждается каждой секундой полета. Чем он так пьян? Жизнью? Собой?

Ага, вот оно.

— Извини, — Фернан и сейчас был галантен, даже отвесил шутливый поклон. Какой прыжок! Казалось, и прыгнул-то он от радости жизни, ей даже почудилось, что он заорал, как дикарь. Нет, просто свистнул. Кто бы смог повторить этот полет! Какой воздушный гимнаст, любимец публики...

Качели почти встали. Она вспомнила, что ей еще предстоит дать пощечину Личу. Кажется, она проделает это с немальным удовольствием.

Ей оставалось только умереть. Пять лет Лич искал причину смерти, которая не имела причины. Анж не хотела умирать. Не на этих грязных трубах, не так... Впрочем, она умрет, прежде чем долетит до земли.

Последнюю неделю Анж изучала подходы к дому, с которого ей предстояло спрыгнуть. Здесь оставляют открытый чердак. Она прощалась. С отцом, с Жанет и Эваром, который сразу после ее похорон уедет сдавать экзамены в Школу, ей только сейчас пришло в голову. Она прощалась, а они и не знали...

В свой последний день она надела длинное белое платье, настоящий саван, закрытое и немодное платье. Если бы кто-нибудь увидел ее в сумерках... Последний этаж. А вот и ход на самый верх. Лестница казалась ненадежной. «Эвар, Эвар», — стучало на каждом шагу ее сердце. Впрочем, она еще успеет подумать об Эваре, пока летит вниз.

Сколько здесь грязи, старые доски, запах краски. Анж открыла окно и вдохнула свежий воздух. Она встала на по-

Интерлюдия

доконник. Не смотреть вниз. В сущности, ей осталось совсем немного: шагнуть вперед и подождать, пока сработает SAVER.

Интерлюдия

Лич держал в руках фотографию Анж. Пять лет она стояла у него на столе. В кабинете и в гостиной. Под конец жизни Анж возненавидела Лича. А кого ему ненавидеть? Ее, себя? Кто он? Кому нужен этот назойливый стук? В дверь... Конечно, 20 лет назад Лич зачем-то запер ее.

На пороге стоял Эвар. Казалось, Личу в жизни не доводилось видеть ничего ужаснее. Эвару, который плохо одевался и еще хуже причесывался, шел средневековый костюм. Жанет считала его рыцарем. Про него, а не про Лича сочиняла романтические сказки Анж.

Странным образом Лич все еще испытывал влечение к Эвару, его присутствие повергало Лича в шок.

— Я просто пришел узнать, как дела, — пояснил тот.

— Да, было тут одно путешествие, — ах, как естественно звучит его голос, как спокойно.

— Эвар, я побреюсь и вымоюсь, а потом мы поболтаем.

— Приходи в гости, Лич.

— Конечно, старик.

Эвар ушел. Лич взглянул на себя в зеркало, схватил портрет Анж и с размаху швырнул его на пол. Наконец-то в нем заговорил мужчина! Переключение ролей состоялось.

И вот тогда он ощутил физическую потребность боли.

— И ты вспомнил Эваровы средние века. Словно тебя запрограммировали на это. И ты выкрасил волосы. И ты отправился в испанскую деревушку и вошел в храм, воткнул нож в икону и начал свою проповедь, сложенную из всевозможных ересей. Без всякой подготовки, но среди слушателей не было знатоков, и ты не рисковал. Избранный, ты дожидался прибытия священника, и он увез тебя и пытал, а ты упорствовал и добился вожделенного кост-

ра, — сказал портрету святой отец Франциск. — Ты ничего не прочитал в глазах твоего инквизитора, а я узнал тебя, Лич, я, пытая тебя, вспоминал, как тебе было больно и как будет больно гореть, когда ты не дашь палачу милосердно сломать тебе шею.

Святому отцу показалось, что это он вновь стоит перед зеркалом в квартире Школы, прия в себя после костра. «Все тщетно, — думал Лич. — Все тщетно.» Если бы он мог умереть, по-настоящему. «Вы даже придушить себя не сможете!» Когда он слышал эту фразу? Лич взглянул в зеркало еще раз. Лицо, которое так ненавидела Анж. Любил ли его хоть кто-нибудь? Можно ли его полюбить? А лицо это он видел в Школе, наконец-то Лич вспомнил, где и когда.

Перенестись назад, выскочить в коридор и крикнуть им всем, удивленным, особенно вон тому, тоненькому и холодному, холодному...

— Умрите, дети! Умрите сейчас! Потому что потом вы даже придушить себя не сможете! Проклятый SAVER спасет вас!

Все. Теперь можно идти бриться. Потом он заглянет в магазин. В винный отдел.

Потянулись последние дни Лича. Лич никогда не пил, но он научился. День за днем он сидел в своем кабинете, поставив на стол два портрета: Анж и Эвар. Только естество могло заставить его встать, и он ненавидел себя еще и за это. Потом он стал курить, перемежая выпивку с сигаретой. Он сидел в дымовой завесе, оцепенев, ничего не желая. Никогда он больше не посмотрит ни на одну женщину, потому что любая женщина будет теперь называться для него Анж...

На седьмой день у него кончились бутылки, и он решил заявиться в бар. Он сидел за столиком, точно как дома, только портретов не было. И тогда появилась Она. Наглая,зывающая. Чуть-чуть неженственная, но все мужчины

оборачивались ей вслед. Такая непохожая на Анж. И в то же время похожая. Как Жанет.

Видимо, Лич оказался для нее милее других, раз она села за его столик. Она была почти обнажена, она без устали дразнилась, а он был пьян, слишком пьян, поэтому, увидев, что девушка хочет уйти, Лич двинулся за ней.

Лич проснулся и впервые за всю неделю почувствовал себя трезвым. Девушка спала рядом. Наверное, она увела его из бара. Знакомый медальон блеснул на ее груди, какой старый, гораздо старше, чем у Лича. Или Эвара. Или даже у Фатыха. Мгновенный порыв — не советовал ли Фернан отдаваться порывам — и Лич раскрыл его.

Первая из фотографий тоже была знакома. Прыщавый юнец в толстых очках. Лич затряс спящую, он даже имя ее не спросил:

— Фернан, Фернан, вставай! И прими, ради бога, мужской облик. Вставай, сейчас я оденусь.

Когда Лич вновь взглянул на кровать, там уже сидел, склонясь, Фернан и просматривал свою коллекцию портретов.

— Ты уверен, что мы знакомы? — безмятежно спросил он. Лич понял, что опять нарушил этику.

Среди фотографий нашлась и девчонка.

— Один из моих первых женских образов. Не очень удачный, но, надеюсь, тебе понравился.

— Я не помню, — Лич встярхнул головой. — Нам нужно поговорить. Фернан, я хочу сменить облик.

— Ну так меняй.

— Совсем. Я не хочу возвращаться к Личу по SAVER-у или в экстренном режиме. Подыщи мне мужчину, не калеку, не урода, но он не должен походить на меня. И на Эвара тоже. Устрой, чтоб без всяких предопределенностей, а главное — позаботься о теле Лича. Я достоверно знаю, что уже не вернусь в этот облик, значит, надо похоронить мой труп. А в Школе кладбища нет.

Фернан, если и удивился, не подал вида. Уж скорее встревожился:

— Ты уверен, Лич? А если ты захочешь вернуться к родителям? Вернись, сообщи, что тебя выгнали с I курса, мы все так делаем.

— Предопределено, — бросил Лич.

— Ну со второго.

— Нет.

— Ты можешь передумать.

— Нет.

— Тебя видели на похоронах Анж, — вдруг сказал Фернан.

«А это уже нарушение этики, — подумал Лич, — конечно, если оно не предопределено». Вслух он произнес:

— Вот ты туда и сходишь в моем облике.

— Я все-таки сохраню тело Лича, вдруг ты передумаешь.

— Найди мне кого-нибудь.

— Хорошо, как хочешь, — и Фернан исчез. Он мог бы вернуться в то же мгновение с ворохом кандидатур, но, видно, решил пощадить чувства Лича и вернулся минутой позже.

— Я нашел кое-что. Не знаю, откажешься или нет. Придется прожить грязные годы.

— Надеюсь, не маньяк-убийца? — опасливо спросил Лич.

— Нет, нет. Испанский инквизитор мелкого пошиба.

Лич взгляделся в лицо, даже не подозревая, что видит его не впервые. Тонкие губы, смуглая кожа. Морщины. Все резко, четко. Сухой, волевой человек. Быстрые черные глаза. Наверное, умеет криво улыбаться, как Дрэй.

— Как его зовут?

— Святой отец Франциск. Имя на ту же букву, что и твое. У нас обычай такой: по возможности подыскивать имена с той же буквы.

— Франциск, — Лич словно пробовал имя на вкус. Оно подходило к лицу. Почему бы ему не пытать людей?

— Я согласен, — сказал он Фернану. — В конце концов инквизитор — это всего лишь следователь, если перевести с латыни.

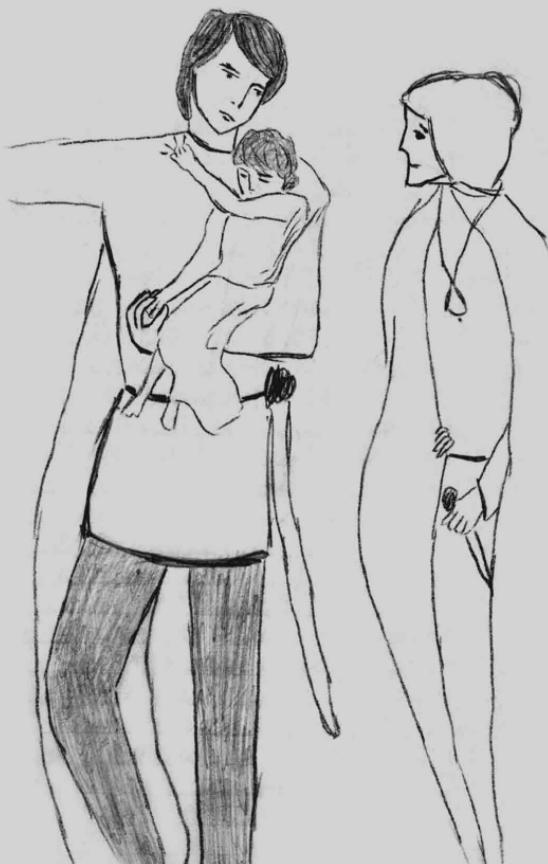
Фернан рассмеялся, словно предвидел встречу Лича и Франциска, когда один из них будет висеть на дыбе, а второй — этой дыбой орудовать.

Святой отец Франциск закрыл медальон. Рассвет. Он не хотел рассвета. Лич кончил свою бесславную жизнь, чтобы назвать материю простую крестьянку со строгим лицом, а потом уйти в монастырь.

И все-таки жертва Анж была не напрасна. Иначе бы Эвар не пришел к нему в тот памятный ноябрьский день.

ЧАСТЬ 3

ЭВАР



Часть 3

ЭВАР

Для Эвара все началось со смерти Лича...

Святой отец Франциск вспомнил тот день, когда Лич очнулся в кабинете Фатыха.

Шли недели криминальной практики, и он должен был расследовать очередное убийство. Нож в спину, ничего особенного, но поразило Лича то, что страна, куда ему предстояло отправиться, и год совсем не соответствовали тем, с которыми он привык иметь дело. Он не стал задавать вопросов: для чего, если в ответ услышит старую отговорку: «Предопределено».

Тщательно загrimированный, Лич стоял на автобусной остановке и ждал. Через 2 минуты по его часам здесь кого-то зарежут. Как обычно, Лич мысленно проверял себя. Скрытая камера на месте, пульт управления в левой руке, правой он включит запись, только б не упустить момент...

Подъехал автобус (сколько веков такие вот машины называют автобусами, словно они и не изменились до неизнаваемости). Открыл двери. В этот момент Лич увидел убийцу, он не сомневался, что перед ним убийца. К остановке шел старик в отвратительном черном пальто до пят, с грязной седой бородой, безобразный старик, но здесь такие в порядке вещей, если бы он не держал в руке кухонный нож, совсем новый, наверняка еще острый. Лич даже скривился с досады. Что за нелепый убийца. И явно не сможет скрыться. А местные следователи вконец обленились, раз заставляют торчать здесь путешественника во времени. Не иначе, старик пьян и ввязывается в драку. Лич оглядел стоящих на остановке. Кто из них будет жертвой? Он вдруг подумал, что, если всадить нож по самую рукоятку, он может пройти насеквоздь, тогда острый конец высунется наружи... Господи, да что с ним? Люди входили в автобус, Личу

пришлось направить камеру назад и повернуться к старику спиной. Почему он так волнуется? Ни разу с Личем не случалось подобного неудобства. Он был не блестящим криминалистом, до сих пор практика не вызывала у него ничего, кроме скуки.

Поднимаясь по ступенькам, он почувствовал толчок в спину неожиданной силы. Что-то обожгло его сзади. Он еще успел услышать пронзительный визг, обернуться и взглянуть в глаза Эвара. Эвар в черном пальто и с приkleенной бородой...

— Знаешь, я и впрямь испугался, когда узнал тебя, и даже в кабинете Фатыха боялся тебя, пока ты говорил, что все предопределено, — весело болтал Лич тем же вечером в гостиной Эвара, прихлебывая кофе.

— Предопределено?

— Ну, убийство. Какой ужас! Как подумаю, что, может, и мне точно так же придется поступить с кем-то... Это не очередная лабораторка по психоэмоциям? Нет?

Лич замолчал, вдруг осознав, как сейчас тяжело Эвару. Бедный. Почему он попал в такую проклятую ситуацию?

— Лич, — попросил Эвар. — Расскажи мне еще раз про это дело, все, что знаешь, — и потянулся за второй чашкой.

Они уже прощались, когда Эвар попросил его еще об одном одолжении.

— Лич, обещай, что никогда не заговоришь со мной об... убийстве, а значит, и вообще ни с кем не заговоришь, вдруг ты не узнаешь меня. И никаких намеков, пожалуйста, только если я сам захочу вспомнить.

Лич, уже успевший сбегать к Фернану, слегка смущился.

— Конечно, дружище, я понимаю, как тебе тяжело. Кстати, почему все было предопределено? Ты так и не сказал мне.

— Я не могу сказать, это, видишь ли, тоже предопределено.

— Проклятое слово!

— Проклятое, — усмехнулся Эвар. — Спокойной ночи, Лич.

— Спокойной ночи.

Эвар постоял на пороге и отправился на кухню. Он осмотрел ножи и выбрал один, самый подходящий, судя по описанию Лича.

Надо же было прожить 900 лет и вдруг захотеть явиться сюда, в Школу V года, в квартиру тогдашнего Эвара, еще не испытавшую всех перестановок Эвара нынешнего. Он знал, что в эту ночь студента-Эвара не будет дома, и Эвар-путешественник во времени сможет побывать наедине со своим прошлым. Не учел он только, что дверь не запиралась, а Лич к Эвару, как и Эвар к Личу, входил без стука.

Хорошо, что Лич, а позже святой отец Франциск сдергут слово, Эвар-студент ничего не узнает об этой истории и будет жить в неведении 900 лет... до сегодняшнего дня. Стоило ли сказать Личу, что он сам создал ситуацию предопределенности? Глядишь, и не вляпался бы в историю с Дрэем... А теперь нельзя, поздно. Эвар попробовал тяжесть ножа. Одно время его тянуло к эффектным кровавым сценам, к жестокостям. Взболтать остывшую кровь, с путешественниками во времени такое случается. Однажды это привело его к фашистам... Но убийство Лича напоминало галлюцинацию безумца. Такое невозможно придумать, такое можно только предопределить. Ему еще предстоит перенестись во вчера и поговорить с Фатыхом, чтобы тот все устроил.

Старателльно скаля зубы, Эвар принялся точить нож. Если нож будет достаточно острым, Лич не почувствует боли.

Идиотский поступок прошел и забылся, мало ли окаянств совершил он в жизни. Он забыл, как падал Лич: на колени, а потом лицом в грязь, и неприятные часы заключения, пока Фатых не освободил его, он тоже забыл, он ведь был

профессионалом. Все-таки он испытывал какую-то неловкость, совершенно недопустимо осложнявшую его жизнь. Как раз в ту пору ему пришло в голову, что Элизабет могла бы избавить его от этой неловкости. Эвар вспомнил Элизабет.

Она была каприз длиною в человеческую жизнь. Эвара всегда привлекала Европа, особенно средневековая, однажды он решил прожить жизнь простой крестьянки и совершенно наугад выбрал Францию, 14 век. «Хоть хозяйничать научусь», — посмеивался он, выполняя необходимые формальности.

Элизабет. Он думал о ней в третьем лице, как о всех своих прошлых обликах. Когда он был Элизабет, он так же отчужденно думал об Эваре. Здоровая, крепко сколоченная девушка, иногда скучавшая в деревне. Она не была красива, но ее глубокие серые глаза привлекали немало поклонников, пока не случилось то, о чем и вспоминать не хотелось. Банды пастушков уже месяц наводили ужас на окрестные деревни, в тот день они ворвались в дом Элизабет. Следующим утром молодой парень, еще вчера так желавший назвать ее женой, быстро, как все, что он делал, скидал свои вещи и ушел вслед за пастушками, оставив Элизабет воспоминание о его цепких объятиях, причиняющих боль. Несколько недель ей в кошмарах снилось лицо другого, рыжего, дурно пахнущего парня и грубый смех бродяг, а потом она поняла, что ей предстоит еще одно испытание. Она скрыла позор, и однажды мать отнесла ее новорожденного рыженького сына из дома. За всю свою жизнь, а жизнь у нее была долгая, Элизабет не вспомнила об этом ребенке, окруженная целым выводком других, белокурых детей. И вот теперь Эвар испытывал непреодолимое желание увидеть его.

Выслеживать мать Элизабет — как резко в тот год ее состарило горе! — ночью у ворот монастыря было нетрудно, куда труднее оказалось выждать несколько минут, прежде

чем взять младенца на руки. Какой тяжелый сверток, или он забыл, как тяжелы дети? Эвар с удивлением осознал, что едва стоит на ногах, его томила странная слабость, казалось, с каждым выдохом сердце опускается куда-то вниз, и с каждым вдохом ему все труднее вернуть его на место. Серые глаза матери, рыжеватые волосы отца. Мальчик не спал, но и не плакал, а Эвар все не решался опустить его обратно, откуда взял. Ему почудилось, что за эту ночь мягкий снег заметет золотистые волосы или черный, светившийся синевой монастырь сломит хрупкую жизнь. Как же Элизабет много лет назад смогла оставить ребенка, такого маленького, на всю ночь на морозе? Ребенок! Такой, какой мог бы родиться у Лича и Анж, если бы они, конечно, успели завести ребенка. «Это ведь вовсе не мой сын, это сын Элизабет», — растерянно уговаривал себя Эвар и был совсем беспомощен перед неожиданной нежностью. Он так давно никого не любил... Ему вдруг захотелось к матери, уткнуться лицом в чье-то плечо, чтобы ласковые руки сомкнулись на висках, и выложить всю правду, все о своих бедах. Как будто он имеет, хоть раз имел право.

Он не должен испытывать тайной телесной связи с младенцем, свойственной матерям. Неужели память тела сыграла с ним злую шутку? Собственно, что он потеряет, оставшись здесь, в этом веке, в этой стране...

Не думая больше ни о чем, Эвар подхватил мальчишку и сел на коня. Ему полагалось бы перенестись в Школу и спокойно составить себе легенду, но его преследовала мысль опять бросить грудного ребенка в снег, совсем одного. Умом Эвар понимал, как абсурден его страх, не пройдет и доли секунды обычного времени, но, скороговоркой сказал он себе, можно придумать что-нибудь, пока не кончится ночь. Главное, никого не встретить. Если он проскакет лесом, к утру он успеет выдумать свою историю. Надо придумать имя себе, а главное — выбрать какое-нибудь для мальчишки.



Перебирая в памяти знания об эпохе, он, наконец, припомнил, как подвизался в роли молодого рыцаря при дворе Карла Мартела. Язык он знает. А как раз в эти годы один старый венгр, бывший богатей, упрямо ведущий родословную от самих Арпадов, послал своего сына в какие-то английские владения. Эвар подозревал, что юноше, кстати, его звали Ласло, просто хотелось попутешествовать, вот он и упросил отца. Что ж, Ласло так Ласло. Главное, что этот самый Ласло сгинул где-то в Германии, скорее всего, был убит, а внешне весьма напоминал Эвара. Не случится ничего страшного, если Эвар немного попутешествует под видом Ласло. Кажется, у старика были во Франции друзья, надо только напрячь память.

— Конечно, мой дорогой, мы были дружны с Вашим батюшкой, так что располагайтесь, как считаете нужным.

Хорошо, что в подделке печатей Эвар был одним из лучших в Школе.

— Ах, какой чудный малыш! Наверняка его мать была настоящей красавицей, сознайтесь!

— Это просто найденыш, я подобрал его, а потом не смог бросить.

— Рассказывайте сказки, дорогой друг! И не оставили в ближайшем монастыре? Но, между нами, зачем Вы таскаете его с собой? Отдайте кормилице, я могу устроить, если хотите.

— Конечно, если бы я был уверен, что вернусь в ваши места. Нет, видно, я буду нести его до самой Венгрии... Нет, нет, я справлюсь и без слуги, он был бы мне только в тягость. О, ничего удивительного...

Чтобы не вызывать подозрений, Эвар повесил на шею ребенку маленький крестик. Он понимал, как необычно выглядит его появление с младенцем на руках для обитателей замков, но такие мелочи не могут смутить настоящего путешественника во времени, разве только вопрос об име-

ни ребенка. Почему-то Эвар не хотел дать ему имя, словно, назвав, он перевел бы его в разряд обыкновенных детей из разряда детей особенных. Ему было приятно думать, что у мальчишки есть выбор из огромного количества имен. Сам он звал его мальчиком, сыном или ребенком. Посторонним Эвар торопливо говорил что-нибудь по-венгерски, каждый раз разное, и переводил разговор на другую тему, дожидаясь, пока радушные хозяева не прикажут подать обед. За обедом шел пересказ истории царствования Карла Мартела, «со слов батюшки», а также, в зависимости от вкусов собеседников, отстаивание права батюшки вести родословную от Арпадов или насмешки над этим самым правом.

Он удивленно обнаружил, что ненавидит охоту, лица охотников, но страх обидеть хозяев, считавших своим долгом развлечь гостя, вынуждал его покоряться. Тогда ребенка приходилось отдавать каким-нибудь нерасторопным нянькам. Эвар места себе не находил от беспокойства.

Постепенно он стал избегать дворянских замков, предпочитая постоянные дворы. На маленьких дворах никого не удивляло, что господин ночует в одной комнате с сыном, и Эвар уже не мог спать, не притянув малыша к груди. Он сам кормил его из рожка, не подпуская кормилицу, женщинам оставалось только дивиться, как ловко молоденький венгр может управляться с детьми. Знали бы они, что этот холеный дворянчик, о котором так приятно будет повздыхать скучными вечерами, умеет стирать и варить суп, только боится вызвать нехорошие подозрения...

Два года спустя Эвар сонно покачивался на своем коне, предавшись самым разным мыслям. Ребенок, как обычно, дремал, вцепившись в отцовскую одежду, а Эвар прикрывал его плащом и поддерживал снизу. «Точно обезьянка», — говорили ему случайные спутники. Эвар привычно не ощущал тяжести маленького тела и так же привычно вслуши-

вался в его дыхание, опасаясь, что оно потеряет свой ритм или в знакомое сопение вторгнутся звуки ночного леса.

Перед сном он шептал сыну слова старых сказок, в дороге тихонько заговаривал с ним, если малыш не спал. Маленький мальчик познавал мир на птичьих дворах, в полях, у лесных костров. Отцовская ладонь стала для него убежищем, из которого можно разглядывать незнакомцев и ступать неверной ногой на теплую сухую землю. И был день, в конце их первого лета, когда Эвар поставил его на остатки старой крепостной стены, обещая показать кружевной замок далекого города, а он нетерпеливо дернул его за рукав: «Отец!» — и обернулся, сам пораженный своим первым словом. Ничьи глаза никогда не смотрели на Эвара так, как эти. Затаив дыхание, он опустил лицо в знакомые рыжеватые волосы. Как хорошо обращение «отец», раз уж мальчик не должен знать его настоящее имя. И Эвар почувствовал всю настойчивость маленьких кулачков. Это за красные полоски на детском лбу, оставленные его щетиной. Смеясь, он дал себе слово бриться так часто и тщательно, как потребует его маленький деспот.

Сыну исполнилось два с половиной года в лето, когда крестьяне и знатные сеньоры все чаще умирали, выпив отравленной воды. Страшные слухи, достигавшие ушей Эвара, все ширились, и, наконец, настал день, в который они с сыном неожиданно обнаружили, что реки и колодцы на многие лье вокруг — запретны. Эвар клял себя. Ему давно следовало бы бежать за пределы Франции, а теперь предстоит сражаться за каждую каплю драгоценной чистой воды для сына, или его дитя умрет от жажды прямо на берегу одной из смертоносных рек. Он, профессиональный путешественник во времени, из чистого любопытства умиравший от чумы и в зубах волков, висевший, тонувший, любовавшийся атомным взрывом, приходил в содрогание от одной мысли о муках ребенка, которые, в отличие от его страданий и смертей, будут настоящими. Что вообще может ожидать его в этой проклятой стране, где за два года скончалось три короля, а вскоре, хотя этого еще никто

не знает, умрет четвертый? Мальчику будет 18 лет, когда начнется Столетняя война, 27 — в год битвы при Кресси, 29, когда чума унесет половину французов. Эвар, ругаясь, стал пробираться на север.

Мальчик уже давно был голоден, хотя и не просил есть, только крепче обнимал отца.

«Вот и расправились с пастушками, — лениво думал Эвар, — и тот щуплый паренек с мутными голубыми глазами, твой жених, Элизабет, который так любил пение в церкви и умел смеяться заразительно, словно Фернан, тот паренек лежит теперь, разрубленный мечом. Где он лежит? А рыжий верзила? Верзила, предположим, со стрелой в груди. Возможно, они лежат рядом...»

А сейчас, сынок, знаешь? Сейчас те, кто любит убивать, врываются в лепрозории. Лепрозории, сынок, это убежища для очень больных людей, таких больных, что ты бы испугался их вида. Но они совсем не страшные, что бы ни говорил нам вчера тот госпитальер, не они отравили Луару, сынок, нет, не верь людям. Хуже всего, я знаю, кто это сделал, но не могу ничего изменить, и мне нельзя говорить. Только тебе, мой маленький...»

Лошадь вдруг встала, точно застыла на месте. Ее беспокойство передалось Эвару, заставив оторвать глаза от ребенка и взглянуть вперед. В следующий момент Эвар закрыл мальчику ладонью лицо: они наткнулись на прокаженных.

Эвар разглядывал отверженных, несомненно, недавно безумная толпа зарезала их товарищей, таких же страшных, в язвах, с прогнившими костями. Кое-кто сжимал нелепые бесполезные трещотки. Они не собирались нападать, они сами ожидали нападения. От мысли, что эти люди боятся

его, Эвар почувствовал странную жалость, даже нежность. Один, еще совсем молодой, еще зрячий, издевательски протянул ему руку ладонью вверх, словно для подаяния.

— Лазарь, — прохрипел он.

Эвару вдруг стало стыдно за свое здоровье, свою молодость, за свое бессмертие. Он покрепче обнял сына, спокойно взял изуродованную руку в свою и сжал, опустив глаза. «Ошибка!» — с ужасом понял он. Сейчас надо повернуться и уйти своей дорогой. А он не сможет.

До чего все надоело... Если бы их с сыном оставили в покое. Эвар склонил голову на плечо, подальше от ребенка, чье дыхание мешало ему думать, и губы его устало дрогнули. Он выведет этих людей за пределы Франции и будет заботиться о них, пока им не удастся укрыться за чьими-нибудь милосердными стенами. Надо раздобыть закрытые повозки. Те, кто еще не обезображен, будут править ими. Надо позаботиться о еде для них и ребенка.

«Кем ты станешь, святым Эваром? Нет, для них ты святой Ласло», — он даже не улыбнулся, терзаемый страхом за сына. Если его мальчик однажды закричит от боли в суставах, никакая этика не запретит ему принести лекарство, созданное десять веков спустя.

Долгие недели они прятались в лесах, оживляясь, когда Эвар приносил им еды, выпрошенной в монастырях за бесценок.

А все же самым тягостным стал самый первый день путешествия, когда возникла необходимость сделать запас воды. Прокаженные указали ему дорогу к колодцу и потянулись следом, после встречи в лесу они так боялись предательства, что, уходя, Эвар всегда отдавал им своего ребенка, молясь, чтобы озлобленные люди не прикоснулись к нему. Эвар зачерпнул воды и замер. Никто на свете не мог сейчас подсказать, смертельна ли эта влага. Он почувствовал, как его печальные спутники сгрудились рядом. Смот-

рели они вовсе не на Эвара. Все, даже слепые, с удивительной интуицией повернули головы в сторону одного из своих. На видсовершенный старик, он протягивал вытянутыми руками пса, больного и покорного. Вот чего они ждут, а собачьи глаза сами предлагают себя. Интересно, они приручают собак в лепрозории, или же этот пес бежал вслед за заболевшим хозяином? Или долго разыскивал его, брошенный, и радостно лизал лицо при встрече? Ясно, он не проживет долго, беззубые челюсти и клочья шерсти на худых боках говорят сами за себя. Эвар чуть не захлебнулся от накатившего жара. Пес все равно умрет! Преодолев нерешительность, он зачерпнул воду в кружку и выпил, он не уступил бы этого права ни одной собаке! Вскоре он осел на землю, радуясь благополучному исходу и слушая постукивание ведер о стены колодца и шлепки об воду. Еще давно, готовя жизнь Элизабет, он изучил карту всех чистых источников на ее родине. Элизабет где-то здесь, совсем близко. Эвар прижал ладони к щекам. Ему вроде бы и не в чем каяться, но сейчас во взгляде каждого из своих спутников он видел незримый укор.

А лошадей он не уберег, лошади слегли на третий месяц пути, когда и раны от извечного кнута, Эвар избавил их от кнута, уже подсохли и затянулись. Как ни опасна была любая задержка, Эвар остановил продвижение на север в нескольких переходах от цели. Он виновато заглядывал в изможденные людские лица, творя в душе очередную тосклившую ложь. Да разве кто посмеет выказать ему хоть удивление? Если б он мог хоть самому себе объяснить, какая сила ведет его, ничего не понимающего в лошадиных хворях, греть им морды и кормить с ладони, сторожить их сон, словно эти ухищрения могут спасти хоть одну скотину, покорную и верную. Бросить их? Бросить их живыми, он не сможет убить, и все время знать, что они будут храпеть, и стоять, пока хватит сил, а перед смертью смешно задергают ножонками, пока замелькают, сменяясь, мечты: мечта о ноше, мечта о плети — чего им еще знать — и, последняя в скучных умишках, мечта о жизни с мольбой и страстью, которые Эвару уже никогда не изведать.

Нет. Еще немного усилий, только бы не заснуть, и он будет волен, он унесет своего мальчика в тихие страны, где можно пить воду, не зная страха, и не вымаливать крохи хлеба у чужих людей. Какие земли он покажет мальчику?

И вот в одну из ночей, на рассвете уже, когда он все же заснул, в лесу раздался неясный гул, упущеный чутким ухом Эвара, а потом лязганье металла и грубые крики. Отряд вооруженных крестьян, только один всадник беспечно гарцевал позади всех. Не было возможности противостоять им. Эвар еще не проснулся, еще не успел понять, что сегодняшнее утро, наконец, подводит черту под его дурацкой одиссеей, когда раздался крик: «Отец! Отец!» — и мальчик, его мальчик, упал, пораженный стрелой прямо в грудь. Эвар вскочил, растеряв остатки сна. Эвар стоял и смотрел, как несущимся торчит стрела, слишком большая для такого маленького тела. Обостренный слух сам классифицировал звуки боя: хлюпанье, если копье протыкает насквозь, и треск, это когда рубят. А в горящей повозке — это был солнечный, веселый день — мечется Мари с девочкой, дочкой юного Лазаря, и крестьяне не дают им выскочить из огня. И из всех желаний на свете у Эвара осталось только одно: чтоб Мари перестала кричать. Пусть она замолчит, и он сумеет справиться с неудержимым стремлением пойти туда, к ним, под удары. Господи, да неужели нельзя убивать как-нибудь по-другому, не так? Казалось, больные восприняли смерть как должное, они полностью принимали смерть, и только Лазарь подкрался сзади к крестьянам, окружившим повозку, и вытер руки об их шеи. И те, кто взглянул ему в лицо — а болезнь сильно продвинулась за последний месяц — услышали хриплый, лающий хохот, которым Лазарь хохотал до конца. Эвар содрогнулся. Он видел со своего места, что Лазарь коснулся крестьян той ладонью, где была здоровая кожа.

Словно вспомнив, Эвар мгновенно обнажил по локоть свои чистые, без пятнышка, руки. Надо успеть закатать рукава сыну, к счастью, его миновала проказа, его пощадят, должны пощадить. Только теперь Эвар почувствовал, ка-

кие холодные у мальчика пальцы. Да, он часто мерз по утрам, хорошо бы его согреть...

Эвар опомнился и отпустил одежду. Неужели он будет так слаб, что побоится взглянуть на правду, на вот эту черную грязную стрелу? «Эта стрела должна была убить меня», — прошептал он, пораженный. Да, испугавшись, сын привычно вцепился в отцовскую одежду и заслонил его собой. Что мог ребенок почувствовать? Эвар искал на его лице пометы страха или удивления, но видел только размытый грязный след на щеке. Всего в два года его сыну удалось то, что никогда не удастся Эвару: пожертвовать собой, чтобы спасти другого... и разгадать тайну смерти. Несомненно, мальчик уже знает смерть, хотя это никак не отразилось, никогда не отразится на его некрасивом лице. Впервые Эвар понял, что выбрал своему мальчику имя. Себастьян.

Как во сне Эвар смотрел на жалкий букетик фиалок, за jakiатый в холодной руке. Могут ли растения спокойно выносить медленно рвущуюся плоть? Сынок, ты собирал цветы, ты рвал их. Больно было цветам. А теперь больно тебе.

Безумные слова, казалось, роились помимо него, помимо всего мира. Эвар не нашел в себе сил шевельнуться, словно сердце, так долго стучавшее в унисон с детским дыханием, вновь стало проваливаться вниз, как при их первой встрече. Как он улыбался после сна! Теплый, доверчивый мальчик, который никогда не болел и не капризничал. Еле оторвав взгляд, Эвар заметил, что к нему танцующей, как у паяца, походкой приближается человек в доспехах, хотя без шлема. Рыцарь оброс бородой, но его волосы Эвар мог бы узнать в любых обстоятельствах, да и черты лица были более чем знакомы.

— Фернан! — прохрапел Эвар, уверенный, что не ошибся. — Спаси его! Ты ведь можешь, спаси моего мальчика!

Старый пес зашелся в хрите над телом Жана-Луи, своего господина.

Не повредив травы, они опустились прямо на поле, охраняя ребенка, и мирно беседовали, впрочем, для Фернана все в порядке вещей. Эвар неприязненно разглядывал его гладкую кожу, безукоризненные зубы. Видать, любит этот облик, если появляется в нем где попало. Эвар представил, как Фернан подыскивает себе внешность, проверяет, нет ли здесь накладок с предопределенностью, из чистого любопытства переживает в полном сознании роды...

— Спаси его, — повторил он еще раз.

— На какой срок, Эвар?

— Что?

— На сколько лет? Он ведь все равно умрет рано или поздно. Сейчас он прожил два счастливых года и погиб внезапно, не мучаясь. Лет через 20–30 вы оба труднее вынесете... расставание. Кем он вырастет, если ты не отпускал его от себя ни на шаг? Видишь, я даже не говорю, что все предопределено. Эвар, я ведь наблюдал за тобой последний месяц.

— И не смог предотвратить вот это?

— А для чего? Да сиди, что ты вскочил, ты ведь не обнаружишь оружия против бедных, невежественных вилланов.

Как точно. Эвар постарался пересилить себя. Он, словно в неге, откинулся назад голову и протянул почти ласково:

— Бедные вилланы, которые убивают слепых. Фернан, это ты навел крестьян?

— Еще чего, радость моя, вас выселили пастухи, увы, дружок, в последние дни ты потерял бдительность, а я, я просто завернулся к ним по пути. Тебя-то я заметил случайно, как-то в монастыре, и с тех пор тайком приглядывал за твоими туристами. Эвар, что ты с собой делаешь?

— Я хотел спасти их.

— Чтобы обречь на медленную смерть от проказы? Не лучше ли им умереть сейчас?

— Только мы не обречены.

— Ты вроде не глупец, а творишь глупости. На что тебе мальчик? Ты никогда не сможешь быть с ним откровенным до конца.

— А если отправить его в Школу?

— А если у него нет нужных способностей? Да у тебя может быть другой сын.

— Мне не нужен другой, я любил этого. Он мой сын, мой мальчик, я нянчил его, неужели тебе так трудно понять?

— Осмеливаешься любить, так мирись с потерями.

— Сам ты, конечно, не осмеливаешься.

— Ну почему, случалось полюбить пару раз кого-нибудь из людей по-настоящему. И хоронить. Да ты ведь сам знаешь, какие мы. Вот в припадках у нас что-то оттаивает, и мы влюбляемся во все человечество.

— И жалеем их до смерти.

— Да, ведь они стареют и умирают, хотя сами об этом не слишком думают. И на самом деле нам все равно, на кого из них обратить свою всесильность. Эвар, послушай дружеский совет. Ты знаешь, что у тебя сейчас припадок? Да-да, ты переживаешь приступ. Это доброта, такое бывает, это болезнь, с которой можно и нужно бороться. Это даже нормально, словно нам отпущено какое-то твердое количество добра и мы усиленно расходуем его, чтобы потом целые годы жить спокойно. Эвар, если бы я мог тебе объяснить, что такое смерть человека, не открывая свойств времени! Ты бы не поверил. Жалеть тут не о чем.

— Тогда я хочу умереть. Отключи от меня оживление.

— Нет.

— Скажешь, предопределено?

— Какая разница. Ты не можешь умереть, но ты можешь замкнуть жизнь, — Фернан почти улыбнулся, только улыбка не вышла.

На груди мальчика, не там, где стрела, а ниже, сидела оса. Эвар взял ее в ладонь, очень осторожно. Насекомые всегда чувствуют смерть тоньше, чем люди, а закрытая ладонь может стать ненавистной тюрьмой, тогда они жалят, а мы им мстим. Эвар с силой отбросил осу подальше. Жужжащий комочек обрадованно улетел прочь. Вот и все, и никакой благодарности. Какой настойчивый у Фернана взгляд.

— Нет, Эвар, нет.

— Я не смогу без него жить.

— Сможешь.

Бесполезно. Им с Себастьяном еще надо решить кое-какие общие дела, вдвоем. Не без внутреннего колебания Эвар закрыл сыну глаза. Положил его, еще теплого, на колени. Потом взял на руки, как когда-то давно, резко встал и пошел прочь. Никто не остановил его.

Он решил сам раскрыть тайну Машины Времени. Неделю за неделей он отправлял себя в самые дальние, самые рискованные путешествия и, вопреки всем правилам, вглядывался широко открытыми глазами в обступающее ничто. Он не умел рыдать от бессилия, но после очередной попытки признался себе, что слишком глуп, открытия ему не совершить, значит, остается только ждать.

И все-таки он смог бы пережить, жил же он после этого целых три года, если бы ему не захотелось отправиться в Вест-Индии с новоявленными конкистадорами и переселенцами. Он искал общества самых грубых, самых жестоких. Корабль уже вышел в море, когда среди солдат Эвар разглядел Фернана. Не сговариваясь, оба сделали вид, что незнакомы. Через неделю после начала плавания они попали в бурю.

...Эвар в растерянности цеплялся за палубу, сожалея, что еще не успел побывать моряком. Его не удивляли обезумевшие пассажиры, но команда, команда, которая вступила в схватку у шлюпок. Эвар следил за матросами и думал, что корабль-то еще можно спасти. Холодные волны стали все чаще накрывать его с головой. Шепча о чем-то, Эвар терял сознание, когда чьи-то немилосердные руки швырнули его к мачтам, подальше от края корабля.

Фернан, тот Фернан, который обрек на смерть его ребенка и два десятка прокаженных, да еще смеялся над всем, этот самый Фернан метался по палубе, на лице его застыл

звериный оскал, но в его действиях не было ни страха, ни бессмыслицы. Он спасал упавшего в воду мальчишку, он спасал больного от лихорадки, безвольно скользившего вниз матроса, он вытаскивал кого-то из-под обрушенной мачты, он закрывал своим телом... Фернан делал больше, гораздо больше, чем в человеческих силах, но, казалось, совсем не уставал. Неужели и сейчас он подло пользуется властью над временем? Где-то Эвар уже видел эти быстрые хлесткие движения, эту сильную фигурку. Неужели в горящей, истлевающей Хиросиме?

А позже Эвар заметил, как Фернан отдает команды, быстрые и четкие, и — удивительно! — люди послушны ему, его спокойному мужеству, его веселости, и вот уже матросы воспрянули духом, и все увидели, что буря-то кончилась...

Эвар искал его среди раненых и пьяных, у матросов на палубе и у капитана, пока не наткнулся на него в трюме среди винных бочонков и каких-то пыльных мешков. Фернан закусывал солониной, кружка с вином стояла тут же, у его ног, иногда он придерживал ее свободной рукой. Заметив Эвара, он жестом велел ему сесть рядом и рванул мясо так, что голова дернулась в обратную сторону. Что же ему сказать?

— Ты спас корабль, Фернан. Если бы не ты, я просто не знаю.

Фернан вдруг расхохотался. Он делал это очень странно, заложив руки за голову и словно потягиваясь. Наконец он выдавил, захлебываясь от смеха:

— Я только в конце вспомнил, как вяжутся название корабля с датой отплытия! Через два дня они попадут в руки пиратов и пойдут с молотка, проклиная человека, не позволившего им погибнуть в бурю! Никогда не следует душить в себе добрые порывы! Ну что, удерем сейчас или подождем?

Эвар понял, что этого он не вынесет. Стать Фернаном, мотыльком Фернаном, с его безупречной внешностью и безупречным — в любой культуре — образованием, со всеми способностями, какие только может иметь человек, развитыми до степени превосходной. Его часы давно стоят!



Фернан вдруг перестал смеяться и схватил Эвара за плечи.

— Эвар, ты очень добрый, Эвар, — произнес он неожиданно тихо. Несомненно, он упивался своим горьким настроением.

— Ты как-то не предостерегал нас от этого на мировоззрении.

— Я хотел уберечь вас от бед, которые навалятся сразу... А ты только что нарушил этику.

— Да, я знаю. Кажется, нам больше нечего сказать друг другу, верно?

Эвар вдруг подумал о режиме воспоминаний. «Увлекающиеся воспоминаниями обычно замыкают жизнь.» Впервые идея замкнуть жизнь не внушила ему ужаса.

Сколько он предается иллюзиям? Минуты — по внешним часам, и годы психического времени. Вновь и вновь он включал режим воспоминаний, чтобы пережить путешествие с Себастьяном на руках — было ли хоть оно счастьем? — и испытать горечь потери. Все это не приблизит его личный возраст к долгожданной отметке.

Сколько он может продолжать? Эвар перебирал в памяти свою жизнь. Детство, самое первое. Боль, вызванная тоской по прошлому. Это он перетерпел, всего 7 лет, с десяти до семнадцати. Анж, его несбывшаяся мечта, впрочем, она не смогла бы заставить его забыть о прошлом, но она и не хотела... Школа. Странствия. Теперь Эвар держал в руках коллекцию своих фотографий. Немного их, не больше десятка. Был ли кто-нибудь из этих людей счастлив? Эрнест был чаще всего доволен жизнью, и Хэйе, и Элизабет... Последние горькие годы. Хорошо, пусть будет двадцать лет боли. И 900 — покоя. Такую жизнь можно прокручивать снова и снова.

Эвар стал вспоминать свою службу в СС, он вспомнил скитания навахов и рабство в Китае. Сколько раз он лгал?

И та семья, которую он разорил, у них было пять человек детей, старший, самый талантливый. Он разрушил емужизнь. Он вспоминал тех, кого убил сам, и тех, кого убивали по его приказу. Его память услужливо сохранила лица. Можно потерять все моральные принципы, можно хладнокровно убивать, потому что так предопределено, но однажды доброта настигнет тебя...

Хорошо, что он был аккуратен и заканчивал жизнь, прежде чем начать следующую. Он должен точно выяснить, какая из их встреч с Личем будет последней по личному времени Лича.

Интерлюдия

В тот памятный день святой отец Франциск сказал слугам, что должен помолиться в одиночестве, и остался в своем пустом огромном соборе. Ему хотелось побывать наедине с собой.

— Лич!

Святой отец вздрогнул от ужаса. От входа к нему приближался странник в плаще с капюшоном.

— Эвар, я не Лич, Франциск.

— Для меня ты всегда был Лич. И побудешь еще немного.

Гулкий зал.

— Святой отец! — их голоса отражались от сводов, делясь громче и значительней. — Я хочу исповедоваться.

Франциск недоуменно взглянул в сторону исповедальни.

— Брось это, Лич. Поговорим здесь, — Эвар откинулся капюшон. — Я пришел проститься.

— Это конец, Лич. Мой конец. Я не смог бы стать даже женщиной, хотя женщине легче любить. Ты когда-нибудь был женщиной?

— Нет, — твердо солгал Франциск.

— Зря. И никогда не открывал глаза во время... путешествия?

— Нет.

— А я пробовал, столько раз пробовал.

— И что же?

— Пустота, только черная пустота.

Они помолчали.

— Я все сделал так, что это наша последняя встреча. Может, ты и увиدين меня, но я тебя не увижу или не буду знать, что ты — это ты. Так что прощай, — Эвар обнял его. Воспоминания Анж не тревожили Франциска, он словно окаменел.

— Прощай, Лич, — повторил Эвар. — Посмотришь, как замыкают жизнь. Я отойду, ты не приближайся ко мне.

Эвар достал пульт управления, которому суждено сейчас взорваться вместе с телом.

«Никогда, никогда», — повторял Франциск. Он давно не верил этому слову. И вдруг он понял, что на сей раз никогда — это и впрямь никогда, он уже не увидит Эвара, ведь он не собирается менять облик, разве только в режиме воспоминаний, но увлекающиеся им замыкают жизнь. Ему показалось, что на одно мгновение, всего на одно мгновение святой отец Франциск стал прежним Личем.

— Не делай этого!

Эвар! Эвар!

Эдвард!

Казалось, от силы его крика должны рухнуть стены старого собора.

— Эвар! — крикнул он второй раз и понял, что опоздал. Эвара не стало, а Франциск несколько недель не мог сказать ни слова: он сорвал голос.

ЧАСТЬ 4

СЧАСТЛИВЧИК



Часть 4 СЧАСТЛИВЧИК

Святой отец Франциск разжал стиснутые пальцы и с удивлением увидел, что уже давно наступил день. Поразительно, сколько он успел вспомнить. А ведь Эвара не стало 30 лет назад. Тридцать лет, из них в Испании — года два, не более, после Эвара он долго не выносил Испании, остальное пошло бог знает на что.

Святой отец Франциск устроился поудобнее и стал вспоминать дни, когда все шло не так уж плохо. Он вспомнил день из своего нового детства, когда они всей деревней гнали ведьму, пока она не повернула к ним мокре грязное лицо. В тот день он, задыхаясь от запаха пота и сжимая грубою острую лопату, стал частью тяжелой злобной толпы, утратил свою волю, свою память, словно он такой же, как все, один из многих... Какая гадость. А его первая проповедь? А пирушки после бессонных ночей? Столичный инквизитор не позволил бы себе такого с подчиненными, но Франциск позволял.

Потом была болезнь. Однажды он проснулся среди ночи и вдруг подумал, что эта ночь никогда уже не повторится, и он затосковал по ней, словно ночь была живым существом, уходящим на его глазах в могилу. «Никогда один и тот же человек не входил дважды в одну и ту же реку.» Неожиданно мысль вызвала у него сильную, черную какую-то боль. Подобные приступы повторялись все чаще. Он вдруг исходил жалостью к кривому стулу или разбитой чашке, они казались стариками, отжившими свой век, и от горечи слезы сами наворачивались на глаза. Он шептал сломанному перу такие слова, которые никогда не говорил даже Анж. Припадки, как он их называл, проходили так же внезапно, как появлялись, только тянулись все дольше...

А потом настал день, когда пришло безумие и терзало его целый месяц. Ему вдруг стало жаль Анж, и Лича, и его учебу в Школе, которая никогда не повторится, и его детства, единственного настоящего детства за всю жизнь,

и своих несчастий, которые тоже не возвратятся. Он жалел героев книг и фильмов, они уходили в небытие со словом «конец», но он-то знал, что вслед надо написать всего два слова: старость и смерть, — и в их судьбе Франциск ничего не мог изменить. Болезнь содрала с него всю защиту, старательно выстроенную, чей-то вымысел сделала реальнее целого света и навсегда закрыла страницы хроник, эпопей, сериалов. Слишком много времени они охватывали. Франциск оплакивал умерших царей, и героев, и неизвестных, пропавших во мгле веков, маленьких людей, о которых никто не вспомнит. Кто вспомнит Франциска? «Лучше иметь и потерять, чем не иметь вообще!» Где он слышал эти слова? Он начал тихонько резать себе руки, скрывая раны под рясой, пока нож не перестал ему помогать, тогда он, чувствуя в себе черную боль, пытался сломать кость, чтобы физические страдания заглушили душевые. Он стал бояться одиночества и все чаще приводил к себе женщин, но женщины не могли его спасти. Он работал ночами, чтобы в бесчувствии свалиться в беспробудный сон. Ему ни разу не было так плохо, разве только... Да, именно тогда, в Школе, когда он испытал психическую болезнь. Воспоминание вдруг нахлынуло на него во время очередного ночного бдения. Так неужели он болен? «Я тоскую из-за невозможности попасть в прошлое, как слепорожденный тоскует о невозможности видеть.» Это называли ностальгией. Неужели он испытал ту самую ностальгию, о которой обмолвился как-то в далеком детстве Эвар? А потом — Фернан. А если бы это случилось с ним в десять лет? Эвар ждал долгие годы, чтобы поступить в Школу. «А ты приполз бы, на коленях бы к ним приполз», — думал Франциск, когда метался без сна в своей постели. Вот, значит, как приходят в Школу настоящие путешественники во времени, вот почему они учатся так судорожно. Теперь Франциск внимательно вспоминал советы Фернана. Он не должен сожалеть о прошлом человечества, так как может там побывать. Для него нет прошлого и будущего, все моменты времени равны. Он не может сожалеть о своем прошлом, ведь у него есть воспо-

минания. Правда, увлекающийся воспоминаниями обычно замыкает жизнь...

Такие уговоры сбивали боль. Франциск выжидал. Через несколько лет приступы стали слабее и чаще, скрывать свою грусть уже ничего не стоило. А потом все превратилось в некое общее сочувствие к людям, и святой отец Франциск пла-кало них, обычновенных, смертных и таких смелых, продолжающих жить. Если бы он мог взять на себя все их печали. Себя он больше не жалел. Сил не было.

Потом его стали мучить страхи, когда он вдруг подумал, что может по очереди принять облик всех своих знакомых, и они, вполне возможно, один и тот же человек. Он был Анж, почему ему не стать Эваром? А мать, его мать? Обыкновенная ли она? А Фернан? Мог ли Франциск стать Фернаном? Разве в тот вечер в баре он видел все фотографии в медальоне Фернана? Мог ли он воплотиться по очереди во всех живущих на Земле? Теперь святой отец все чаще вскакивал от резкого страха и шел по своим покоям со сжавшимся сердцем. А если и Лич — не Лич на самом деле? Чего стоило кому-нибудь, перевалившему за заветную тысячу лет, вселиться в него, отключив память, но сохранив свое «я», побыть немного обычновенным?.. Действительно ли Эвар замкнул свою жизнь? Он бы не обманул Лича, но это могло быть предопределено. А если так: нажать на замыкание, очнуться и уз-нать, что ты — перевоплощение кого-нибудь из Школы и твой поступок недействителен?

Франциск поднимался ночами и бродил по ненавистным своим хоромам, думая о людях, о собаках, о травинках в поле... Он мог быть каждой из них, всеми ими. Он устроился в более поздних веках, где было электричество, и включал ночью лампу, а потом темнота еще долго казалась не черной, а серой. Есть ли на свете хоть одна книга, хоть одно открытие, или все они созданы никем, результат предопределенности? Кем создана жизнь? Вселенная? Почему он до сих пор не наблюдал ее рождение, восполь-зовавшись Особым Нормальным?

Как жестоко мстит нам жизнь...

Как жестоко мстит нам жизнь...

«Великий инквизитор, а проще — пес господень», — презрительно подумал он о себе. Великий инквизитор провинциального городка, пытошник и убийца. Франциск вдруг усмехнулся, подумав, что сегодня он никого не убьет. Невиновен! И пытал он самого себя, так что и здесь — невиновен.

Святой отец Франциск вдруг ощутил в своей груди необычайную пустоту. Ничто не имело значения. Пустой и бесмысленный мир, полный бессмысленных жизней. Можно ли в нем быть счастливым? Можно, если принять эту бесмысленность и не жить, а играть в жизнь, как играет Фернан. Неожиданно святой отец подумал, что именно ради нее, этой жуткой пугающей пустоты стоило жить. Счастье духовной смерти! Вот что должно было случиться с ним в конце I курса! Вот что случалось с каждым из настоящих! Он сможет жить. Анж смогла бы... Да и сколько можно терзать себя этой дурацкой историей? У него есть воспоминание о пылкой юношеской любви Лича, у него есть воспоминание о чистой жертвенной любви Анж. Многие ли могут похвастаться этим? А ведь Лич никогда не любил Анж, он выдумал эту любовь, просто потому что Анж выросла рядом, только из-за этого. Лич, Лич, почему ты не понял этого сразу? Почему ты похоронил себя в серой рясе? Что тебе средневековая Европа? Эвара тянуло к ней, не тебя, тебе было все равно, а ведь перед тобой огромная жизнь, и кто помешает тебе превратиться в Эвара или в Фатыха? Нежужели слова «Ты — наша случайность» смутят тебя?

Он вспомнил речь Фернана, его последнюю речь в Школе:

— Живите, вам предстоит долгая жизнь! Живите, знайте, вы можете быть счастливы. Будьте! Играйте! Ведь вам все равно, где быть и как, так устраивайтесь поудобнее!

Ввязывайтесь в сногшибательные авантюры!

Создайте себе сказочную атмосферу, ведь вы попадете в сказку, старинную волшебную сказку!

Создайте себе романтическую атмосферу, мир горьких предчувствий, мир страха! Блаженство веселитесь накануне войны и чумы, о которых еще никто — только вы — не знает!

Творите и не бойтесь тисков предопределенности! Творите, зная судьбу своего произведения! Творите, зная, что оно затеряется в веках!

Станьте фанатиками, загоните мысль о бесцельности жизни глубоко внутрь!

Живите симпатиями к людям, в мире так много симпатичных людей и маленьких подарков!

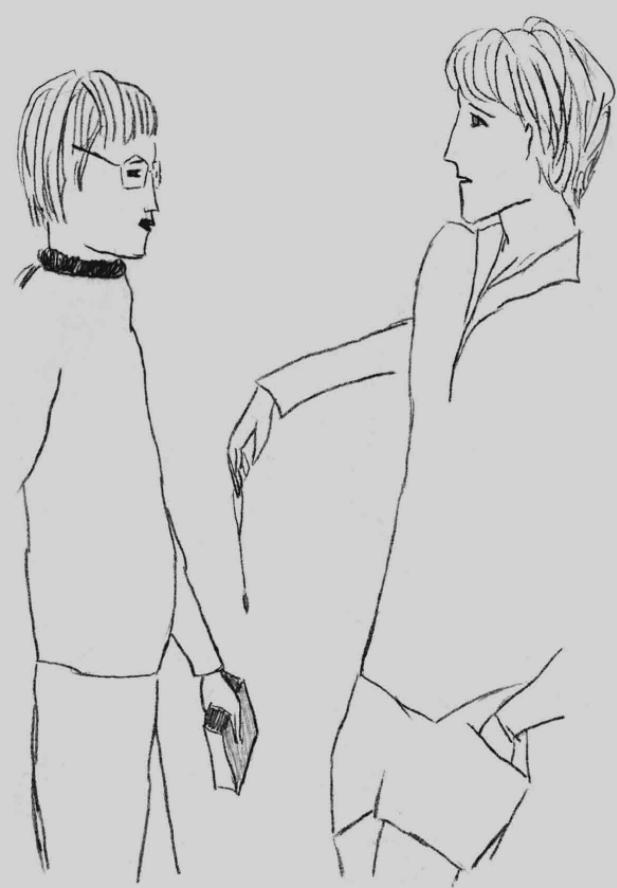
Наслаждайтесь собой, отделяйте себя, как мастер — свое любимое творение! Повторяйте: «Я — совершенство!». Ищите в себе все новые таланты!

Любите физическую силу, вы можете расхотеть жить, но вам не расхочется есть, или бредить в сладкой истоме!

И помните, что у вас есть Школа, у вас есть я, и Фатых, все ваши преподаватели, все ваши друзья...

Голос Фернана звучал у него в ушах. «Так пусть же наша Школа...» Это уже Фатых...

Он только сейчас понял, как выкладывался Фернан на каждом своем уроке, а он действительно выкладывался. Фернан, единственный, бесстрашно решил лично провести мировоззрение на всех первых курсах Школы. А это сотни лет... Неужели предопределено? Взять на себя роль самого старшего, самого умного. Какие тайны похоронил Фернан глубоко в душе? Франциск захотел проучиться в Школе еще раз под чьим-нибудь именем. Пожаловаться приятелю на очередной припадок ностальгии и выслушать слова сочувствия. Или побывать там барменом, продавцом в магазине, портье. Сколькие из нас так поступают? Какая долгая жизнь впереди. С ним может случиться то, что случилось с Эваром. Эвар не стал Фернаном. Кто из них выиграл, кто проиграл? Но Эвару вся мудрость, которую Лич, а позже Франциск добыли так тяжело, досталась слишком быстро, в ранней юности. А еще Эвар не смог отречься от дружбы с ним, Личем. Неужели это сгубило его? С Фран-



циском все будет по-другому. Недаром мать назвала его Феличе, что значит «счастливчик». Возможно, когда-нибудь его будут звать Фернан... Ему захотелось принять облик Лича и вернуться домой, как все они делают, сказав, что его выгнали из Школы. Его видели на похоронах Анж? Отлично! Франциск перестал ненавидеть Лича. Лича не любила Анж, но это не значит, что его никто не любил. Он может вновь стать Анж. А ведь Анж могла бы любить Эвара, она должна была открыться Эвару, Эвар-то — путешественник во времени, он бы все понял. И Анж еще может завоевать его любовь.

Да, не забыть бы прогуляться в июнь V года Школы, он должен испортить Личу краску для волос. Сколько всего он проделает после тысячи лет, он сможет отключить параллельный мозг и побывать одним из обычных! Через 900 лет, не зря установлен такой срок, даже он, худший из всех, случайность, станет к этому сроку путешественником во времени, и пусть в запредельном пространстве накапливаются железные коробки его мозгов!

Сколько нас кончало Школу? Не больше сотни... А сколько среди этих ста одних и тех же людей? Сколько из нас завладели Машиной Времени, только чтобы сразу же замкнуть жизнь? Сколько сразу же шагнули в будущее, в то будущее, в которое однажды уйдем один за другим мы все? Сколько жизней мы сможем прожить даже за миллион лет? Сто тысяч? Двести? Миллион жизней, миллион обликов на всех. А потом люди станут совсем другими, сейчас Франциск понял это, хотя и боялся бывать в будущем, и время для них станет совсем не то, что для нас, и они не захотят путешествий в наш мир, они станут жить по-своему, по-другому.

Миллион нас разбросан по всей истории человечества, остальные люди — обычные.

«Благослови же нас, Боже! — привычно подумал святой отец Франциск, — ибо мы уже не люди, но еще не те, другие... Как нас мало на этой тонкой грани... Вот мы и улыбаемся, вот и построили себе счастливую страну, назвав ее

Школой...» И во всем этом не было никакого смысла. Ему не о чем грустить.

Он подошел к окну. Какого красивого цвета небо проглядывает так пронзительно в оконца жемчужно-серых, словно в небе кто-то разлил акварель, туч! И только одно, только одно оконце из всех ослепительно желтое, цвета солнца, желтое на сером. Желтый свет падал на нижний слой облаков, придавая им мириады осязаемых форм. Если к вечеру прояснится, то хищно изогнутся листья деревьев, темно-синие на глубоко голубом, похожие на рисунок тушью. Разве может надоест даже за миллионы лет это вечно меняющее облик небо с тонко подсвеченными облаками? Где-то едва запахло апельсинами. И Франциск, и Лич с детства любили апельсины. И Анж любила.

Святой отец взял бокал, тяжелый, богато украшенный бокал, ласкавший своим прикосновением пальцы, какой мастер делал его? Распахнул окно. Он смотрел, как медленно, капля за каплей, вспыхивало и искрилось на солнце, уходило от него отравленное вино. Его ждет обед, искусный обед, там мясо обожжет глубину его рта пикантностью приправ, заставляя дрожать язык. Там хлеб распадется тугими крошками и обласкает древним простым духом. И эта милая соломенная вдовушка, совсем девочка, но горячая и нежная, она будет ждать его. Он увидит аутодафе, свою собственную казнь, что может развлечь его забавнее? Что разглядел тогда Лич в глазах святого отца? В глазах своего палача?

Святой отец Франциск выпрямился. Лич не был внимателен, он не увидел там торжества, граничащего с безумием.

Он поставил бокал и сжал рукой распятие. Он стал настоящим. Наконец-то он стал настоящим.

Конец

1993–1995.



Замок Бессмертия.

Сказка

Синий вечер

Город вертикальных радуг к вечеру затих и стал городом осыпающихся огней, время от времени вздрагивая их цветом. Это случилось так, как случалось каждый божий вечер: небесный художник, ученик в звёздной мастерской, медленно опустил кисть, чтобы обмакнуть её в новую краску. Его последний мазок получился рваным и перламутровым, с тонким розовым краем. Он был бы груб, если бы дальше на небе, в стороне солнца, не было ничего примитивного. Художник поднял кисть — и неожиданно радостный лимонный луч — а последний свет неба зимой так мягок — пробежал по городу, золотя снежные сугробы и снежные крыши домов. И кто-то, влюбленный в лазурь, коснулся своей рукой руки художника. И вдруг — ах, задержать бы хоть раз это мгновение — воздух поголубел, и в новом воздухе картины города обрели особую чёткость, стали чище и значительнее, словно возросло мастерство ученика. И вот дома на востоке зарумянились ненадолго, зарделись, а дома на западе первыми обрели тоненькую размытую каемку, сперва голубую, потом — все больше сиреневую, а краски ложились все гуще, пока сиреневый цвет не превратился в лиловый, а затем не исчез совсем. Небесный художник так старался, и вот снег заалел на ветвях на еще лазоревом небе, и блестки его, видимые в самый тихий и ясный день, засеребрились по улицам города, создавая зrimый ветер. И другие ученики склонились над городом, мешая друг другу. И плотные белые нити оседали теперь с небес. Иные, невидимые нити летели прямо в лицо, пронизывая город, и зажигали золотые огни, оживляли черно-сизые картинки в домах, принося и холод, и тепло, и вести из неведомых мест. И белый дым в небе застыл от холода, и кто-то ласковый, с грустной усмешкой в глазах,

тонкой палочкой бамбука обрисовал голые ветви деревьев и маленькие чёрные точки, предназначенные отобразить живых. И несколько взмахов белого карандаша создали среди грязи и убожества белые полосы инея и белые трубы домов, меловые стволы деревьев и мраморные столбы фонарей, вставшие в городе вертикальным строем колонн. А потом небесный художник, старательный и своевольный, стал закрашивать небо в багряные и зеленые тона, следя, чтобы нежная каёмка у зданий исчезла и их контуры обрели прежнюю четкость. И тогда дома из серых камней показались в сумерках прозрачными.

Сгущалась темнота, и огни большого города становились все огромнее, а окна в домах сделались зеркалами. Пастельные тона незаметно исчезли, и невесомая плотная туча закрыла полнеба, свинцовая, а после — чернильная, и казалось, что в этой стороне города уже наступила ночь. Художник рисовал небо, и в новых слоях краски снег уже подчинялся огням и покорно принимал их цвет. А огни были такие разные: желтые, солнечные, весело звали к себе. Розовые и винные, нежные, маленькие тёплые пятнышки, они согревали. И были дома с фосфорическими, полынными огнями, торчавшие, точно гнилые зубы, на ватсилковом, ультрамариновом небе. Они холодили и тянули к себе, обещая сказку, смерть и приключения. Но над всеми ими властвовал фарфоровый цвет индиго, точно несколько лавандовых капель было подмешано в каждый тон на палитре художника, точно каждый мазок и штрих приносил с собой то льняной, то гранатовый оттенок синего на небеса. И другой художник поднял кисть, и бледные молочные капли очертили контуры городских улиц, и заструились по ним суматошные рыжие огоньки, умеющие ослеплять и сбивать с ног. И не ведал самозабвенный художник, что его кисть поддерживает суть этого неба — движение, и так будет всегда, пока ученик не станет мастером и на его место не встанут другие ученики. Художник не ведал, что сто лет назад огни, скрытые теперь многими слоями краски, были добре, не так пронзительны. А когда-то, в те

дни, когда под краской ещё проступали грубые узелки холста, не было никаких огней.

Между тем город стал драгоценен. Издалека, совсем издалека, он был покрыт тонкой пленкой света и надежно укутан тьмой, но те, кто стоял ближе, видели неподвижные светлые столбы, восходившие от фонарей и таявшие высоко в темноте. И чья-то робкая рука разбрзгала над городом серебро, и кто-то ахнул растерянно: «Стожары! Это нельзя». Город не признавал звезд на своем небе, хотя там осторожно дрожала планета. И размазалась серебристая пыль, стала туманом, и теперь только огни, бриллиантовые огни окраин, определяли границу неба и земли. Расплавленные реки огней обтекали черные светящиеся дома, и художнику показалось, что тепло этих огней коснулось его лица. Художник прикрыл глаза и шагнул назад. Совсем чуть-чуть. Он и не заметил, как это у него вышло, и не подумал, сколько раз пришлось отступать поколениям мастеров, пока холст все тяжелел и разрастался, отступать немного. Совсем чуть-чуть.

В мертвенно свете снега деревья, тонкие и чёткие, похожие на ноги мертвого затаившегося паука, пугали своей неподвижностью. Деревья потеряли серебряную пушистость, и уловатая, соломенного цвета тросточка быстрыми штрихами опять оживила их и нанесла контуры черных людей. И тотчас хохот, и крики, и радостная музыка наполнили городскую пустоту, и иней стал благодарно вспыхивать, потому что желтые фонари и разноцветные лампочки, ракеты и светящиеся игрушки разрезали темноту. И небесный художник, забывшись, подался вперед, все ещё сжимая кисть, а снег дарил городу фейерверки ледяных ароматов. А люди, привыкшие делить время на крохотные секунды и огромные тысячелетия, праздновали приближение нового года. И не было среди них такого, кто бы на вопрос: «Какая самая прекрасная ночь в городе?» — не ответил бы: «Новогодняя». И не было среди них такого, кто не согласился бы, что этот Новый год — самый праздничный из всех, что ему довелось увидеть за свою жизнь. Не

просто старый год провожало человечество, человечество прощалось со старым веком. И вот в этом городе, между двумя взрывами ракет, когда веселье на момент заглохло, чтобы перевести дух, из глубины подворотни высунулась осторожная тень.

Тень вдруг вытянулась, впечаталась в уличный снег, врезалась в стены — до неба, а потом нехотя свернулась обратно, оставляя за собой полоску более яркую и чистую, которую, впрочем, тут же затянула прежняя грязь.

...Человек собрал все силы, какие только имел, чтобы, закрыв глаза, нарисовать себе свое солнце, чуть-чуть другое, не такое, как здесь...

И сладостный, чудесный запах гнили и человеческого разложения пополз вверх, почти видимый, как клубящийся пар, а в глубине подворотни началось какое-то шевеление и шуршание, точно чернота там сражалась с ещё большей чернотой, стремясь вырваться, затопить белый снег и поглотить узкую тонкую башню, её стеклянную макушку, посылающую на город мертвый искусственный свет.

... и лестницей друг над другом — арки скользких сверкающих мостов, и сладкие реки, где сплошной ароматный туман струится по руслам...

И виделись в чернильной темноте клубки траурных змей, и крыса с непослушной шёрсткой всё пыталась встать и всё скользила когтишками по липкой стене, и амёба, стесненная кирпичами и аркой над подворотней, пробовала щупальца в надежде обнять и прижать к себе кого-нибудь из легкомысленных парочек, что, смеясь, рассекали ночь.

... и смешные поющие колокольчики, и прозрачные двери в стране, где не прощают ошибок...

И никто из жителей города не знал, что только один из них, черных людей, только один случайный поздний прохожий праздновал эту ночь по-своему: сегодня, не смея выйти из темноты, скрывающей руки, одежду и лицо, он не

чувствовал холода. Пока безжизненная ледяная ладошка не скользнет по его спине и не толкнет вперед. Волнуясь и задыхаясь, он ждал её сухого прикосновения.

И вот точно известью плеснули в широкие, нарочно распахнутые глаза: много-много белых точек враз появилось под опухшими темными веками, и белые струйки потекли потихоньку, сливаясь.

... И в далекой, уже давно недоступной стране он увидел кладбище, полное цветов и мертвцев, родные лица, сперва пропавшие сквозь винные лепестки роз, и груды новых тел и цветков, погребенные в той же яме, у тех же холмов...

И он, любивший все страшное, вдруг представил себе, как мутные зеленоватые пленочки пузырятся на его глазах, сгибаются в складки и все растут, и вот им уже не хватает места под веками, и они вырываются вниз, обволакивают его, точно саван, раззываются и хлопают на ветру. Фантастические одежды...

... А плащи могли становиться тяжелыми и тянуть к земле, и настойчиво мерцать, переливаться электрическим светом...

Усилием воли человек прогнал любезную его сердцу галлюцинацию и обнаружил, что улица наконец пуста. И тогда он сорвался, вылетел из подворотни, приплсывая и прыгая на ходу, и в свете фонаря впервые сделалось заметно, насколько он стар. И видно было, как тяжело трудятся распухшие вены за потухшей кожей лица. И казалось, что этот человек мёртв, умер уже давно, и внутри его тела суетятся могильные черви, это они проталкиваются с невиданной скоростью там, где раньше текла кровь. И казалось ещё, что они задевают какие-то чувствительные струны, ещё скрепляющие разлагающиеся куски, потому этот старик и скачет, и дергается, как марионетка, и вертится в залихватском безудержном вальсе прямо посреди белой пустыни улиц, и может выкинуть что угодно, любой трюк хотя бы прямо сейчас. Но если бы кому-то из посторонних хватило смелости приблизиться к пляшущему старику или

остроты зрения, чтобы разглядеть каждую нитку его одежды и дрожащие уголки губ, то, заглянув в распахнутые глазищи, можно было бы убедиться, что в них нет ни искры радости. Ни следа.

Семидесятилетний никогда не мог понять, почему именно в свою последнюю ночь он должен так быстро, так отвратительно стареть. Он знал, что скоро ослепнет, стоит только покинуть город, и потому жадно смотрел вперед. Для его угасающих глаз огни занимали полнеба, раньше они казались меньше и злее, и семидесятилетнему оставалось только разглядывать эти цветные шары, заполонившие воздух и стены вокруг. Порой он опускал веки и так продолжал смотреть фонари, то ядовито зеленые в вишневой черноте, то, стоило повернуть голову, рыжие на красных разводах. Жаль, что закрытые глаза не видели звезд. Семидесятилетний шел от фонаря к фонарю, и лицо его попадало из света в тень и снова в свет, и небо казалось ему поочередно то синим, то фиолетовым.

Кристаллы памяти копятся в деревьях, и только древние деревья тайги, которые запасают все виденное в толще своих стволов, могли бы рассказать, как дряхлый изможденный старик спешил, проваливаясь в глубокий снег, хватаясь за ветви, обдирая ногти с рук, оставляя клочки одежды тем, кому они совсем не нужны. Но деревья немы, лишь самые маковки, полоскавшиеся в небе, шумели тревожно и страшно. Многие живые блуждали у их корней, петляли и спотыкались. Этот плутал странно, непохоже, ужасно: он мог встать или отойти назад, мог ринуться вперед и упасть, но ни разу, ни разу он не отклонился и не сбился с пути, он еле передвигал ноги, но шел прямо, все время прямо, хотя слезы катились градом из затянутых бельмами глаз.

Седая борода трепетала, трепетали обрывки одежды на уже полуголом теле. Его единственным спутником был холод, ведь он не чувствовал холода. Мерзлая пыль, искрясь в свете звезд, заметала его следы.

Больше всего он боялся не успеть и совсем не боялся заблудиться. Опоздание означало бы неминуемую гибель прямо там, у ворот, так как сил у семидесятилетнего почти не оставалось. А смерть по-прежнему страшила его. В прошлые разы он успевал. В прошлые века... Каждую секунду он знал, как следует сделать следующий шаг, хотя глаза его совсем ослепли. Если бы ноги весили чуть поменьше, если бы не так тяжело, все тяжелее, становилось каждый раз отрывать их от земли... Семидесятилетний попытался поверить, что в конце пути издыхающий человек непременно достигнет цели. Впереди его ждал Замок. Замок Бессмертия.

Он знал, что пришел, еще не коснувшись ворот. Та таинственная сила, что вела семидесятилетнего по холодному лесу, заставила его понять, что ворота Замка открыты, уже давно открыты, более того, они скоро закроются, ведь большой колокол Замка уже звенел. Семидесятилетний не считал его ударов, но он был уверен, что следующий станет шестым и последним. И что-то в механизме гигантских часов уже заскрипело и сдвинулось. И старческие силы изменили семидесятилетнему. Он больше не чувствовал ног. Если бы можно было выдрать белую грязь из-под век, но так, чтобы глаза остались целыми! Неужели конец? Руки! Пусть у него больше нет ног, но у него еще есть руки! Семидесятилетний укусил себя остатками зубов и схватил край крепостной стены. Когда раздался последний удар колокола, руки рванули его вперед. Падая, прежде чем по-

терять сознание, он понял, что успел проникнуть в Замок, и ощутил, как ворота захлопнулись за ним. На Земле было шесть часов вечера.

Черная ночь

Семидесятилетний не знал, как долго он раскачивался на воротах и сколько лежал без чувств на жестком снегу. Теперь ему незачем было спешить. Если он успел попасть сюда, то все, что случится с ним дальше, произойдет так же, как происходило каждые сто лет. Так, как захочется Замку.

Силы вернулись к семидесятилетнему, он шевельнулся и взглянул на сугробы вокруг. Из темноты под ноги к нему бросился испуганный заяц, заяц как заяц, только вывернутый наизнанку, так, что можно было видеть желудок и сердце, и туго намотанные кишki, и мозг в грязно-серой пленочке. Этот бурый комок бежал, не касаясь земли, но где-то внутри, среди шерсти, его ноги толкались и двигались, распирая бока. Семидесятилетний улыбнулся виновато и застенчиво. Он и впрямь в саду на территории Замка, где даже снег и камни, казалось, такие же, как везде и всегда, были чуть ярче и тревожнее, словно здесь проявлялся скрытый смысл вещей. Все угрожало и обещало тайну. Семидесятилетний потер ладонью колючий подбородок. Деревья тайги завтра не досчитываются клочков его одежды. Или нет? Этого семидесятилетний не знал. Всего один беспомощный шагок — и его глаза уже различили тяжелую арку примитивного стиля, послужившую сегодня воротами. А вот и ослепительный Замок засиял на агатово-черном фоне. И жесткий луч света протянулся от окна до ворот, задержался в вышине, поколебался и рухнул вниз, указывая семидесятилетнему путь. И в его блеске вычертились над темнотой причудливые перевернутые кусты, спрятавшие листву внутрь ствола. Кое-где из трещин лопнувшей коры вырывался белый солнечный свет. Тот свет, который другие деревья забирали, эти отдавали из себя. Кто бы мог подумать, что в Замке Бессмертия время идет назад!

Неудержимо молодея, шестидесятисемилетний шел к главному входу, и тоненькая тропинка, сплавленная из самых драгоценных цельных камней, посыпала в его глаза слабый отраженный свет звезд. Разноцветные снежинки падали на скользкий рубин, и их звон рождал удивительную мелодию, и кобальтовые цветы расцветали у самых глаз. Под музыку снега и скрип отшлифованных гиацинтов он срывал с неожиданно возникавших альмандиновых ветвей особенно тяжелые и красивые карбункулы, взвешивал их в ладони и бросал, когда они разогревались и вспыхивали от тепла дрожащей руки. Шестидесятипятилетний узнавал сад, который, даже замерзнув, совсем не изменился с полузабытых времен, когда все его чудеса еще были доступны, а шестидесятипятилетний еще мечтал привести сюда друзей и подруг. Вот справа послышался злобный свист и удары. Это площадь играющих шаров, ровное поле обсидиана и черного турмалина, где сталкиваются в вечной ненависти они, бурые и багровые, вишневые и пурпурные, все крепкие, тяжелые, все в трещинах, и летят ошметки крови, и далеко уходит их угрожающий скрип. А рядом, над ними, кружатся, толкают друг друга, взмывают и падают веселые малиновые капли, вечные насмешники и попугаи. А чуть подальше, ближе к Замку, мятная трава, уже не скрываясь, светила собственным светом, такая запоздалая среди огненного опалового снега. Там, в глубине, блестели умершие ледяные озера, которые когда-то были живыми.

Шестидесятичетырехлетний ускорил шаг и чуть не упал, таким неровным оказался оранжевый, почти рыжий, сапфир, вытеснивший все красное с волшебной дорожки. И слева от себя он узнал купол зноя, выделявшийся в полумраке сада пламенными и бронзовыми цветами. Тысячи лет назад он любил этот оазис жары, неизменно янтарный в самые суровые зимы. И пусть холод лютует, сколько ему заблагорассудится! Шестидесятилетний отсчитал еще со-

тню шагов и услышал знакомый слабый всплеск под ногами. Теперь он брел по расплавленному холодному золоту и видел набережные из винно-желтого топаза и солнечного камня. И родники с лимонным и абрикосовым соком, а дальше — широкую апельсиновую реку, океаны оранжевых вод и полупризрачный мост из трехцветного берилла. Пятидесятивосьмилетний вспомнил молочные водопады и опасные лунные камни, об которые чуть не разбился однажды... Справа лужайка мертвых озер осталась далеко позади, уступив место пылающей клумбе. Вот здесь пятидесятишестилетний сажал когда-то огни. Он находил их маленькими разноцветными искорками и бережно растил, а потом опускал уже повзрослевшие язычки пламени на ладонь и относил в рыхлую клумбу. Пятидесятичетырехлетний внимательней посмотрел на красивые рослые снопы света. Горят ли среди них те, что вырастил он? Руки его в те дни были вечно обожжены и поранены, зато как же чудесно мечталось тогда, что он возделывает будущие звезды. Хотя, наверное, только у очень хорошего садовника огонек мог бы стать звездой.

Золотая заводь кончилась, сменилась цитрином и хризолитом, а потом пятидесятидвухлетний шагнул на ровный прямоугольный изумруд. Здесь проходил зеленый пояс Замка, все цветы и деревья мира, гибкие, кланялись ему, точно и не было на свете зимы, а в просветах меж ними, приглядевшись, пятидесятилетний встречал строгие, немые скульптуры. Тут были собраны люди, большей частью уже погибшие, из тех, что попадались ему в годах уходящего века. Коралловые бюсты, символы мимолетных встреч, и кумиры из сердолика и рубеллита, альмандиновые и берилловые друзья и порфировые враги с карминными глазами. Терракотовые родители, когда-то приютившие его, с лицами, подкрашенными киноварью. И любовницы, имевшие тот особый блеск самых нежных покровов человеческого тела. И прозрачные, радужные, цвета розового турмалина, те, кого он ласкал в мечтах, кому рассказывал без слов свои тайны, встречая понимание и любовь. И де-

ти того странного цвета, который можно увидеть в солнечный день, крепко зажмурив глаза. И его собственные изваяния с отсветом орифламмы. Вряд ли он увидит еще раз кого-то из них, даже вот так, в смарагдовом полуумраке, под хруст сапфиров и яблочных жадеитов... Отбросив воспоминания, пятидесятилетний взглянул вперед, за черномалахитовые столбы, на бирюзу и облачный аквамарин. Там ему стало бы еще холоднее, если бы он не чувствовал холода. Сорокавосьмилетний пошел быстрее, почти побежал, узнавая и рошь полярного сияния за гранатовой изгородью, и галерею, где до сих пор были вывешены плоские миры, меняющиеся, забавные и чужие. И в блеске синего сапфира он узнал опаловый грот, в дальнем углу которого должны быть свалены в беспорядке кристаллы абстрактных идей, острые и холодные. Он не успел разложить их перед изгнанием из Замка. Далее возникал и исчезал, мерцая, его старый аквариум, айсберг в рамке из горного хрусталия, где плавали и жили серебристые рыбы, а за ним, у аметистового края дорожки, беспрестанно разрушалась и строилась площадь, на которой лучшие мелодии и картины правили бесконечный бал. Сорокашестилетний остановился взглянуть, как сменяют друг друга видения пейзажей и натюрмортов, каждый со своими нотами. Все-таки Замок так и не смог приучить его к музыке, такой чудесной и смешной, а ведь это было бы важно, важнее, чем хитросплетения слов и танцы актеров... И слева от левой руки в галантные состязания нот ворвался нескончаемый вой, это в пустыне смерчей и ветров, сразу за опаловым гротом, бесновались зимние вихри.

Сорокачетырехлетний ступил на скользкий, чисто отполированный алмаз. Вот она, дверь. Кристаллики гипса и ломаные рисунки агата. И тотчас же раздался мелодичный звон, и все комнаты, все переходы и галереи Замка запели в ответ, каждая на свой лад, все двери распахнулись, и стряхнули вековой сон ковры и портьеры. Две створки парадного входа вспыхнули так, что сорокадвухлетний отпрянул, как это случалось каждые сто лет, а потом истаяли раз-

ноцветными огнями. И во всем Замке зажегся свет, и лампы его наполнились силой и замигали, подзывая к себе.

Сорокалетний перешагнул порог, и дверь за ним затвердела.

Прихожая являла собой невесомое звездное небо, только звезды его были крупные и неправильные, все уворачивались, когда сорокалетний пытался ухватить их, чтоб не сорваться вниз, туда, где многочисленные подземелья Замка встречаются с жидким центром Земли. И только он догадался, что это не звезды вовсе, как тут же из одной из них, вдруг ставшей самой близкой и главной, с треском вытянулся ржавый нешлифованный крюк, навевающий мысли о грубой скользкой веревке. Замок по-прежнему обожал парадоксы. У сорокалетнего не было веревки, потому он небрежно закинул руку и позволил утянуть себя вглубь.

Тридцатидевятилетний шел по Замку, неторопливо осматривая свои владения. Залы мешали ему, не разбирая дороги, бесстыдно тасовались прямо на глазах, а коридоры, зеркальные и скользкие от пола до потолка, вдруг выгибались или раздавливались, и тогда тридцативосьмилетний видел сквозь прозрачную стену полированные шестиногие столики красного дерева, похожие чем-то на больших павуков. Под деловитую ритмичную музыку они скользили на кухню: там, в путанице подземных коридоров, собирались лучшие слуги Замка, чтобы готовить ему праздничный обед. Зеркала отражались в зеркалах, и в каждой комнате Замка он мог пройти сквозь зеркало или попробовать жирную землю в цветочном горшке, неожиданно вмещавшем его ступню, вторую, найти отверстие в стебле или съехать на кончик пера, торчащего из чернильницы, — и тридцатисемилетний видел новую дверь, и дверь вела его в новую комнату. И в зале с белым рассыпчатым полом и крашеным потолком тридцатишестилетний нашел свой собственный старый шкаф — откуда он в Замке? — еще вчера стоявший

у него дома, а теперь вот висевший свободно, чуть-чуть не достигая полов, чуть-чуть не задевая хрустальную люстру, освещавшую комнату снизу. И битком набит пыльной одеждой, а каждое платье, оказывается, хранит свою историю и свою тайну. Тридцатишестилетний перебирал комнату из шелковых волос и маленький будуар, полный водопадов, где тридцатипятилетний нырял и странствовал под водой, а добрая влага очищала лицо от морщин и делала его моложе, еще моложе, если это только возможно. Вода с вкусом и запахом выносила его в другой дворец, выточенный из александритовой глыбы, и так искусно были подобраны свечи и цветы, что утро и вечер цельного камня смешались, его квадратная мебель, неотделимая от пола и стен, была багровой, а сами стены — ядовито-зелеными. Он видел египетский храм и шумерскую мозаику, и нефритовый зал, ковры и диваны, какие когда-нибудь появятся на земле: густая податливая масса с авантюриновыми искорками света внутри.

Но каждый раз путь тридцатитрехлетнего заканчивался в круглой комнате. Сегодня это был маленький теплый ночной закуток, в центре которого, на равном расстоянии от круглых стен, стоял блестящий бронзовый сосуд. А в прошлый раз, в другой комнате, вот так же блеснуло овальное зеркало, и тридцатидвухлетний смотрелся в него, пока не заметил сзади острые зубы и чешую малахитового чудовища. Спасаясь, он не понял, как прыгнул вперед и оказался в Театре... Мгновение непреодолимого страха — и он коснулся бронзового сосуда, который зашатался и зазвенел, и пронзительный звон его все ширился, и вот уже вся комната пришла в дрожь, ее предметы проскакивали сквозь тридцатидвухлетнего и резали его на части, не причиняя, впрочем, ни малейшего вреда: он слышал, как булькает кровь и хрустит перебитый позвоночник, и опадают легкие, выпуская воздух, — а потом шло беспамятство и знакомая страшная комната, в которой его окружали небритые пауки.

В слабом сиянии их челюстей, светившихся от прикосновения к человеческой коже, тридцатилетний ви-

дел настойчивые голодные глаза, разбросанные по телу, и жесткую, точно стальную, щетину. Вежливо напившись его крови, пауки отступили, подрагивая тонкими ляжками, и тридцатилетний мог взглянуть на стены Театра, как всегда увешанные сценами далеких времен, когда еще не было Замка. И одна из картин, та, куда случайно упал его взгляд, оживала, и начиналось представление. Это были эпизоды его жизни, всегда эпизоды из его прежней жизни, но совсем не такие, как представлялись они ему раньше, фрагменты из фрагментов, с одним началом и разными концами, и Замок мог выбирать их бесконечно, ибо его жизнь в прежнем мире в некотором из земных смыслов была бесконечна. Однако Замок с каким-то беспощадным упорством создавал одни злые сцены, так, что тридцатилетний каждый раз хватал тень самого себя, пытаясь удержаться от преступления, но его облик начинал дрожать и расплываться, чтобы возникнуть в другом краю комнаты. Прочие тени были еще более неустойчивы. Казалось, ужас перед злодеянием был так велик, что невозможно было не совер什ить его, как это случается у людей. И кто-то незримый, ощутимый лишь по скрипу и дрожи паркета, клал белое на носилки и уходил прочь.

— Но я же не знал! — кричал Замку тридцатилетний. Конечно не знал, откуда он мог знать в прежнем мире, что есть добро и что — зло?

— Это подлог!

А потом его тянуло в мир представления, ведь увидеть свое прошлое еще раз он сможет только сто лет спустя. Очарованный театром, тридцатилетний забывал отвратительный облик актеров, время от времени подходивших попить его крови, чтобы возобновить драматическую игру. Он безропотно отдал бы им все, что есть в его жилах. Тоска по прежнему миру с новой силой охватывала его. И когда горечь заставляла его упасть, актеры вновь обращались в пауков и спешили к нему, дрожа ляжками, и тридцатилетний видел, что они деревянные, совсем деревянные. И он начинал крушить все подряд, а потом глядел, как дерга-

лись и катались от боли по полу оторванные тонкие ноги, а пузырьки их лаковых глазок лопались, как это случается с пузырьками, и соединялись, пока у ног двадцатидевятилетнего не остался один большой обиженный глаз, который подождал немного, вздрогнул несколько раз, а потом потух и закрылся. И тогда двадцативосьмилетний убегал, а скрип и хихиканье неслись вслед, бархатные портьеры вдруг окутывали его, обдавая теплом, старинные кинжалы взметались и проносились со свистом на волосок от его лица, но Замок словно уставал от своих игр и поддавался, сухой и вежливый, и его полы, горбясь, сами несли двадцатисемилетнего, сужая круги, к центру Замка — уже пора! — в главный зал — пора! — а он все молодел, хотя в Замке это происходило медленнее, чем на дорожке сада, с которой он за все века и тысячелетия ни разу не решился сойти.

На Земле было девять часов вечера, когда вновь загремел главный колокол Замка, а вслед ему взорвались все маленькие колокола. Замок ненадолго померк и со дрогнулся, но этот удар и звон не мог быть самым страшным. Окна подмигнули двадцатишестилетнему. В главном зале уже был готов праздничный обед.

Главный зал запомнился ему как вторая неизменная комната Замка, год от года чередующая только цвета. Путь туда лежал через толщу стены, создававшей в зале подобие неполной перегородки. Выглянув из стены направо, можно было увидеть обеденный стол в легкой дымке, слева плавала полная пуха постель. Вперед двадцатипятилетний старался не смотреть. Впереди было возвышение в виде круга, но стена, противоположная входу, переламывалась так, что от этого круга был виден лишь кусочек, маленький участочек с краю. Между кругом и входом в зал на полу блестело пятно, оставленное вроде бы по небрежности, но именно этого пятна двадцатипятилетний боялся больше

всего, больше пауков и живых стен, больше твердого света и вывернутых деревьев. Ни за что на свете он не согласился бы приблизиться и коснуться его липкого края. По крайней мере, сейчас. По периметру круга, везде, где только мог, стояли лесенки-постаменты, увенчанные манекенами обоих полов. Двадцатипятилетний мог не помнить некоторых имен, но он в точности знал их возраст: двадцать лет. Те манекены, что справа, неподвижно застыли, прямые и покорные, сжимали в руках тяжелые круглые камни. Те, что слева, вытягивали руки по швам. Только один постамент, точно посередине, точно напротив входа и пятна на полу, был пустым, и только раз в столетие в длинной череде манекенов пустовало еще одно место.

Он вкушал блюда, изысканнее которых нет на земле, и запивал их самыми тонкими, самыми благородными винами. Каждый из этих напитков содержал смертельный яд, и смельчаки, решившие узнать вкус любого из налитых здесь вин, расплатились бы жизнью за свое любопытство. Но двадцатичетырехлетний не мог умереть, не мог ни насытиться, ни проголодаться. Время в Замке по-прежнему уходило вспять. Кисейные тени, похожие на столб блестящих в луче солнца снежинок, отливая то розовым, то небесным, то изумрудом, отделяя от себя сияние и сгущаясь до темноты или искрясь фейерверком, то похожие на людей, то вытянутые в фантастические галлюцинации форм, вытирали его лицо белоснежной прохладой полотенец, все меняли и меняли приборы, неслышно подавали блюда и подливали вина в прозрачный бокал, как бы не существующий, словно он возникал с первой каплей налитого вина и умирал с последней его каплей. Другие тени представляли его глазам волшебные сказки, не говоря ни слова, но с каждым их жестом двадцатирехлетний начинал знать недостающие речи. Только изредка, напуганные брызгами

черного сока арбуза или нектаром волшебного мяса, тени могли отпрянуть к стене, но в следующий миг они продолжали рассказ точно на прерванной ноте. А посуда вдруг вырастала, и вот уже маленький и легкий двадцатидвухлетний уходил в поле, сплетенное из мясных волокон, плавал и нырял в озере пикантного соуса, карабкался на шоколадные утесы и прыгал в колодец из чистого желатина, где его ждали шафранного цвета звезды.

И в третий раз бил колокол, и вот тогда все краски Замка вдруг поменялись, как на цветном негативе (или это перевернулись глаза двадцатилетнего?), и на Земле наступила полночь, и новый век осторожно втиснулся в старый уставший мир, пугливо озираясь по сторонам.

Тогда двадцатилетний покидал стол, залитый черным светом, и шёл к мерцающему пятну, каждый раз зная, что последует, но каждый раз трепеща. На этом пути он искал тепло ладони (сколько теплых рук было в его прежней жизни!), но руки теней ускользали от него, пока он не натыкался на собственные холодные пальцы. И каждый раз, вступая в свой маленький заколдованный круг, двадцатилетний чувствовал всю зыбкость этого мира. И слышал он, как вздыхали манекены справа от пустоты и вспыхивали их белые камни. И вторили им манекены слева от пустоты, уже лишенные этих камней. Вот один из них, первый справа, поворачивает к двадцатилетнему свое лицо и прыгает на пол, точно его сталкивают с пьедестала, и идет, еле волоча ноги, но все набираясь сил, пока двадцатилетний все слабеет. Если бы глаза манекена слились с чернотой белков или ослепительной белизной зрачка, они были бы не так ужасны, но его глаза вообще не имели цвета. И каждый раз двадцатилетнему хотелось бежать от этих мертвых, пустых глаз, но он не мог сделать ни шагу. Он должен смотреть в глаза, прямо в приближающиеся глаза, оттененные черными бликами, пока их зрачки не начнут распа-

даться на отдельные крупные точки. И тогда — о, сколько раз он пытался поймать этот миг — он увидит, как входит разум под новые веки, а потом вдруг вглядывались в него ненавистно и пристально другие глаза, те, что двадцатилетний еще недавно считал своими, он смотрел, как разум покидает их, хотя это и противоречило логике людей. Глаза отодвигались, теперь двадцатилетний мог видеть напряженные густые мазки позелени на своем прежнем лице, его острые грани и малахитовые нюансы. Кто желепил и формовал этот цвет? Голубец и ультрамариновые струйки на губах. Следы приторно сладких слез, звучащие неярко и чисто. Чёткую зернистую фактуру кожи. Смелые контуры черных одежд, их спокойные плоскости. Строгие, замедленные линии ладоней в едва заметном движении. Манекен переставал быть манекеном, а его прежнее тело, пустое и мертвое, возвращалось на свой постамент, покинутый век назад. Вот он еле ступает на пьедестал, но потом, точно вздернутый чьей-то плетью, выпрямляется и замирает, вытянув руки по швам. И кольцо, полное мертвцов, поворачивается по часовой стрелке, чтобы пустота вновь оказалась посередине, и один из левых манекенов исчезает в проеме стены, а из другого проема, справа, появляется новый, с камнем в руках. И каждый раз двадцатилетний оборачивается к центру круга в надежде, что этот новый манекен будет его самым первым, его настоящим телом, и тогда двадцатилетний поймет, что жизнь его близка к завершению. И каждый раз его надежда гаснет, ведь он не знает ни истинной длины круга, ни величины главного зала, ни размеров Замка Бессмертия.

Он стоял возле выхода из зала, и мгновение за мгновением перед ним проносились картины будущего столетия, той страны, где ему предстояло жить. Чтобы он знал и праздновал все войны и бури заранее. И каждый раз двадцатилетний чувствовал немой вопрос Замка: какую жизнь предпочтет он на этот век, блестящую, где ему суждено сделать что-нибудь громкое, жизнь с ослепительным крахом в конце или другую, полную страха и покоя. И каждый

раз, прежде чем он успевал проговорить связную мысль, его новое, но все такое же трусивое сердце сжималось от нежелания смерти. Ведь двадцатилетний до сих пор мечтал однажды вернуться в тот мир, из которого когда-то пришел. Значит, снова робкие шаги подкидыши, снова скитания по чужим людям и медленное взросление, пока не закончится первая треть века. И камень, тот самый, который двадцатилетний держал сейчас в руках, начнет медленно таять, защищая его от старения мира. Он будет метаться по разным странам, помня, что незнакомые люди не смогут заметить задержки в его времени. И бояться, все время бояться потерять драгоценный камень. Пройдет еще треть века, прежде чем камень растает, и тогда двадцатилетний начнет стареть, стареть все быстрее и безобразнее, особенно в день, когда кончится третяя треть века, и он покинет свой дом и пойдет, спеша, чтобы в последний момент чудом успеть пройти сквозь ворота Замка.

Но двадцатилетний до сих пор не узнал, какой могла бы быть его жизнь, избери он другую судьбу.

Теперь он сворачивал в левую нишу зала, где его ждали похожие на облако черные простыни и неудержимое желание спать. Сны овладевали им, прежде чем он смыкал глаза, прежде чем трепетные тени убаюкивали его, укрывали его тело. Постель изгибалась и обволакивала всего двадцатилетнего, с головы до ног, массируя шею и спину, волны прохлады и тепла тоже бежали, сменяя друг друга и дразня кожу. И казалось ему во сне, что лицо его разрастается, разрастается и вбирает в себя весь Замок, всю Землю, весь мир.

Розовое утро

Он спал, и ему снились розовые сны. Сны-воспоминания, такие сладкие, такие желанные. Но самый розовый,

самый желанный, лишь мелькал в сознании и исчезал прежде, чем девятнадцатилетний успевал удержать его, то же, всегда то же, что показывали ему прозрачные пауки. Свою прошлую жизнь. Может, это и было время титанов, золотой век? И проносился Город праздников. И Город Печали. Там, как и здесь, были зеркала, но те зеркала возвращали людям драгоценные лица, прекрасные лица, в каждом из которых одна единственная черта была доведена до крайности и преображала своего обладателя. Девятнадцатилетний помнил огромный рот, улыбку, способную согреть мир. И другое лицо: глаза, такие глубокие на бледной коже, что не было сил посмотреться в них, глаза, затягивающие в бездонную жуть, зовущие пройти вместе все ступени в пропасть. И узкое тонкое лицо, лицо-клиновидное, не ведающее сомнений, не знающее фальши. И восемнадцатилетний тянулся к этим лицам и успевал вспомнить, как позже их обладатели тушевались, облекались в наряды из мелочей, и ему уже казалось, что он вернулся, — и тогда начиналась слепота. Восемнадцатилетний не мог помнить, было ли это в действительности: лаково-черное небо пересекают тонкие белые зигзаги, все времена разные, все смеянияющие друг друга в полной тишине (восемнадцатилетний не знал слова «гроза», на родине восемнадцатилетнего люди не видели гроз), — и если это было, то сколько лет он беспомощно барахтался там, в черноте, и сколько лет чернота вращалась над ним. А потом восемнадцатилетний осознавал, что теперь-то он находится на огромной льдине, быстро плывущей в космосе. Так, по крайней мере, считали её обитатели. И каждый раз его охватывал ужас: не он ли натворил этот мир, все эти миры, когда уходил, без чувств, без памяти, в момент чудовищного горя, прежде чем, опомнившись на серой скале, увидел свои колени?

И приходил другой сон, сон о том, как он впервые очнулся в новом мире. Семнадцатилетний помнил тот день безукоризненно. Отпечатки вдавленных пальцев на коже, вот что было вначале. Отпечатки пальцев на коже колена. Он хотел рассмотреть их получше, задержать — и не

смог. А потом был стук взволнованного сердца, четкий последовательный стук. Конечно, ему и раньше доводилось ощущать себя вот так и чуять свой запах, такой терпкий, что казалось, возьми он эту кожу в рот — и язык тут же сведет судорога. Семнадцатилетний нажал ладонями на виски и стал раскачиваться: он все понял. То, что он столько раз проделывал в шутку, теперь довлело над ним. Он не мог остановиться. И мир вокруг был совсем незнаком, ни в одном из уголков его жизни не было такого злого ветра и таких крошащихся камней. Семнадцатилетний понял, что уже не вернется в прежние города, где жил еще так недавно. Сто ударов сердца назад. И можно сколько угодно грызть от отчаянья пальцы.

В следующий момент он стал знать все. Или его друзья, застенчивый обладатель улыбки и малышка с изящными руками, смогли, преодолев все преграды, помочь ему? Как смешно, нет, нет. Это теперь он стал думать мыслями своего нового мира, словно там, откуда он пришел, был возможным поступок. О, теперь он временами даже искал причину своего горя, словно в его мире у горя, да и у радости, существовали причины. Да, он стал знать про Замок Бессмертия, тогда Замок еще был его другом, а не палающим. Он стал знать, что должен выжить и ждать. Когда-нибудь он вернется, хотя семнадцатилетний не понимал, каким он станет тогда. Прежним? А хотел ли семнадцатилетний стать прежним? И как долго ему суждено ждать? Пока погибнут все люди? Но он был раньше, чем люди. Когда погибнет Земля? Не взорвать ли ему Землю? Но он пришел сюда, когда Земля уже родилась...

«...И светило прогорклое небо», — говорил торжественно чей-то голос. Да, в тот день светило прогорклое небо, а листья и трава на его фоне, на ветру, и водоросли в ходящем ходуном море менялись быстрее, чем картинки в калейдоскопе, и все звуки этого неведомого места сливались в какой-то нескончаемый, неотвратимый стон. И шестнадцатилетний видел со стороны тонкую фигурку человека, еще смелого, еще надменного. Полускрученным пальцем

указывал он на горизонт, и шестнадцатилетний понимал, что этим человеком был он сам. И шестнадцатилетний шел по взморью, как когда-то, пока фигурка становилась все ближе, и он видел свое растерянное лицо, и вот уже сам складывал губы в издевательскую усмешку, и вдруг жалость и сострадание к этому миру пронзали его. Он видел, какой одинаково ровный свет исходил со всех сторон неба. Все казалось серым на этой бескрайней серой земле: глыба крошащегося камня, тянувшегося куда-то далеко за спиной, холодная беспокойная вода. Какая неуютная, вся в углах и разломах, земля. В тот день, когда голые скалы служили ему опорой, шестнадцатилетний еще не понимал слов «миллиарды лет», он еще не понимал слова «никогда», но уже знал, что крошащиеся камни рано или поздно обнажат свою твердую суть. Слова ненависти и презрения витали вокруг него, но пятнадцатилетний еще не умел говорить. И, вытянувшись до невозможного, он жадно и нежно всматривался вперед, глядя, как серая грязь таяла в небе, а что-то шероховатое, пепельное, отслаивалось и оседало к ногам. Лишь точно вверху небо было темнее облаков. Будь он проклят, этот мир! И тогда часть неба стала ярче, ярко белой, так, что другие края почернели, и что-то круглое очертилось над головой. Дыра в небе? Или...

Следующий сон переносил пятнадцатилетнего на много веков вперед, когда он уже полюбил этот мир: его быстрые грозы и пену на побережье, тихий уют Замка и здешнюю непредсказуемость, самое удивительное из его новых открытий. Но очень скоро пятнадцатилетний заметил, точно невидимый душевный глаз потихоньку навел резкость и помог ему сфокусировать размытое изображение, что очень многое в мире, особенно в мире вне Замка, можно предугадать. Он начал понимать с мелочей, со шрама на руке и опоры под ногами, а потом выстраивал перед внутренним взором все более крупные картины, пока не нашел

совсем жестких законов, подчиняющих себе все, не оставляя места настоящим неожиданностям и подлинным приключениям. Пятнадцатилетний не знал еще, что здешние люди настолько привыкнут к своим законам, что всякое отступление от них будут именовать чудом. А тот факт, что им доведется жить не во все времена — какая малость! — станет величайшим несчастием живых, и сам он настолько свыкнется с этой мыслью, что тоже будет бояться. Чудеса и впрямь встречались ему крайне редко, и он, как многие, порой верил, что чудеса невозможны, что бывают только подделки чудес. Собственно, Замок Бессмертия был единственным известным ему чудом. Нет, чудом было еще то, что он все помнил, все миллионы лет.

Пятнадцатилетний почти забыл годы своего одиночества, время сновидений. Впрочем, был ли он одинок? По Замку бродили цвета и запахи. Кроме того, он всегда подозревал, что кусочки его тела жили собственной жизнью, заключали альянсы и враждовали между собой. Порой четырнадцатилетний стремился познакомиться с ними, поспорить, поговорить, но он был слишком высок для них, слишком далек. В те дни у него не было ни часов, ни календаря, и, наверное, он подолгу спал на роскошных постелях Замка. Да, тогда он мог приходить и уходить из Замка в любой день и час, тогда он мог за ночь в Замке помолодеть на столько же, на сколько старел за день, проведенный вне его стен. И четырнадцатилетний вспоминал, как любил он провожать и встречать ночь, как выстаивал без конца в воротах и знал, что где-то там должна проходить неуловимая грань времени, на которой возраст человека не меняется никогда. А еще можно было пройти в центральный зал, тогда совсем маленький, лишенный перегородок и манекенов, но зато с трещиной от пола до потолка, необычайно правильной формы, и с тонкой стрелкой, торчащей из этой трещины. Четырнадцатилетний мог сдвинуть стрелку

далеко вверх, под самый потолок, он так и делал, когда ему надоедали прогулки по Земле. И отправляться спать на века, зная, что за долгие годы помолодеет совсем чуть-чуть. А можно было вцепиться в стрелку и повиснуть, чтобы она съехала к полу, и быстро сбросить несколько лишних лет.

Замок снабжал его одеждой, кормил и согревал, и позволял плутать в своих туманных рощах, но за все века и тысячетысячелетия четырнадцатилетний так и не смог сказать себе, что он побывал в каждой комнате Замка и каждом уголке его сада. Он не мог сосчитать даже, сколько ворот окружают Замок и сколько дверей. А потом появились люди.

Они появились в жаркий летний день, какими бывают иногда дни после бури. Ни малейшего звука, не потому ли ему до сих пор чудилось, что он слышит грохот вчерашнего дня, а отраженный голос грома все еще блуждает от пещеры к пещере? Четырнадцатилетний вышел через Цветочные Ворота, роняя бесцельные шаги в сторону маленькой рощи на западе. И наткнулся на своего первого человека.

Сейчас он опять видел ту картину в мельчайших подробностях: гигантское рыжее пламя пожирает сухой валежник, а рядом застыла огромная, почти с огонь ростом, туша. Сутулая спина, желтые глаза. И шерсть от уха до уха. Рыжие волосы покрывали тело, блестя на солнце, точно весь он, с головы до пят, был облечен медью, точно сам пылал рядом с костром. Он был неподвижен, только большие, крупные руки его все время менялись — так играли мускулы под рыжей шерстью. Четырнадцатилетний застыл в восхищении: он понял, что этот, с ненасытными глазами и злым оскалом, не отступит, уже не сможет уйти. Он тянулся к пламени с таким ужасом и отвращением! Тянулся и в то же время незаметно бежал, любил и ненавидел желтое, белое пламя, нужное, чтоб питать прожорливые искры

в рыжих глазах, а может, и в рыжей крови. Человек и огонь стояли друг перед другом в молчаливом противоборстве так долго, что тринадцатилетний не выдержал напряжения этой тихой картины, он сделал еще шаг, и еще, боясь, что иначе сойдет с ума. И все время, пока рыжий человек смотрел на огонь, тринадцатилетний шел, точно хороводы водил, медленно, как во сне, хотя сердце разрывало его изнутри, и желая, и не желая уйти отсюда совсем. Он не поворачивал головы и видел огонь и рыжего, если огонь и рыжий попадались перед его лицом, воздух, если впереди был воздух, листья, бившие в лицо, если впереди были листья. То он боялся, что его выдадут раззывающиеся клочки одежды, то, где-то в чаще, вспомнил, как рядом с костром расползлась тревожная темная масса, и понял, что это было стадо рыжего. И решил, что они боялись и хотели бежать, как бежали все их предки, всегда, но тот, первый, не позволял.

И, наверное, круге на пятом, тринадцатилетний видел, как вожак взял на руки ребенка — своего ребенка? — и осторожно, бережно подложил в огонь, чтобы посмотреть, как горит человек. Чтобы понять. И пока тринадцатилетний шел, ловя глазами враз пожирневший дым, он представлял себе, как в следующий раз вожак, так же медленно и важно, взойдет на костер сам. И где-то, круге, наверное, на седьмом, тринадцатилетний услышал молодой, сильный крик радости. И увидел, что это рыжий смеется, сжимая в руках палку, на дальнем конце которой жил маленький, приученный огонек. И тогда ему вдруг показалось, что косматая морда стала похожа на тонкое напряженное лицо, лицо из прежней жизни, совсем похожа, так что тринадцатилетний начал беспокойно озираться вокруг: где-то здесь должна быть девушка с тяжелыми густыми волосами, она всегда стояла рядом, не уходя...

Тринадцатилетний смотрел, как тихо и тяжело он возвращался в Замок, точно внутри его поселилось что-то очень важное, большое и жесткое. Причинявшее ему боль.

С тех пор он все чаще сбегал из Замка, чтобы ходить за людьми по пятам и следить исподтишка, из засады, из-за угла. Бояться за них, плакать, молиться. Сны тринадцатилетнего замелькали быстрее, смазывая друг друга, вырывая друг у друга клочки бесценного времени этой ночи.

Игры бывших обезьян. Тринадцатилетний не участвовал в них, даже потом, когда ему пришлось играть вместе с ними. Обезьяны чесали друг другу спины, развлечения людей были более разнообразны, то нежные, то жестокие. А вот и сам тринадцатилетний. В те дни он любил обряжать людей в простые одежды и давать им имена. Он учил их думать словами, да, он создавал слова, жалкие тени слов из его прежнего мира, но тринадцатилетний не мог иначе на этой несчастной Земле. Он смеялся, когда люди, усвоив его уроки, уродовали себя, называя это красотой. Смеялся, когда они пытались ополчиться против него, и давал им есть со своих рук...

Наконец мелькающие кадры остановились, и изображение вновь стало четким. Это были дни, когда он еще не ходил, а подкрадывался, не глядел, а подглядывал, не слушал, а подслушивал и однажды подошел вплотную к пещере, в которой, поближе к выходу, валялся один из них, раненый вчера на охоте. Двенадцатилетний жадно смотрел, как гладит хмурый мутноглазый крепыш свою распоротую ногу, пробует на вкус липкую кровь с маленькими кусочками кожи. Он любил настигать людей в болезни и страдании, когда неприятные бугры челюстей словно расправлялись, разглаживались и новое, разумное выражение появлялось в заплывших глазах. Но сегодняшний вел себя странно. Он долго лежал, без стонов и слез, точно догадался о своей обреченности, и вроде как все разглядывал что-то вдали. Двенадцатилетний поразился беззаботности его ленивых и радостных глаз. А потом принял рассмотривать свою рану, и жестами, и языком стараясь повторить ее очертания, и все не лежалось ему на месте, точно беспокоило что-то, и этим была вовсе не лужица крови, наполнявшаяся

на глазах. Наконец, он встал, волоча больную ногу, и потянулся вперед, вскрикивая от каждой былинки и каждого камешка на своем пути, и обугленной палкой на мраморном склоне вывел контуры своей раны, а потом еще провел углем, и еще, и его шрам стал частичкой, крутым изгибом спины неуклюжего прыгуна, рогатого и четырехногого.

Двенадцатилетний отпрянул к стене, радуясь, что его некому видеть. А потом не выдержал и сбежал, бросился прочь оттуда, и все время, пока он бежал, перед ним стояло, точно в отражении, собственное исхудавшее, страшное лицо, которое говорило и спрашивало. Этот человек только что придумал, сам придумал рисовать копии мира на стене, на песке, на листьях. Искусство, которое одиннадцатилетний, как и все его друзья, знал всегда. Возможно ли было в его мире, мире без мечты и надежды, творить понастоящему? «Но ведь ты сам сделал Замок, сложил его стены, точно карточный домик. Или не было этого? И не будет? И не был ли этот час, всего один великий час в скотской жизни этого существа дороже всех лет бессмертия? Даже если завтра он рванет зубами чью-то шею и станет пить пульсирующую кровь, содрогаясь в такт ее толчкам?.. Но у него не будет завтра.» Одиннадцатилетний споткнулся и пошел медленнее, все тише и тише, пока ему не надоело идти. У него не будет завтра. Сегодня вечером он будет лежать, горячий и красный, с беззаботными злыми глазами, а из раненой ноги будет сочиться пожелтевшая кровь. А потом он откроет глаза, и подстилка прогнется под возросшей тяжестью художника...

Одиннадцатилетнему показалось, что теперь он навеки связан с тем неуклюжим чудовищным телом, с той жизнью, нежной и хрупкой. Впрочем, разве его жизнь не стала в последнее время висеть на волоске? Не стала такой же хрупкой?

Одиннадцатилетний не знал еще, что найдется среди людей тот, кто напишет священную книгу, и найдется другой, прочитавший одну, всего одну страницу, кто ослепнет, потому что поймет, что ему больше незачем

видеть. А сколькие тянули руки к иным, более поздним картинам и книгам, сколькие поднимали их, точно щит, в годы напастей... И как же много должен вложить художник в свое творение, чтобы века спустя в нем, расхватанном миллионами губ, вычерпанном миллиардами ладоней и глаз, все еще найти хоть крупицу, которую можно отдать.

«И ты, знаяший потрясающие шедевры, которые здесь никому и не снились, но не умевший ничего создать, то есть создать, как они создают, не ты ли только теперь, только преследуемый Замком, научился видеть, слышать и понимать настоящее, совсем серьезное?»

Ни разу с тех пор одиннадцатилетний не судил людей и не высмеивал. Как он мог их судить, летящих без оглядки, Немвродов и Беллерофонтов, благословляющих небо на крутых башнях и хлипких лесенках из рыбьих хребтов? Мартиロгии их были бесчисленны. И сейчас, в белой темноте Замка, одиннадцатилетний видел их, как живых, тех, кто был, и тех, кого не было, и тех, кого не могло быть. А другие, не сумев прийти, посыпали ему, стоном и шепотом, свои голоса, которые то пищали, то перекатывались в воздухе Замка. Они склонялись над ним, тот, что высек море, и два дряхлых брата, весело восходящие на вершину, чтобы умереть от голода, не отрывая глаз от доступной, только руку протяни, пищи. И чей-то мерзкий голос радовался: «Небо справедливо и не оставит добрых людей». И лотосоподобный властелин с руками цвета грозовой тучи, сгноивший толпы рабов, но догадавшийся провозгласить: «Через две тысячи лет наша вера придет в упадок и империя рухнет!» И те, с судьбою тоньше бумаги, а разумом выше небес, те, кто проводили по тридцать лет в неподвижности и, ничего не делая, все совершили. И пророчицы с безумными глазами. И те, кто ради их сна, мечты, химеры какой-нибудь, срывался с места и уходил в неве-

домые дали, ни разу не усомнившись, не споткнувшись даже, и без трепета вел за собой нестройные колонны тех, кто тоже не любит оглядываться. «Когда конь-дракон стремительно скачет, ему не до жаб, что сидят на дороге!» И неудачливый охотник, кто содрал мясо с собственных ног и накормил друзей, лишь бы скрыть свою неумелость. И тот, кто сварил маленького сына, чтоб дать своему императору отведать человеческой плоти. И император, отправивший слуг искать обитель бессмертных. И трепетная красавица, попросившая у возлюбленного немного неугасимого огня. И черная матерь мира, крикнувшая мужу: «Остановись и уведи потомков в мир жизни! Я же всегда буду уводить их в иной мир!» И смертники в белых одеждах, обязанные петь песни героев. И умирающий вождь, поэт, кричавший под пыткой своему воину: «Не на розах лежу я!» И скжегший руку, и многие, опускавшие руку в кипяток, чтобы поклясться. И те, кто на своих плечах отрывал небо от земли, а потом, день за днем, уходили по одному в сновидения. И царь, велевший превращать ночь в день, чтоб вырвать у судьбы лишние годы жизни. И позади всех, с поникшей головой, нечесаный и грязный, тот, кого убьют, если с кем-то из его рода приключится несчастье. Несущий печаль... Мартиромоги их были бесчисленны.

Они дурманили себя ядами, травились сами и травили других, они придумывали чужды, нелепо-извращенные правила друг для друга и забывали, точно заигравшиеся дети, насколько это понарошку, насколько стоит кому-нибудь очнуться и прокричать: «Это же игра!» — как все установления посыпятся, точно карты на стол. А потом разбивали лбы о свои же собственные выдумки. И между тем жалели друг друга и часто боролись за жизнь друг друга до последнего, пока умирающие тела не тяжелели прямо на руках. И засыпали со счастливыми лицами то ли ангела, который пал, то ли дьявола, который вознесся.

И даже когда одиннадцатилетний не ждал от них ничего хорошего, даже тогда он не уставал понимать, что вечное движение их искупит все смерти и заблуждения, все

уродства и глупость. Такими, только такими мог он видеть людей: тяжелое дыхание и шальные глаза, воспаленные, в складках, лица, розовые лица, серые лица. Они и не знали, как и для чего попали на зыбкий плот, плывущий неизвестно куда. Не знали они и того, что плывут, что затеряны в пустом мире, почти никто не знал. И в мшистой, яшмовой мгле рассвета снились десятилетнему деревья, выдуманные людьми, целая роща деревьев, где переплетались добро и зло, жизнь и познание. Кто, неужели десятилетний, внушил им мечту и сказку о рае? Это ложь, десятилетний не желал ни добра, ни зла, ни познания! И каждый раз он спрашивал себя: а если это правда? Если он очутился здесь, чтобы понять, чтоб, вернувшись, переделать свой мир, дав место будущему и мечтам, позволив своим друзьям знать не все о себе? Неужели он получил судьбу, которой хотел? И каждый раз десятилетний вспоминал, что он забудет эту мысль, как только проснется. Но не ради ли этой мысли Замок изгнал его однажды, в день, когда он решил привести людей под его сень?

Десятилетний еще раз, теперь уже со стороны, видел свою последнюю ночь в Замке. Он видел себя, бредущего спать, измотанного, с вечно обожженными руками. Видел жесткие кудри на простыне и пальцы, сжимавшие подушку. Уже засыпая, он все собирал нужные фразы, чтобы объяснить людям свою судьбу и устройство здешнего мира. Кажется, как раз в тот вечер он отыскал правильные слова. А потом проснулся...

Он проснулся, когда было темно, проснулся в неожиданной тесноте и понял, что его просторная спальня превратилась в каменный мешок, стены которого сдвинулись почти вплотную, а потолок грозил раздавить его грудь. И девятилетний услышал во сне свой собственный безумный визг, от которого выплытели стекла в ставшем недоступном окне. И тогда весь Замок, от подвалов до чердака, стал сжимать-

ся и отпускать, выталкивая беззащитное белое тело вон из спальни, вон из коридора, швыряя из комнаты в комнату. И девятилетний вспоминал тот ужасный миг, когда он не узнал комнат Замка, тех комнат, где провел не одну тысячу лет. Их не было больше! Он открывал двери — и в страхе отскакивал, падал — и подымался в еще большем страхе. Он видел себя в центральном зале, как раз когда пол в Замке дал трещину и девятилетний зашатался и взлетел на бугрящихся обломках до потолка, а потом — обратно, цепляясь за стены, пока чуть не напоролся на рычаг и ухватился за него, как за последнее спасение. И комната под ним провалилась... Чуткая стрелка дрожала в его руках, гнулась, а потом плавно скользнула вниз, вниз, вниз, все быстрее, сквозь залы и подвальные коридоры. Он не думал тогда, что своими руками переводит механизм Замка на самый край, так, что теперь за несколько часов в Замке он всегда будет сбрасывать век, прожитый вне его.

Он сразу разбрисался о крышу Замка и катился по ней, кувыркаясь и раня себя, и все пытаясь встать, чтоб впервые увидеть Замок целиком и сад от ворот до ворот. А затем бежал по саду, бежал с такой силой, что в замерзающих озерах еле успевал увидеть кусочки своего лица, а когда все же сложил их в одну картину, то понял, что стал ребенком.

Теперь восьмилетний смотрел на себя, распростертого на мокрой траве, но уже пришедшего в чувство. Открыв глаза, он узнал и рощу, и пещеры, но Замок исчез. Замка не было, разве что марево еще витало в воздухе, а над веселой лужайкой, над полем, где уже не было Замка, щебетали глупые птицы. Рука восьмилетнего покоялась на гладком черном камне. Камень был теплый, точно живой. Точно пытавшийся что-то сказать...

Он долго гладил камень, узнавая о своих будущих жизнях и восковых манекенах, о прикосновении Замка и его талисмане. Он очень устал, и тело его сделалось на какое-то время жидким и бесчувственным, а глаза перестали видеть свет... А потом он обернулся и понял, что напоследок Замок унес его далеко. Возможно, на другой край Земли...

Сны-кадры, сны-фотографии вновь замелькали с бешеною быстротой, похожие на карты в руках фокусника. Вот он среди новых, чужих людей, и они разговаривают с ним на каком-то другом, не его, языке. Они сами смогли придумать слова, сами! Или — не смогли?

С тех пор начались его жизни, самые жалкие из всех человеческих жизней. Люди неизбежно отталкивали его. Даже мысль оставить в этом мире своего ребенка всякий раз приводила его в ужас. Зато каждый раз, уже второй десяток веков, люди шумно праздновали именно ту ночь, когда он, слепой и одинокий, пробирался к Замку. Единственное, что семилетний смог добиться от них. А вот он в первые столетья изгнания, с гневом и жадностью смотрится в круг и не смеет сделать ни шагу. А сил и смелости с каждым годом остается все меньше, словно он убывал потихоньку, пока мера подлости, его подлости, все возрастала. И шестилетний кричал самому себе: «Трус! Ты просто трус!» — но тут в Замке в четвертый раз звонил колокол, и колокол заглушал его крик.

На Земле было шесть часов утра, когда в Замке в четвертый раз бил колокол, и шестилетний вскочил с черных простишней, и тут Замок вновь поменял цвет. Он проспал, как просыпал каждый раз, и теперь несся по коридорам Замка, молодея все быстрее и быстрей. Неведомое чутье, а может, память, влекло его к выходу. Как всегда, он боялся. Боялся опоздать, не выбраться отсюда, пока еще может идти или ползти. Боялся, что на алмазной дорожке на поле вымороочного Замка останется лежать новорожденный младенец. Дитя, вынутое из материнской утробы. Две маленькие клетки, комочки слизи...

Как всегда, он успел доковылять до ворот, заметил их стрельчатую арку и свежие облака свежего дня и перевалился через порог, слишком высокий для такого малыша. В руках он продолжал сжимать камень, теплый, словно живой. Словно пытающийся что-то сказать.

Белый день

Двухлетний оттолкнулся пухлой рукой от каменных ворот Замка, вытянулся и шагнул прямо вперед. Еще раз. И еще. Это был его собственный выбор, хотя с каждым шагом он еле отрывался от чего-то липкого и цепкого. На последок Замок стал жадным и раздиral его изнутри, не отпуская. И мертвенным стуком отзывались обледки на земле. На каждый шаг. И не верилось, что тонкие кости двухлетнего могли создавать такой звук. Но наконец со-сущая сила отпустила его. Прощаясь, Замок накинул ему на плечи рубашку, и тогда двухлетний обернулся. В белом свете дня Замок все еще казался синим, лишь по краям сгущаясь в фиолетовый цвет. Еще немного — и все его башни, шпили, арки и мосты (сегодня Замок выглядел так, точно его возвели в готической Европе) начали таять, таять, и слились с воздухом, и исчезли совсем. А в другие разы Замок взрывался или схлапывался, точно проколотый мыльный пузырь, и брызгался точно так же. Но что из того! Двухлетний знал, что Замок будет преследовать его, преследовать крадучись, тайком, пока через новые сто лет он не ощутит холодное прикосновение вот этих камней. Где они встретятся в следующий раз? В воде? На льду? В земле? Там, внутри...

И двухлетний, и тень двухлетнего сходили вниз по на-тертой до блеска горной дороге, и сухой стук их шагов был единственным звуком в мире. Двухлетний шел очень прямо, ни на йоту не отклоняясь от середины пути, и это тоже был его собственный выбор. Его единственным спутником был холод, ибо Замок делал так, что в первый и последний день нового века он не чувствовал холода. Ни один врач не нашел бы в его теле помет времени, разве что лицо, уж слишком пугливо озирающееся по сторонам. Разве что глаза, с холодной ненавистью глядящие на мир, который вновь сделался четким. Его память, хранившая тысячи жизней, отмечала беспощадно белый свет и низкое, точно прогнувшееся, небо, давившее его к земле, хотя человек

и стал меньше ростом. Или сейчас время коротких гроз? Или ему уже стало трудно идти? Как быстро...

Двухлетний остановился. Он должен найти, куда спрятать каменный осколок Замка, свой будущий талисман. О, это было совсем не трудно, ведь свет хлестал немилосердно, так, что тонкие облака светились изнутри, и двухлетний видел каждую песчинку, и пыль, и кристаллики льда на дороге.

...Теперь он молодел уже по инерции, он знал, что силы у Замка еще хватит сделать его новорожденным, но не более. И годовалый все шел по обледенелой тропе, и глаза его все хуже видели этот слишком яркий, странно яркий мир. И уже казалось ему, что провисают над ним кукольные, детские облака, те, что обычно отступают при каждом шаге, увлекая с собой марево и горизонт. Сегодня они надвигались на него, издевались над ним, яркие и глупые, конкретные и простые, такие, какая станет совсем скоро его жизнь. Лубочные облака! Близорукие облака! И небо, выпуклое вниз, уже пугало его своей радостной неподвижностью.

Он еще мог идти, когда понял, что теперь его окружает город. Город Черно-Серебряный! Кругом, сколько можно было видеть, потемневшее серебро оплывало с городских стен, да так и застыло. Этот город должен быть добр к нему, ведь Замок не подличал и всегда помогал ему выжить. В этом городе лучше быть мужчиной, раз Замок сделал его мужчиной, и полугодовалый был рад этому. Он уже не мог волочить ноги, такой тяжелой стала голова, но даже на четвереньках в каждом своем шаге он слышал сухой щелчок, слабый треск, словно его легкое тело могло разбивать лед. Но вот силы изменили ему, и он замер на ступеньках какого-то дома. Этот дом станет ему родным, но пока этот дом еще не проснулся, и двухмесячный будет лежать и ждать, и смотреть на серебряные деревья, пока мир не поплынет перед глазами, но даже тогда разум его останется ясным. И только когда брызнет кровь из пуповины и воздух начнет разрывать легкие, он закричит, хотя

крик будет рвать ему грудь, он будет кричать, словно этот крик сможет сделать небо фиолетовым, а облака желтыми и превратить снег в сладкую розовую вату, он будет орать, словно от этого крика дома сами согнутся к земле, чтобы людям, одетым в разноцветные и разноголосые одежды, было легче выскочить на улицу и бежать навстречу, друг к другу... А может, не на ступеньках кричит он уже, а в доме? И кровь заливает его?

Чего же хочет от него Замок? Может, он должен уничтожить людей? Убить людей хотя бы для того, чтобы прекратить заполнять свою память их историей, ведь это невыносимо! Или он должен расшвырять манекенов и проникнуть в центр круга? Потребовать себе иной, блестящей судьбы? В конце концов, в этом невозможном мире даже у Замка должны быть свои законы. Должна быть правда и у чудес. Но хочет ли он вернуться?.. Сколько же можно восхвалять и оправдывать собственную трусость? Среди людей есть те, кто не испугался бы... А если бы им довелось закрыть глаза и очнуться в чужом мире, где все устроено по-другому?

Но что, если у каждого из них — у каждого из нас — есть свой Замок Бессмертия?

1995–1997.

ИЗ РАННИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

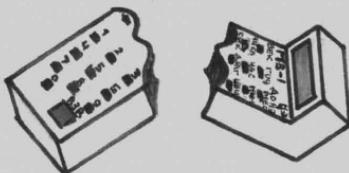
и *и* *и*

ДНЕВНИК ДУХА ВРЕМЕНИ

и *и* *и*

РАСКАЗ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

и *и* *и*



Дневник духа времени. Рассказ-предупреждение. История Любви

... Не нарушайте Основной Закон Времени!
«Этика Духа Времени»¹.

— Господи, да что же это за закон такой?

— Его, как и само Время, нельзя выразить словами, но горе тому, кто не поймет его.

«18.07. 16 часов 00 минут.

Я, дух времени, первый среди духов времени...

О, как долго я ждал, чтобы произнести эти слова! Вот она, моя МВ², лежит передо мной. Стоит протянуть руку — и я коснусь её гладкой стальной поверхности. Как мучительно хочется прикоснуться ко всем её клавишам и рычажкам. Мои пальцы помнят здесь каждую царапину. Тут всё моё, до последнего атома. Мне иногда кажется, что она живая, столько сил я вложил в неё. МВ, МВ, как я мечтал о тебе! Ты снилась мне ещё в детском саду, когда я, на восьмом году жизни, подбивал своих сверстников лететь в прошлое. И я знал, что это навсегда. С шести лет.

И я, кем я был без тебя? Ослепительно-солнечный мальчик, отличник, которому всё легко дается, застенчивый до смущения и такой невообразимо положительный. Аккуратный пионерчик со значком Ленина на пиджачке. Подхалимчик, в меру подленький, в меру трусливенький, растяпа и полный невежда во всех житейских делах. Я всегда улыбался. Думал, что лучше: повеситься или вены вскрыть, а может, под первую машину — и улыбался. Танцевал, мечтая лишь о том, что сейчас кончится музыка, стиснув зубы, молясь о спасении души — улыбался. Слезы сами из глаз текут — улыбался. Кто бы знал... И так весело — девять лет, каждый день, каждый час, и только по ночам — руки за голову, глаза в небо, душно, тяжело, а перед глазами — кро-

¹ Впоследствии уничтожена.

² Машина Времени.

вавые фигуры в хитонах и плацах, сумасшедшие взгляды, знамена на улицах незнакомого города, страшные судьи, и отчаянные подсудимые, и невообразимо больно где-то в груди, там, где сердце.

Это случилось тоже ночью, с 30 на 31 октября. Я лежал, измученный бессонницей, и думал о непонятном и вечном.

Мысль была так проста, почти примитивна, что я сперва не поверил ей. О, в ту первую ночь я летел в пространстве-времени, я ловил губами лунный свет и задыхался от избытка кислорода. Время! Я, блуждавший до сих пор в темном лесу, споткнулся о подножие горы и увидел свой Путь, увидел так ясно, что спокойно сделал первый шаг. В ту ночь я уже знал, как буду шаг за шагом создавать МВ, и впервые фигуры в хитонах и плацах под кровавыми знаменами не тревожили меня. Мой сон был тих и покойен.

МВ, мне кажется, что я влюблен в тебя. Я подарю тебя людям, как бог отдал им своего единородного сына. Я переверну весь мир! Да, теперь человечество преобразится. С МВ мы всемогущи, мы изменим саму историю. Может быть, это звучит высокопарно, но я чувствую в своей душе необъятные силы. Я исполню мою заветную мечту: всех людей, живших когда-то на Земле, мы оживим и позволим им жить вечно и счастливо. Мы победим смерть и станем, как боги, бессмертны! Прощай, тошнотворный и всепоглощающий страх перед вечной тьмой! Мы обретем потерянный рай, и тогда наступит царство Времени, о котором я так мечтал! Кажется, я пишу немного сумбурно, но восторг наполняет меня так, что хочется визжать, кричать, танцевать. Нет, прежде чем отдать тебя людям, я сам побываю во всей Вселенной. Я должен увидеть мои сны наяву. Я изучу каждое мгновение в истории этого голубого шара, который так дорог мне. В конце концов я изобрел МВ, я, а не кто-то другой! Представляю! Я — властелин Времени, в длинном черном плаще, с МВ, как и мечтал в детстве! О, крысы всех времен и народов, мы еще встретимся с вами! МВ, мы начнем «ab ovo»! На сей раз надо понимать это буквально: я начну с космического яйца³.

³ Состояние, в котором находилась Вселенная до взрыва.

В пути!

Около 9 млрд. лет до н.э.

Я есмь бог!

Теперь я каждую запись буду начинать с этой фразы.
Я есмь бог!

Вселенная взорвалась утром, в пятнадцать минут восьмого по моим часам. Я наблюдал ее взрыв из четвертого измерения.

Я есмь бог,

ибо только бог мог видеть то, что видел я! То ускоряя, то замедляя время, я, как дух божий, носился среди звезд и слепнул от взрывов. Меня чуть не спалила раскаленная плазма, но куда ей, трехмерной!

Я есмь бог!

А здесь довольно холодно, хотя под носом у меня взрывается сверхновая.

Я есмь бог!

Я танцевал среди звезд так, что МВ чуть не слетела с меня, а потом вернулся к космическому яйцу и проследил все это сначала!

Я есмь бог!

О, это великолепное зрелище, совершенно безмолвное, страшное и торжественное. Хочется прыгнуть в это пламя и слиться с ним, самому стать светом, энергией, но меня ждут великие дела и великие победы!

Я есмь бог!

Около 3 млрд. лет до н.э., Земля.

Да здравствует жизнь! Вот он, океан жизни, плещется у моих ног! Подумать только: ученые сотни лет бились над твоей загадкой, а теперь она у меня в руках! Я видел рождение Солнца и первые дни Земли, я видел, как пузырились горы, как хлынула на горячий земной шар вода. Но это уже неважно. Сегодня знаменательный день: несколько часов назад я решился-таки выползти из четвертого измерения и погулять по родной планете. В скафандре, ко-

нечно. Я плыл, задыхаясь от жары, плыл вперед, туда, где копошились в грязной жиже, где жили, уже жили мои предки и предки всего человечества. Я чуть не утонул в океане. Слава богу, нашел подходящий островок. Отдыхаю. С не-привычки тут очень красиво, но, честно говоря, жутковато: черное, как в космосе, небо то и дело разрезают разноцветные молнии. Я съёживаюсь, ожидая адского грохота. Но тот слабенький гул, который я в конце концов слышу, — результат скорее внушения, нежели так называемой атмосферы. Иногда кажется, стоит снять скафандр — вдохну полной грудью родной мой земной воздух. Но Земля — это смерть. Как странно! А тут ещё бульон под ногами кипит, и камни лопаются на глазах. Дышать страшно: того и гляди упадешь со скал и пойдешь на корм предкам. Им ведь совесть позволит. Впрочем, совести у них ещё нет, но всё же они живые, уже живые! А Земля подо мной ещё теплая.

Только что чуть не выронил дневник, так ослепила меня гигантская молния. Боже, что только не видела эта тетрадка. Я-то в скафандре...

Пожалуй, хватит на первый раз. Пора в четвертое измерение, это спасительное четвертое измерение, откуда все видно, но ничего не слышно, в котором так уютно и безопасно. Помню, как я боялся впервые попасть в него. Что ни говори, привычка — великолепное дело.

Около 425 млн. лет до н.э., Земля.

Спаси меня, господи! В детстве я обожал купаться, но не до такой же степени! Всё-таки я не водолаз! Не водолаз я! И вообще, я всегда испытывал что-то вроде омерзения от вида тараканов, жуков, гусениц. А тут плывет серо-коричневая бесформенная с длинющими зубами... рыбка раза в три больше меня. Океан, вообще, как большое минное поле. Не знаешь, где таится опасность. Вот эта, розово-фиолетовая (актиния, что ли?). Хотел рассмотреть её поближе. Хорошо, что не успел.

Впрочем, что за чепуху я мелю? Я, единственное разумное существо на планете, боюсь каких-то цветочков! Поду-

мать только — единственное! На всей планете! А может, и во всей Вселенной! Нет, это невозможно представить. Кажется, когда-то я кричал, что я есь бог. Вот что, пожалуй, верно.

А псилофиты мало похожи на пионеров суши. Пионеры должны быть высокими, гордыми, красивыми. А они жмутся к земле, прячась от испепеляющего Солнца. И все-таки жаль, что это не мои предки, а всего лишь какие-нибудь миллиардоюродные прапрапрапра... Я бы с гордостью говорил, что мои невзрачные предки выросли на камнях в аду. Покидая этот мир, я, пожалуй, возьму их с собой на память.

Около 360 млн. лет до н.э., Земля.

Они понемногу выползают на сушу! Процесс, конечно, торжественный, только длинный очень. И вот из чего складывается история! Из робких шажков по раскаленному песку, из первых попыток вдохнуть царапающий горло воздух, выбежать на таинственную и смертельно опасную Землю, чтобы торопливо укрыться в родном океане, спрятаться там навсегда. И пройдут годы, прежде чем новая рыба, сумасшедшая (или гениальная?) среди рыб, повинувшись темному инстинкту, поползет по песку, старательно помогая себе хвостом и плавниками. А я смотрю, и с меня медленно течет пот. Не от сострадания, конечно. Просто жарко до умопомрачения. Впрочем, если ускорить время, всё пойдет гораздо живей, и зрелище будет забавнее.

171 млн. лет до н.э., Гондвана.

Снимать или не снимать скафандр? Вот в чем вопрос. И без него так душно, что деваться некуда. Это с одной стороны. А с другой — чёрт его знает, какая здесь может быть зараза. Условия-то самые подходящие: тепло и сырь.

Тиранозавр топает по колено в воде. Так и хочется назвать его доходягой. Они чем-то похожи на слонов: большие и медлительные. Впрочем, одно зависит от другого.

Жалко, нет с собой «Ботаники». А то я уж всё позабыл: сорусы, споры, заростки. Здешний лес чем-то напоминает джунгли, какие я видел по телевизору. Конечно, одно

дело — видеть, совсем другое — быть. Вернуться бы сюда с телекамерой. Ну разумеется, надо вернуться! Повторить всё ещё раз. Только сначала вызубрю палеонтологию.

47 млн. лет до н.э.. Африка.

Катастрофа ужасная. Земля похожа на гигантское кладбище. Они медленно, точно смертельно раненые, опускаются на землю и бьются в агонии, поднимая на два моих роста пыль. Они смотрели на меня так, словно умоляли о помощи. Неужели что-то понимают? Хотя. Они должны были стать разумными. Вместо нас? Вместе с нами? Толстокожие люди в чешуе с узенькими щелками глаз.

От трупного запаха кружится голова. Но вот какая мысль: я хочу воскресить всех людей. Всех. Людей. Но как найти ту грани, где кончается животное и начинается человек? Как воскресить сына и оставить в мертвых его отца? Выходит, если воскрешать, то всех. И этих, динозавров, тоже. Но тогда нам просто не хватит планеты. Понадобятся тысячи, миллионы Земель... А как отделить живое от неживого? Я не отказываюсь от своей мечты, просто я признаю, что она не была продумана до конца. Ведь это нечестно: самому стать бессмертным. Права на жизнь одинаковы у всех.

4,5 млн. лет до н.э.. Восточная Африка.

Скоро буду приветствовать первых людей. В конце концов это достойная награда за все мои труды: я долго искал своих предков. (Интересно, сколько бы ещё гипотез со-здали антропологи, придумывая промежуточные звенья?) Итак, можно подвести итоги. Первая часть путешествия завершена. Больше всего я боялся одиночества, но оказалось, что это не так уж страшно. Может быть, я ещё не успел в полной мере оценить его прелести. (Кстати, почему я ни разу не встретил своих будущих коллег? Неужели мы постоянно попадали в разные эпохи, разные пространства? Или они обратились в невидимок?)

Карьера естествоиспытателя-самоучки кончена. Теперь моя задача куда сложнее: мне предстоит быть философом

и правителем, спасителем человечества и пророком. А может, и самим господом богом!

Около 2 млн. лет до н.э., Ява.

Огонь — основа человеческой жизни. Научившись применять его, люди сделают гигантский шаг вперед. Так думал я, когда, завернувшись в шкуру, сидел возле их пещеры. От шкуры пахло теплой гнилой кровью и навозом. Но, право, неходить же голым! Тем более я с таким трудом раздобыл её.

Костер горел хорошо, только кончался хворост. А мои предки где-то задерживались. Убыстрять время не хотелось, поэтому я начал изучать их убогое жилище. Между прочим, нашел довольно интересный рисунок: кажется, доисторический мамонт, побитый камнями. Где-то в глубине моей хулиганской души родился соблазн: нацарапать рядом вечное «Здесь был Вася». (Представляю вытянувшиеся физиономии археологов!) Но шутки шутками, а в это время я услышал чей-то дикий испуганный крик. Это было так неожиданно, что я сам чуть не заорал от страха и удивления. Какой-то слишком любопытный ребенок сунул руку в костер...

Меня окружили. Мужчины, женщины, дети. Они ничего не делали со мной, но и не подпускали к себе. Просто стояли и молчали. Я понял: они ждут вожака. Тогда я сел у костра и тоже стал ждать. Какие страшные волосатые лица были. Скорее обезьяны, чем людские. А грубые руки уже скимали камни.

Вожак оказался раза в два выше и толще меня. Он довольно бесцеремонно растолкал своих сородичей и вплотную придинул ко мне лицо. На какое-то мгновение я увидел его мутные глаза. Одна секунда. Когда, как понять этому бесконечно далекому от меня существу, что я пришел к нему с добром? Были только глаза: мои и его. Доверчивые, твердые, мужественные, добрые, умоляющие глаза. Пойми! Ты должен понять!

Он хорошо умел драться. Настолько хорошо, что я чуть не полетел в свой собственный костер. И я струсил. Струсили настолько, что ввязался в драку. С моими-то знаниями!

Впрочем, в любом случае я посмел поднять руку на живое существо, и это ужасно.

Они оставили мне мой идиотский костер и рисунок, нацарапанный рукой неизвестного наивного гения.

Как по-дуряцки вышло. Всё было слишком грубо. Не надо навязывать, не надо применять силу. Говорят, первый блин комом. Мне так удобно произнести эти слова и забыть. А они могут и не вернуться сюда, и племя погибнет. Не слишком ли дорогая цена для веселящегося мальчика? А ведь мне предстоит встреча с таким загадочным и будоражащим душу «допотопным миром».

11 тысяч 660 год до н.э., Атлантида.

Этой пыли — тысячи лет, и небу — тысячи лет. Я отделился от стены и шагнул в прошлое. Воскресшее Солнце обжигало сказочный мир, оживленный мной. Обреченные камни отдавали мне свое тепло. Я шел по ушедшему городу. Шел по ушедшему.

Мертвая атлантка в белом опрокинула кувшин с водой и закричала что-то на неведомом языке. И тут же выскочили, точно из-под земли, смуглые ребятишки в разноцветных хитонах, размахивая самодельными кинжалами, и, как мошкова, закружились у моих ног. Пробежал по улице разодетый в цветные шелка юноша. Неторопливо прошел се-добродорый старик со свитком.

Глухая каменная улица оборвалась. Площадь оглушила своим светом, криками толпы, брызгами цветных фонтанов и великолепием парящей в небе башни из кружевного камня.

Перед окнами моей комнаты бушует зеленое море. А там, за пыльными стенами с обвалившейся голубой плиткой, вдали от городского шума, упруго бьется о черные скалы океан, могильщик этого мира.

Пока привыкаю. Наслаждаюсь экзотикой и до потери пульса учу язык. Планы мои туманны, но одно могу сказать точно: всемирный потоп отменяется.

Потому что я отменил его!

11540 год до н.э.. Гималаи.

Всё кончено. Несколько часов назад на моих руках скончался последний атлант. Я положил его остывшее тело в пещеру и завалил вход камнями. Здесь холодно, а потому он может лежать долго, бесконечно долго. И ещё написал на стене: «Так погибла Атлантида». И повторил на всех языках, какие помню. И выложил из камней там, возле входа, наш православный крест. Пусть знают, что последнего атланта похоронил русский. Да, я юный, хотя боюсь вспоминать об этом. Никогда не думал, как это ужасно: чувствовать, что ты забываешь родной язык. Кажется, всё нормально — вдруг не можешь вспомнить простейшее слово, и в холодном поту просыпаешься ночью, и часами вспоминаешь свою Родину...

Однако, как всё до смешного нелепо. Два года. Только я мог так ошибиться. В тот день я выступал по телевидению со своей Программой Спасения, рассчитанной на два года. А было уже поздно. Юный, известнейший атлантский ученый насмешливо заявил, что ни он, ни его коллеги так и не смогли обнаружить признаков надвигающейся катастрофы. А я хотел доказать этому зазнавшемуся... Хотел доказать... Я говорил очень много и очень долго, но, в общем, мог бы просто показать им МВ. И, чтобы пояснить мою мысль, потеряв всякий рассудок в пылу спора, я сказал, сказал всей Атлантиде, всей Земле одну фразу, которая приснилась мне как-то ночью, с 30 на 31 октября. Я сказал, нет, я прокричал её на весь мир. Но не успел закончить.

Раздался ужасный грохот, будто само небо обрушилось на мир, услышавший то, что нельзя было слышать. Я невольно оглянулся, и увидел гигантскую волну, нависшую над городом, и в то же время почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног. Я понял, что жить оставалось доли секунды.

Наверное, это похоже на предательство, и всё же я не хотел спасти свою шкуру. Всё случилось как-то само собой. Да, я втянул голову в плечи, словно грешник на страшном суде, ожидая молний, землетрясения, огня, воды — чего угодно. Секунда шла за секундой, а ничего не случалось. И тут я заметил, что большие электронные часы в студии встали, а люди

застыли, не дыша, в неестественных позах. Время остановилось. Оно давало мне шанс на спасение. Интересно, за что?

Я бежал по городу, как будто мог не успеть, а видел только стену воды, закрывшую небо, и трещину, идущую через весь остров. Помню, на краю трещины как-то странно стоял человек. Точнее, он не стоял, а уже падал в эту бездну. А выражение лица у него было удивленное. Он просто не успел испугаться.

Конец света лучше всего наблюдать с высоты. Остров медленно, как в учебном фильме, разваливается на части и падает в океан. Вода ползет вверх. Все выше и выше. Наконец, остаются только черные скалы и сошедшее с ума небо. Не ночное, тихое и ласковое, а какое-то зловещее, кровавое. Трагедия продолжалась в темноте, словно природа хотела скрыть следы этого великого преступления.

И ещё одно преимущество: властелин времени не видел и не слышал гибнущих людей! А когда рассвело, я понял, что в живых остались единицы.

Нет и не будет ничего страшнее, чем наш горестный лагерь в горах. Люди умирали один за другим от неизвестной болезни. Впрочем, что тут неизвестного: разве можно выжить, когда умер твой народ, сама Земля твоя!

Так погибла великолепнейшая из мировых цивилизаций. Первая моя эпоха. Первая моя ошибка. Но ведь кто-то остался. И в Америке, и в Азии, и в Африке. Кто-то позабылся о следах допотопного мира. Кто-то, не я! Чудесно!

Однако. Они не могли заметить «признаки надвигающейся катастрофы», потому что этих признаков просто не было? Как всё странно совпало с той моей фразой. Случайно, конечно случайно. Нехорошо совпало.

Я всё же дождусь, когда уйдет вода. Хочу увидеть своими глазами то, что было Атлантидой. А потом пойду по миру. По миру!

5671 год до н.э., Индия.

Два случайных события не могут совпасть. Слишком мала вероятность, настолько мала, что можно считать её

равной нулю. Однако, что же это тогда? Ведь я ничего не сделал, ничего! И какая злая судьба опять оставляет меня жить? Мучиться, потому что совесть моя нечиста! Рухнуло всё, сегодня рухнуло всё из-за нескольких слов. Или это всё же совпадение? Неужели на севере Индии так уж редки землетрясения?

Оставаться здесь больше нельзя: слишком странно получится. Разрушена до основания столица, раджа и слуги, жившие во дворце, погибли, а верховный правитель жив! А жаль, я успел сделать не так уж мало. И сделал бы ещё больше, не усомнился они в ненужности государства... Сложно управлять такой отсталой страной, сложно преодолевать сопротивление всего двора, ежедневно быть в немилости и всё-таки упрямо протаскивать свои идеи. Сколько противно отстаивать своё влияние при дворе, выдавая себя за великого мага и чернокнижника, и пресмыкаться перед глупцом раджой, думающим только об охоте и о любовницах! Доказывать тупым жрецам, что людям нужны не храмы, а больницы и школы, что труд рабов малоэффективен, что бесконечные войны разоряют народ! И всё-таки, неужели я ещё так молод и глуп, что не смог сдержаться, уступить? Надо мне было любой ценой доказать свою правоту: «А вы знаете, кто я на самом деле?» Вот так, социалист-любитель.

Раньше я смеялся над всякими кришнитами, буддистами, шамбалами и обществами девяти. А ведь это не так глупо. Во всяком случае, они философы. И они единственные, кто может помочь.

Так что ухожу, ухожу в монастырь за спасением, ухожу, чтобы обрести душевное равновесие и покой, удалившись от сует и соблазнов мирских. Господи, если ты есть, помоги мне! Не так уж часто я обращаюсь к тебе за помощью.

15 век н.э., Тибет, буддийский монастырь.

Я теперь понял. Не стоит пытаться что-то изменить в этом бренном мире. Не стоит мучиться и тратить нервы, исправляя род людской. Только философ, хладнокровный фило-

соф, стоящий выше всей жизненной суеты, всегда — нет, не смеется, а чуть улыбается — последним. И неважно, во дворце или в лачуге раба, в золоте или в лохмотьях. Душа всё равно выше, она парит **над**. Люди могут убить моё тело, но все равно они — прах и заслуживают презрения. Я теперь буду презирать их. Я — зритель в этом громадном театре, именуемом жизнью. Жаль только, что не знал я этого раньше. Ведь история человечества, в сущности, так забавна.

Сколько же я шел по Китаю, чтобы понять? От деревни к деревне, от монастыря к монастырю. От желтых вод Хуанхэ к белой воде⁴... Как покорный, старательный ученик. Но уж теперь-то всё будет иначе. Во мне больше нет ничего земного, и я спокойно спускаюсь в мир.

27 век до н.э., Египет.

Ещё вчера меднолицые ждали меня, а потом мы смотрели, как умирает небесный бык⁵, чтобы дать жизнь Египту, и чертили дворцы на раскаленном песке. И появился на небе Сириус, которого они зовут Сетом⁶, и мы видели, как поднимается вода в Реке Жизни⁷.

Мы строили пирамиду Хуфу⁸. Мы двигали горы, и на плечах наших на годы останутся шрамы от адских веревок. Чтобы выросли и врезались в камень навеки Вечные Числа. Чтоб осталась миру частичка нашей души, превращенная в пот и в кровь. Но терпеть больше не было сил. Гибли дети Нила, гибли те, кто под звездой Горы⁹ чист ходил. И должна была настать справедливость в Египте — сегодня.

Когда Нил поднялся на поллоктя, я дал знак. Мои отряды снимали охрану и, вооруженные, двигались на сто-

⁴ Беловодье — то же, что и Шамбала (инд. шьям бала — белая вода).

⁵ Здесь: Луна. В Египте новолуние совпадало с началом разлива Нила.

⁶ Сет — бог пустыни и чужеземных стран. Брат и убийца Осириса. Отождествлялся со звездой Сириус. (Когда Сириус впервые появлялся на небе, начинался разлив Нила.)

⁷ Здесь: в Ниле.

⁸ Хуфу — один из вариантов произношения имени Хеопс.

⁹ Гор — бог солнца, покровитель власти фараона, сын Осириса и Исиды.

лицу. А я безучастно отдавал приказы, не заботясь об их исполнении, словно и не решалась судьба дела, которому я посвятил столько лет.

Утром я увидел, что песок дымится от крови, и, кажется, удивился столь бессмысленной жестокости. Я не стал ждать, пока они предложат мне царский престол, глупцы. Я эпикурейски ушел. Туда, откуда шлет знойный ветер Сет¹⁰, ушел, чтобы не вернуться.

Не мне, неумелому, делать историю. Не мне проповедовать свободу, равенство, братство. Сто тысяч лет назад я обменял железо на золото у доверчивых обитателей пещер. Я теперь чудовищно богат, и меня ждет Древний Восток.

7 век до н.э.. Вавилон.

К сожалению, вавилоняне ещё не поняли, какой доход могут принести им туристы, иначе они бы давно организовали экскурсии по своему городу. А теперь мне предстоит гигантская работа: обойти весь Вавилон, этот город с миллионным населением, площадь которого, по самым скромным подсчетам, составляет 484 кв. км. Сегодня я осмотрел наружные стены и ров, а также все ворота, ведущие в город, в том числе и ворота Иштар¹¹ с дорогой процессий¹². Конечно, они производят впечатление. Наверное, все эти быки и сирруши¹³ должны устрашать и обращать в бегство противника, если он всё-таки прорвется в Вавилон. Я святотатственно заночевал в знаменитой Вавилонской башне, в жилище Мардука¹⁴, благо здесь есть всё для роскошного житья. Кроме того, ночью жрецы, кажется, устраивают тут обсерваторию, на которую можно вполне прилично поглядеть. Завтра же я должен осмотреть храм «краеугольного

¹⁰ Считалось, что Сет шлет с юга суховей, который дует 50 дней.

¹¹ Иштар (Астарта) — богиня плодородия и любви, войны и распри. Ворота Иштар — главные (северные) ворота, ведущие в Вавилон.

¹² Дорога, идущая от ворот Иштар и упирающаяся в зиккурат Э-Теменанки.

¹³ Фантастическое существо в Вавилонской мифологии.

¹⁴ Мардук — верховное божество Вавилона.

камня неба и земли»¹⁵, всю башню Э-Теменанки¹⁶, дворец Навуходоносора¹⁷ и сады Семирамиды¹⁸. Конечно, проскочить во дворец — у меня без проблем, но вот напороться там на прислугу или вельмож, честно говоря, никакого желания. Мне уже приходилось изображать из себя Энлиля¹⁹ в городе девственницы²⁰. А вообще в Вавилоне, по моим подсчетам, 1380 различных храмов, святилищ и алтарей. А если сосчитать все дворцы, сады, дома вавилонских богачей, наконец? И как это Кир²¹ в свое время успеет осмотреть Вавилон за один день? Может, это я буду его экскурсоводом?

Сегодня продал ювелиру часть своего золота, так что теперь я при деньгах. Вообще, вавилоняне — хорошие ребята, но жить я, пожалуй, буду все-таки в башне. Это самое безопасное для меня и моих денег место.

Боюсь, что скоро всё смешается в моей бедной голове и я не смогу отличить Экбатаны²² от Ниневии²³, Ур²⁴ от Урука, Сарды²⁵ от Урарту²⁶. Такая уж запутанная вещь этот Древний Восток. Однако, по лестнице поднимаются жрецы. Не хватало ещё, чтобы они увидели меня здесь.

1119 г. до н.э., Крит.

После изнуряющей жары и пыльных бурь Междуречья, после пустынных гор Мидии²⁷ и израильских солнечаков

¹⁵ Храм, во дворе которого находится Вавилонская башня.

¹⁶ То же, что Вавилонская башня.

¹⁷ Навуходоносор — вавилонский царь.

¹⁸ Семирамида — царица Ассирии. Висячие сады в Вавилоне — традиционно сады Семирамиды.

¹⁹ Энлиль — одно из верховных божеств шумеров.

²⁰ Урук, шумерский город.

²¹ Кир — основатель персидского государства, в 539 г. до н.э. завоевал Вавилон.

²² Современный Хамадан, столица Мидии (см. п. 27).

²³ Древняя столица Ассирии, гос-ва на севере современного Ирана.

²⁴ Шумерский город.

²⁵ Древняя столица Лидии, гос-ва на юге современной Турции.

²⁶ Гос-во на территории современной Армении (включая зарубежную).

²⁷ Гос-во на юго-западе современного Ирана.

здесь настоящий рай. Мне нравится Кносс²⁸. Может быть, из-за здешней морской прохлады и легкости. Может быть, потому что я знаю, что недолго осталось жить этому народу, и мне становится чуть-чуть грустно, когда я думаю, что скоро сюда придут дорийцы. Впрочем, зачем обманывать себя? Кносс напоминает мне Атлантиду. В своем роде это последний осколок того мира, единственная нить, связывающая его с нашим временем. Поэтому Крит всегда казался мне немного таинственным. Из так называемых достопримечательностей я осмотрел только дворец Миноса²⁹: больше не смог. Всё, как там, тогда. Сколько же я буду помнить?

Основное мое занятие на Крите — слоняться по кварталам ремесленников и часами глазеть на море. Впрочем, это только правильно: это и есть настоящий Крит, не парадный. Это и есть жизнь, которая почему-то всегда остается в стороне. Великие памятники и великие события затмевают её. Где-то будет ещё у меня такая передышка? Меня ждет Греция, великолепная Греция, загадочная Греция. Впрочем, останется море, а значит, и Атлантида.

Всё-таки не представляю, как я вернусь после всего, что было. Неужели стану чужим среди своих, чужим среди чужих? Я, который всю жизнь хотел быть нормальным, счастливым человеком?

13.09.490 г. до н.э., Афины.

Дарий³⁰ — хороший человек. Персы вообще хорошие люди, я это помню ещё со времен Кира, но, когда на нестройные шеренги афинян поперла эта разноцветная и разноязычная толпа, мне, признаться, стало не по себе. Нет, я, конечно, знал, чем закончится сражение, знал и про знаменитый марафонский пробег, но откуда ж мне помнить, что Мильтиад³¹ нарочно поставил в центр самых плохих воинов, что-

²⁸ Древняя столица Крита.

²⁹ Царь Крита, по преданию, первый законодатель на Крите, создатель могущественной морской державы.

³⁰ Персидский царь, в 500–490 годах воевал с Грецией. (13.09.490 г. до н.э. состоялось Марафонское сражение.)

³¹ Афинский полководец, руководил греческими войсками при Марафоне.

бы ударить потом с флангов? А афиняне радовались, как дети. На агоре³² было такое столпотворение, словно на хорошем восточном базаре. Я поглядел на их хваленную демократию и пошел в гимнасий, из которого меня выгнали за слишком иностранный вид. Но уж в Акрополе-то³³ я побывал, несмотря ни на что, и искупался в Эгейском море.

Да, чуть не забыл, в Дельфах³⁴ я решил спросить у пифии³⁵ о своей судьбе. Мне наболтали какую-то несусветную чушь, кажется, «Опасайтесь своей гордыни, жизнь не так проста, как может показаться с первого взгляда». В общем, как я и думал, много тумана — и ничего конкретного.

А ещё я был на дионисиях³⁶ и в Пирее³⁷. Меня научили танцевать сиртаки³⁸, собирать виноград и с важным видом цитировать Гомера. Их гармония личности, надо сказать, неплохая идея, но всё-таки она не по мне. Абсолютное счастье — это тупик, из которого нет выхода. Да и не сделать абсолютно счастливым даже одного человека, не то что целый народ. Солон³⁹ так и не понял этого.

424 г. до н.э., Олимпия.

Надо сказать, Олимпийские игры представляют из себя довольно захватывающее зрелище. Я видел, как пожилые бородатые греки, солидные отцы городов кричали и прыгали от нетерпения, словно дети, и топали в азарте ногами. А тот, за кого болели сидящие рядом со мной, никак не мог управиться с колесницей. И когда они увидели, как его лошадь шарахнулась от собственной тени, и колесница с грохотом опрокинулась набок, и несчастный возница свалился прямо в пыль и чуть не попал под копыта других лошадей! Они и выли, и рвали на себе волосы, а сидев-

³² Площадь, где происходили народные собрания.

³³ Возвышенная и укрепленная часть города.

³⁴ Греческий город с храмом и оракулом Аполлона.

³⁵ Жрица-прорицательница храма Аполлона в Дельфах.

³⁶ Празднества в честь Диониса, бога виноградарства и виноделия.

³⁷ Греческий город, главный внешнеторговый порт страны.

³⁸ Греческий народный танец.

³⁹ Афинский философ, известный государственный деятель.

шие сзади восторженно обнимались, несмотря на свою со- лидную комплекцию, потому что их возница шел первым! И стадион, или как он там у них называется, ну, в общем, он гудел, словно тысяча отпущенных на каникулы школьников, а я совсем ополоумел от жары, пыли и всеобщего рева и уже не мог понять, кто там у них вышел в победители и стал чемпионом. Вообще, я ношуся, словно гон- чий пес, пытаясь успеть и на кулакный бой, и на конкурс искусств, и на метание копья и посмотреть, как готовятся к соревнованиям греческие спортсмены, и где живут многочисленные болельщики, и как приносят жертвы жрецы. Ну ладно, это потом.

Олимпия — очень красивый город, но это город-музей, ожидающий раз в четыре года. Я бы не хотел постоянно здесь жить и видеть вместо людей статуи олимпийских чемпионов. Посмотрел я и на чудо света⁴⁰. Фидий умел делать скульптуры, что уж тут говорить.

Вот я и добрался до юга Греции. Южнее Элиды⁴¹ только Аргос, Аркадия, ужасно страшная Спарта и порабощенная Мессения⁴². А потом — опять на север, там Эпир, Македония⁴³, царь Филипп⁴⁴ с сыном Александром⁴⁵, и все такое. Можно будет пойти на Олимп⁴⁶, проверить, есть ли там боги, а если есть, то где их нектар и амброзия⁴⁷. А пока лучше всего лечь спать, чтобы завтра со свежими силами месить здешнюю пыль.

424 г. до н.э.. Спарта.

Однако, не так страшен черт, как его малютят. Ужасное спартанское воспитание, о котором мне столько рассказывали, оказалось вполне нормальной жизнью. Во всяком

⁴⁰ Здесь: статуя Зевса Олимпийского работы Фидия, греч. скульптора.

⁴¹ Государство, в котором находилась Олимпия.

⁴² Аргос, Аркадия, Спарта, Мессения — греческие государства.

⁴³ Эпир, Македония — гос-ва на севере Греции.

⁴⁴ Здесь: македонский царь, отец Александра Македонского.

⁴⁵ Здесь: Александр Македонский.

⁴⁶ Гора на севере Греции, где, согласно легендам, жили боги.

⁴⁷ Мифическая пища богов.

случае, они правильно делают, что учат молодежь служить своему телу, своим мускулам и желудку. Ликург⁴⁸ был не так уж глуп. У них не остается времени на лишние и не- нужные мысли, так мучающие их более хилых и вдумчивых сверстников. Да, только они могли в Фермопилах⁴⁹, за несколько часов до верной гибели, спокойно расчесывать волосы⁵⁰, словно и не о чем подумать перед последним боем. Только они могут равнодушно бросить новорожденного со скалы⁵¹, забыв, что это всё-таки человек! Только спартанцы презирают больных и убогих, не думая, что кроме тела существует еще и душа. Тиртей⁵² — вот, пожалуй, единственное исключение.

«Будем мы твердо стоять,
Губы зубами прижав⁵³.»

Здесь — весь смысл их жизни. «Будем мы твердо стоять...» А зачем? Об этом в Лаконике⁵⁴ не задумываются.

Ещё я успел погулять по Мессении⁵⁵. Там помнят, помнят о былой свободе. И Эвфая помнят, и Аристодема⁵⁶, отдавшего дочь свою в жертву за свободу Мессении. И Аристомена⁵⁷, и предателя Аристократа⁵⁸, и 10 лет, проведенных на Эире⁵⁹, и трагос, напившуюся из Неда⁶⁰, здесь не забыли. И как уходили мессенцы из последней своей крепости, когда даже

⁴⁸ Основатель спартанского государства, первый законодатель в Спарте.

⁴⁹ Горный перешеек; в 480 г. 300 спартанцев во главе с царем Леонидом погибли там в неравном бою с персами.

⁵⁰ Спартанский обычай.

⁵¹ В Спарте слабых и уродливых младенцев сбрасывали со скалы.

⁵² Поэт, посланный афинянами в Спарту вместо военной помощи. Его военно-патриотические песни были очень популярны; хром от природы.

⁵³ Из стихотворения Тиртейя.

⁵⁴ То же, что и Спарта.

⁵⁵ Мессения была завоевана Спартой в VIII–VII веках до н.э.

⁵⁶ Мессенские цари, воевавшие со спартанцами.

⁵⁷ Возглавил восстание в Мессении в VII веке.

⁵⁸ Царь Аркадии, воевавшей на стороне Мессении, подкуплен спартанцами.

⁵⁹ Гора, на которой скрывались мессенцы.

⁶⁰ По предсказанию пифии, Мессения должна была пасть, когда «трагос напьется из Неда».

спартанцы опустили копья и расступились. В Мессении жаждут мести, и зря Павсаний⁶¹ писал о 3 мессенских войнах, там идет вечная, непрерывная война. Ведь если не похищены талисманы, Мессения станет свободной⁶²! Они так верят.

Завтра я плыву на Родос, оттуда — в Ионику⁶³, а потом снова на север, чтобы попасть в армию Александра. Придется, нарушив заповеди, взяться за меч.

2.10.331 г. до н.э., Гавгамелы⁶⁴.

Наконец-то пробился к Александру и говорил с ним. К сожалению, не смог сделать запись. И всё-таки он вспомнит, хоть перед смертью, но вспомнит, как я, глядя в его светлые надменные глаза завоевателя, прервал страстный монолог о покорении мира одним кратким словом: «Зачем?»

— Зачем? Но я завоюю весь мир!

— Зачем тебе весь мир, Александр?

Конечно, я бы был некстати. Послестолье ослепительной победы трудно разочаровываться, трудно сомневаться: «А нужно ли все это мне? Зачем я гоню людей на Восток? Куда?» Но сколь противны вояки! Честное слово, больно было видеть, как гибнут древние города, как бесстыдно грабят народ, как на глазах наглеет Александр. Он уже сын Зевса! Осталось только объявить себя верховным божеством! Аристотель⁶⁵, почему же ты учил своего ученика? И ведь империя всё равно лопнет и расползется по швам сразу после его смерти. И возле неостывшего тела жадно будут делить добычу полководцы, тоже мечтающие завоевать весь мир. Я уж не сказал ему. Всё-таки это его день, пусть будет он счастлив.

Странные люди. Что им нужно? Богатство, слава? Но кто они — глупцы, привлеченные обманчивым блеском? Какое-то массовое увлечение войной, словно красивой иг-

⁶¹ Греческий историк.

⁶² По преданию, Аристомен спрятал в горах священные таблички.

⁶³ Здесь: греческие колонии на островах и в Малой Азии.

⁶⁴ Селение в Месопотамии. 1.10.331 г. до н.э. войска Македонского разгромили здесь армию персидского царя Дария III Кодомана.

⁶⁵ Греческий философ, был учителем Александра Македонского.

рушкой. А война — просто кровь и жестокость.

252 г. до н.э., Александрия.

Я решил составить каталоги Александрийской библиотеки и теперь сижу здесь, как проклятый, все дни. Одно хорошо: тут собирается довольно интересное и очень дружное общество таких же бескорыстных жрецов науки. Очень забавно слушать их наивные споры, если, конечно, дело не доходит до драки. А когда диспут переходит в кулачный бой, приходится бросать всё и разнимать этих взрослых детей. Я завидую им: они не скованы громадой предыдущих научных открытий и могут дюжинами творить свои «мировые законы», в которых физика и химия больше похожи на философию. Я, кажется, приобрел немалое влияние в их обществе и уже был приглашен на обед. Интересно, под каким именем я войду в историю? Ведь я упорно молчу в ответ на многочисленные расспросы о родине.

Александрия — не Вавилон, и мне хватило нескольких дней, чтобы обойти её широкие прямые улицы. Съездил на Фарос⁶⁶, посмотрел маяк⁶⁷, сделал некоторые чертежи. Закончу, когда разделяюсь с библиотекой.

Что-то меня ждет в Риме? Во всяком случае, здесь ещё можно будет понаблюдать «великую и трагическую любовь Антония и Клеопатры».

Но как же не хочется снова менять пергамент философа на солдатский меч!

16.01.52 г. до н.э. (702 год от основания Рима), Рим.

Итак, я остался среди крови и факелов, среди бесконечных оргий и всеобщего похмельного скотства дерзких квиритов⁶⁸. Я подтвердил право смотреть бесстрастно-холодными глазами, право судить всех и вся, словно подполь-

⁶⁶ Остров в Средиземном море, возле Александрии.

⁶⁷ Здесь:alexandрийский маяк, расположенный на Фаросе, 7-е чудо света.

⁶⁸ Римские граждане.

⁶⁹ Марк Порций Катон Младший Утический — римский общественный деятель. Известен своей справедливостью. Пользовался уважением.

ный Катон⁶⁹.

Ихватит. В ближайшее время вступаю в армию — и прощай, Рим! После убийства Клодия Пульхра⁷⁰ я всё равно остаюсь здесь без дела. Время заговоров и народных восстаний уходит, и мне пора быть ближе к вершине, где замышляется конец республики. Однако, зрелище обещает быть интересным, вернее — забавным. Так что меч в руки и — *ave, Caesar, morituri te salutant!*⁷¹!

8.04.46 г. до н.э. (709 год от основания Рима). Утика⁷².

Я ещё в Утике, вместе с солдатами. Трагедия кончена. Что ещё? Убийство Цезаря⁷³, война, смерть Брута⁷⁴, смерть Антония⁷⁵, смерть Цицерона⁷⁶ — и не останется никого. Ни одного человека, которого знали бы лет 10 назад в Риме. Сколько крови, и ради чего?

Я под впечатлением смерти Катона. Странные люди римляне. Что им надо? *Pereat mundus et fiat justitia*⁷⁷? Закоченевшие в суровости тени с остекленевшим взглядом. Однако, мне нравится их надменная холодность и идеальность. Может быть, им сложнее, но это красиво.

До чего ужасно самоубийство. Что за мысль жгла его, не давая впасть в забытьё, что за философия двигала им, заставляя вспарывать свежие швы и, задыхаясь, рвать свое тело на части? Какое нежелание жить, какая презрительная угрюмость? Нет, я, дезертир, не убивший ещё ни одного человека, так бы не смог. Да и жизнь, как бы ужасна она ни

⁷⁰ Клодий (Клавдий) Пульхр — народный трибун 58 г. до н.э. Пользовался популярностью у бедноты, организовывал банды из римских нищих. Убит 13.01.52 г. до н.э.

⁷¹ Слава, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)

⁷² Утика — город к с.-з. от Карфагена. 8.04.46 г. до н.э. захвачен Цезарем.

⁷³ Полководец, с 49 г. до н.э. — римский диктатор. Убит в марте 44 г. до н.э.

⁷⁴ Племянник Катона, республиканец, внебрачный сын (?) и убийца Цезаря.

⁷⁵ Полководец, в войне с Октавианом, внучатым племянником Цезаря, потерпел поражение и покончил жизнь самоубийством (31 г. до н.э.).

⁷⁶ Оратор, политический деятель и писатель. За выступления против Цезаря был казнен.

⁷⁷ Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие! (лат.)

была, остается жизнью. Какая идея, какой холод заставит лишить себя высшего блага? Себя! Мне никогда не понять этой добровольности. Говорят, что самоубийцы — сумасшедшие. А этого даже современники называли богом.

Впрочем, через несколько дней мы с триумфом вступим в Рим, и я даже не вспомню, какое растерянное лицо было у Цезаря, у тщеславного щеголя Цезаря. И что такое Рим? В сущности, лишь эпизод, лишь пример государства с развитым рабовладением. И волнует меня в данный момент не агония Римской республики, а маленький участок земли, именуемый Палестиной. Где-то там, в рыбакских хижинах и дворцах фарисеев, в ессеистских⁷⁸ пустынях и кабачках мытарей⁷⁹ подспудно рождается и бродит, будоража умы, невидимый мессия, которого потомки назовут Христом.

25 год н.э.. Палестина.

Я познакомился с Христом. Надо сказать, очень приятный молодой человек. В нем есть что-то неистовое, фанатичное, но неужели он верит в свою святость? Взгляды его прекрасны в своей наивности. Он видит только души, которые надо исцелять, забывая, что человек живет в обществе и исправлять надо именно общество, социум, а не отдельных людей. И всё-таки я чувствую к нему нечто вроде симпатии. Я знаю, бывает любовь с первого взгляда, но ведь дружба — тоже страсть... Надо познакомиться с ним получше.

33 год н.э.. Иудея⁸⁰

Что творится с Иисусом? Иногда он бывает совершенно невыносим. Он стал заносчив, нетерпим к шуткам и малейшим сомнениям в своей непогрешимости. Но язык не поворачивается упрекнуть его за это. Он — не от хорошей жизни. Я же вижу его пустеющие глаза, чувствуя, что часто только железная воля удерживает его от истерики. А мы пирамилем с весельчаками апостолами и издеваемся над фарисеями. Да, мы привыкли, что он всегда всех поймет, всегда

⁷⁸ Фарисеи, ессеи — различные иудейские секты.

⁷⁹ Сборщики податей.

⁸⁰ Область Палестины. В состав Иудеи входит Иерусалим.

утешит, поможет, спасет, и забываем, что Иисусу тоже может быть плохо. Если бы я мог сделать хоть что-нибудь. Но кем надо быть, чтобы помочь Богу? Чем чаще преследуют его неудачи, тем настойчивей хочет он знать будущее. Наверное, только уважение ко мне мешает ему применить силу. А ведь поставь нас рядом — я окажусь раза в два моложе! Но Иисус помнит мой истинный возраст и боится этого. Как защитить его от глупцов и грубиянов, примазавшихся к чужой святости? Друг мой, я не спасу тебя от распятия, и я знаю это! И, улыбаясь, иду с тобой в Иерусалим!

33 год н.э.. Иерусалим.

Иисуса распяли. Как мне рассказать про это? Смерть на кресте — одна из самых мучительных, потому что страдания делятся бесконечно долго.

Сейчас, когда во мне ещё пыль Голгофы, я помню. Но как помнить вечно — бессмертному? Сколько жизней я прожил? Сто? Тысячу? Как бы не потерять себя в этой путанице эпох. Сколько языков я выучил? Сколько видел людей? И вот наступает предел. Я забываю все, все! Скоро я не смогу вспомнить свое настоящое имя. А, старческий маразм, не иначе! Но вот — эта гладкая кожа, эти не успевшие поседеть волосы, эти сильные руки. Молодость моя и здоровье! Неужели внутри — труха? Все исчезает, проваливаясь куда-то. И скоро полетит в эту пропасть — Иисус?

Где ты сейчас, мессия-назорей? Куда несет тебя неугомонная твоя душа? Не бойся, я никому не открою твоей тайны. И никто не узнает, что был у тебя друг из XX века, твой самый близкий друг. Я обещал.

Но что же ты сделал не так, если хрустальные мысли твои обернутся бедой, и за кровь твою будут платить в тысячекратном размере? Где ты упустил своих учеников?

А может, здесь доля моей вины? Злой гений, несущий смерть и разрушение, сломал твою жизнь? Но ведь я ещё в арамейском путался с непривычки, когда твои апостолы надрывали глотки по всей Галилее! И все же твой друг защитит тебя, сколько позволит его подлая, трусливая душа

и его жестокое Время. Ты слышишь меня, Иисус?

Ты сейчас далеко. И в пространстве, и во времени. А я должен жить. Должен подавить в себе это странное чувство, которое не дает мне спать по ночам. Я в чем-то виноват, хотя сам не знаю, в чем. И оставаться мне одному. Совсем одному, Иисус!

80 год. Сирия.

Он шептал что-то о логосе и смотрел поверх меня в некую неведомую простым смертным точку. Я был не Мессия и не Предтеча, а потому не интересовал его.

Угрюмый великий отшельник, из нравственной глубины своей созидающей Вечную Книгу. Мой бедный друг Иисус, здесь есть и твои страстные проповеди, но нет тебя, беспокойного, неистового, нервного, больного, фанатичного, изломанного и столь дорогого мне.

Я не стал говорить ему об инквизиции. Зачем?

Люблю евангелистов. Они чем-то похожи на меня, то есть не на меня, а на того школьника, который по ночам искал путь в непокорное Время. Я тоже мечтал о тихом жилище в лесу, где нет ничего лишнего, никакой суэты. Только я и мое дело. Да еще пташки небесные.

Неужели всегда благими намерениями вымощена дорога в ад? Я хотел сказать, неужели и мои благие намерения... Впрочем, у меня в запасе есть время. Много, бесконечно много времени.

§ 622 г.. Мекка. Ясриб⁸¹.

Магомет умен и хитер. В нем нет обнаженной беззащитности и внутренней смуты того, другого, которого он считает своим предшественником. Иисус — тот юродивый был, потому что кожа у него была содрана, чтобы остreee чувствовать чужую боль. Магомет старше. О, он умеет действовать, но что ведет его, влекущего за собой миллионы? Вначале был сон. Видение или мечта? Вера в свою богоизбранность? Собрать всех под знамена аллаха, чтобы

⁸¹Город в Саудовской Аравии (со временем Магомета — Медина). В сентябре 622 года Магомет бежал из Мекки в Ясриб, спасаясь от врагов.

объединить людей хотя бы общей слепой верой; защитить обиженных и несчастных. Ах, если бы не джихад⁸²!

Два пророка — какие разные. А результат — один. Мухаммед был последним в современной истории. Да, да! И я могу сколько угодно сжимать в ладонях песок, пока от жажды не поплынет все перед глазами, но мир не станет таким, каким был шесть веков назад, и арабы не превратятся в евреев!

Но это чужая религия! Прости меня, Мухаммед. Я сделал, что мог, я нашел для тебя Ясриб, я помог тебе скрыться из Мекки, но я — неверный! И, хочешь ты или нет, я растворюсь в песках Аравии, как только ты ступишь на землю Медины. Ты и без меня знаешь, что делать, верящий своим снам. Пусть мутнеют твои глаза всякий раз, когда ты хочешь изречь Истину. У тебя это хорошо получается.

А мне одна дорога, одно спасение: на север, где земля белая-белая, и деревья белые, и от мороза болит лицо, и так всё знакомо до слез, такое все русское, что хочется упасть на родную землю и целовать её, чтобы приняла она блудного своего сына.

У меня была Родина.

Зима 1238 года. Рязань.

Сожженная церковь угрюмым уродом торчит в снегу, среди пустых гулких стен — темный, словно спрятанный от врагов Христос с зияющими глазами, и только колокол не хочет смириться, потому что надтреснуто звенит, и его похоронный звон требует мести. Только колокол кует из горя — ненависть, чтобы израненное сердце, покрывшись коркой, уже не ведало жалости, ибо снег — красный, а небо — черное, и горит измученная Русь, и нарождается сейчас то русское, рабское, что сделает её совершенно особой землей, в которой только юродивые властвуют и говорят правду. Когда человек остался один, разорен, невольник — только вспомнить, что жизнь есть страдание и надо идти.

Русоголовые дети! Мальчик и девочка бегали тут. Как они звонко смеялись! Как хлестала из переломленной шеи

⁸² Борьба за веру (во времена Магомета — война с неверными).

кровь, забрызгивая белую рубашку и удивленные голубые глаза! А озверевшие всадники гнали своих коней дальше. Чужие кони разорвали Россию пополам. То — было, то — будет. А посреди — огонь.

Я ждал, когда почернеет небо над Рязанью. Я знал, раздавленный своим знанием. Я считал. Богатырского вида парни выбегают из бани на мороз; женщины, смеясь, идут к проруби за водой; мальчишки катаются на санках — а войско Батыя растет, как черная туча, а войско Батыя все ближе! Последние дни старой Руси. Мне словно открылась беспощадная правда Гамаюна⁸³: смерть, глад, трус⁸⁴, огонь, неволя — и кровь, кровь, кровь!

Я знаю Евпатия Коловрата⁸⁵. Он — из тех, кого позвал колокол, и я иду за ним, потому что на мне тоже запеклась русская кровь! Я умею не только плакать.

1456 год. Испания.

Костры, костры полыхают по всей Европе, и нечто ужасное вершится под скрежет ржавого железа в мрачных подвалах, где властвует святая инквизиция. Горестно, сердечно смотрят они, как медленно рвется кожа и дробятся такие острые красные кости у измученного, ослепшего, обезумевшего человека. Кто завещал вам это? Что вы прячетесь за спиной своего бога? Что вы умиляетесь, говоря о его пробитых руках и ране в боку, словно в Голгофе все дело? А знаете, что самое страшное в так называемом аутодафе⁸⁶? Не смерть, нет, ожидание смерти, ожидание адских мук. Что думают эти жалкие полулюди, прячущиеся в санбенито⁸⁷, когда с каждым шагом приближаются к смерти, когда небольшие отсрочки лишь усиливают их муки? И остается только надежда на чудо, надежда, которая исчезнет с первыми языками пламени. А добродетельные

⁸³ Мифическая птица с человеческим лицом, предсказывающая будущее.

⁸⁴ Здесь: землетрясение.

⁸⁵ Рязанский боярин, воевавший с войсками Батыя. Убит в бою.

⁸⁶ Оглашение и исполнение приговора инквизиции, обычно — сожжение.

⁸⁷ Особая одежда, в которую одевали еретиков.

женщины, ведущие на аутодафе своих детей? А благона-меренные, законопослушные горожане? Они словно не понимали, что сейчас будет предана мучительной смерти живая человеческая плоть, наделенная бессмертным, божественным духом.

Костер — это легче. Уходит напряжение, и ты отупевшими глазами смотришь на горящее мясо, на обугленные останки того, что ещё недавно было человеком. Огонь — это очень больно. Но остается пепел, и вместе с ним — отупевшее, слепое, темное чувство усталости на пустой площади...

А потом я зашел в церковь. Там огорченно и устало взглянул на меня мой друг. Там светлая прозрачная музыка звала ввысь, под своды величавого купола, подпирающего собой небо. И хотелось долго, долго плакать от чистого, высшего, печального нечто, называемого душой. И уйти умиротворенным, тихим и добрым, словно новорожденный младенец. Пусть с толчками упрямых рывков по капле уходит злоба. Может, когда-нибудь и я смогу улыбнуться так просто и естественно, как этот все знающий и все понимающий Христос, как эта музыка, эти иконы.

Стоп! Ты же помнишь мятежного мальчика, рыдающего в истерике у твоих ног. Ты, как никто, знаешь его гордый и чувствительный дух, так нелепо скрытый под гневной прозрительностью мессии. Все, что было наносного, чужого, случайного, прилипло к нему навсегда. Так захотели люди.

Мой друг — истина. Но разве не истина эта музыка, эти картины, это пение? А слезы, тихо текущие по отвердевшим людским щекам? Разве они не истина? Словно и не корчились обгоревшие трупы, не лилась кровь...

Так как же соединить несоединимое?

1480 год. Тауантинсуйу⁸⁸.

Я в Новом Свете, неизвестном и таинственном. Все, все это будет уничтожено, и европейцам никогда не узнать, что же было здесь до их прихода, что за тайны кроются на индейской земле. Тут словно иная планета, настолько отор-

⁸⁸ Государство инков, существовавшее в XV веке.

вано все от того, чем я жил, что видел, что знал. Настолько все фантастично и ирреально. Странный свет, пришедший из бездны и уходящий в нее.

Дорога в горах должна привести меня в столицу. Сейчас, на головокружительной высоте, становится страшно за этот народ, живущий между бескрайним океаном и непроходимыми амазонскими дебрями. И как живут! Презирая золото и не зная воровства, любя только горы, озера и бесстрашных кондоров. Так странно все это. Так неподожде даже на неизвестно откуда взявшиеся, воистину вселенские знания майя, что живут на полуострове Юкатан.

Пройти всю Америку и не натрудить ног. Всю Америку, от Аляски до Огненной Земли. Хватит ли меня на великий сей путь? Но я увижу Южный Крест⁸⁹, и узенький пролив, знаменитый своими штормами⁹⁰, и вулканы. И откроются мне сверкающие льды Антарктиды!

11.10.1492 года. Атлантический океан.

Завтра наивный мальчик закричит, взбудоражив всю команду, дьявольское: «Земля! Земля! Я вижу Землю!» И пойдут слуги желтого дьявола, дрожа от алчности, обагрять руки кровью, чтобы уладить своего повелителя. Вот он! Плотоядно улыбается, утирая обагренные кровью губы, и манит своим блеском, завлекая в золотой плен все новые души. Забыта радость первооткрывателя, забыта Тайна, светившая кораблю. А я не побегу вместе со всеми, не отдамся во власть пороку. Ничего, ничего, вы, пьяницы и картежники, кичащиеся своей примитивной правильностью и нормальностью, все хорошо, это у меня, знаете, так, просто крыша съехала чуть-чуть, сдвиг по фазе, знаете. А впрочем, вам не понять, как не понять обезьянне, что нужно её голокожим собратьям. Ну ладно, ладно, я тут быстременько, вот только повешусь, или отравлюсь, или в море прыгну, а вы ничего, не думайте. Вы смеётесь, смеётесь. Вы грабьте, убивайте, насилийте. Хорошо, да? Да?

⁸⁹Созвездие Южного полушария.

⁹⁰Имеется в виду Магелланов пролив.

1565 год. Цюрих.

В городе чума. Смерть подстерегает на каждом шагу, витает в воздухе, таится в земле, в стенах дома. Смерть — в складках моей одежды, на кончиках моих пальцев, в воде, которую я сейчас пью. Страшно открывать дневник: зараза может остаться в нем и послужить причиной смерти десятков людей. Не снимаю смолянную маску ни днем, ни ночью, ежедневно принимаю стрептомицин и кормлю им больных и врачей. Они смеются (кто ещё может смеяться). Как всё действует на нервы: колокольный звон, черные флаги, по-гребальные процесии с факелами, костры на площадях, юродивые. По ночам снится черная дама, протягивающая ко мне руки. Коснешься её — всё.

Однако в этом всеобщем страхе есть что-то притягивающее. Своеобразное упоение Смертью. Удовольствие бояться и побеждать боязнь. Когда появляется первый больной и первый черный флаг, люди не верят. Откуда? За что? А может, если обходить как следует дом, пронесет? Почему я должен (должна) заболеть? Ведь не все же болеют! Но куда бежать? Завтра узнаешь о втором, третьем, четвертом больном. Неизвестно откуда достаются черные флаги и смоляные маски, ждавшие где-то в пыли своего часа, а ты все ещё думаешь: «Пройдет мимо. Мимо! Боже, прошу тебя, мимо!» Но вот флаги уже на твоей улице, вот болен твой сосед, ещё вчера жизнерадостный здоровяк. И ты подчиняешься общему страху, ты уже не надеешься на спасение, ты уже никто и ничто, жалкий раб в царстве Чумы. И вот тогда возвращается драгоценный покой. Зараза и смерть — это что-то обыденное, как будни. Что ж, может быть, ты и останешься.

Стиснув зубы, подхожу к больным. Ужасно хочется отгородиться надежной, непроницаемой стеной. Хочется жить.

Погребальная процессия у моего дома. Холщовые плащи зовут меня. И если у меня начнется жар... Так долго искаль, чтобы умереть так глупо, так случайно? А впрочем, не все ли равно? В первобытный хаос — словно головой в омут! И да здравствует смерть! Да здравствует страх!

1567 год. Германия.

Я заделался вагантом⁹¹. Променял свободу свою на пахнущую мышами и нафталином университетскую кафедру. Не только на неё, конечно. Так странно тревожит память эта почти мальчишеская любознательность, почти открытия на почти научном поприще. И дело не в мистической связи философского камня с космосом, землей и душой человека, хотя и в ней тоже. Тут особая атмосфера тайны, как настойчиво-тревожное в том же «Гаудеамусе»⁹²: «*Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere?*»⁹³ Здесь что-то Фаустовское, и я ищу в темноте насмешливый профиль Мефисто. А балагуры-студенты не знают и не хотят знать ничего этого, они часами торчат под окнами своих возлюбленных и нещадно пропиваются деньги в ближайшем кабаке. «*Juvenes dum — sumus!*»⁹⁴ Но что вспомнят они о жизни своей, когда настанет их смертный час? А что вспомню я? Насколько было все пусто, глупо и скучно. Если бы увидеть цель...

Надо затаиться пока в каком-нибудь укромном уголке, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства, собрать по осколкам то, что ещё осталось. И почти монастырские кельи эти подходят мне как нельзя лучше.

Март 1574 года, на пути к Лейдену⁹⁵.

Революция начиналась с фантастических грез Мора⁹⁶ и мужества Кампанеллы⁹⁷, с остроумия Эразма⁹⁸ и туманных идей Мюнцера⁹⁹. Это ещё пробуждение, ещё робкое

⁹¹ Вагант — бродячий студент.

⁹² Студенческий гимн.

⁹³ «Где все те, кто прежде нас жили в этом мире?» (лат.)

⁹⁴ «Пока молоды — берите!» (лат.: из «Гаудеамуса»)

⁹⁵ Во времена войны за независимость Голландии испанские войска осадили Лейден. Взорвав плотину, морские гёзы пришли на помощь.

⁹⁶ Канцлер Англии, писатель, автор «Утопии».

⁹⁷ Философ, социалист, монах-доминиканец, автор «Города Солнца». Около 27 лет провел в тюрьмах инквизиции.

⁹⁸ Нидерландский ученый и писатель Эразм Роттердамский, автор «Похвалы глупости».

⁹⁹ Деятель германской реформации.

дыхание нового времени, но скоро это новое сметет все, стеснявшее и угнетавшее его, заставит дрожать весь мир и властно поведет за собой. Идеи социализма — сама гуманность, сама совесть, вечная мечта человечества! Да, да! Попытка оторвать людей, тупых и жестоких в младенчестве своем, от их примитивных блестящих игрушек, освободить людей от власти золота и религии, уничтожить навек всё алчное, рабское, полуживотное! Сколь велика надежда сия. Да, чужая Мечта какое-то время влекла детей за собой, но вот — мимолетная неудача, каприс, и, вместо того чтобы признать свою ограниченность и несовершенство, неправильной объявили Идею. И все-таки я дождался! «Призрак бродит по Европе!» Скоро наденем красные колпаки¹⁰⁰! Будет все: и казненные короли, и великие мысли, и беснующаяся толпа, и неотвратимая поступь истории. И сейчас, когда воздух снова пахнет смолой и солью, когда палуба уходит из-под ног, а корабль бесстрашно мчится навстречу испанцам, я приветствую первую буржуазную революцию, я приветствую гезов! Я самую малость духовнее и мудрее, но смотрите? Я же красный, красный насквозь! У меня еще есть и силы, и знания, чтобы очертить голову ринуться в эту великолепную заваруху и помочь бывшим рабам перевернуть мир.

Начало XVIII века, Россия.

«Петр» означает камень. И воистину надо быть камнем, чтобы выдержать сопротивление всей русской лени и косности. Они, эти боярские сынки, эти дворянчики, считают себя высшими и тонкими существами, неспособными опуститься до низменной практичности. Они не умеют ничего **делать**, так и живут, словно капризные экзотические растения. Они воротят нос от нашей грубости и жесткости, от нашей силы и трезвого рационализма. Да, кто-то нежится на пуховой перине, а мы тут в поту, в крови, словно проблесканные, потому и пахнет от нас порохом, и руки наши в мозолях. Мы не спим по трое суток и не слезаем с лошадей,

¹⁰⁰ Символ якобинцев.

мы рвем с церквей колокола и льем из них пушки, режем кафтаны и бреем бороды, шлем в Голландию корабли.

Я только недавно вернулся в Москву из Архангельска, а завтра уезжаю в Петербург. Я был там один против воров-приказчиков! Дела на верфи шли так скверно, что я сам, сам взял в руки топор! Каким бы унизительным сочли это наши бояре! А я навел там порядок. Теперь спешу на военные учения, а потом, скорее всего, уеду на Урал вместе с Демидовым...

Я знаю, знаю, и жестоко было, и голодно, и мрут у нас люди, как мухи. Но они будут жить потом, лет через триста! Я обещаю это. А сейчас у меня просто нет времени на столь пустые и бесполезные чувствования. Надо делать дело, а не рыдать.

29 июля (11 термидора) 1794 года, Париж¹⁰¹.

На Сент-Гревской площади было холодно. Может быть, я замерз, потому что слишком легко оделся.

Когда их вели к месту казни, люди на площади свистели и улюлюкали. Летели красные колпаки. А мне казалось, что там гробовая тишина. В последнюю минуту Робеспьер¹⁰² взглянул на толпу. Я встретился с ним взглядом. Он посмотрел на меня устало и раздраженно и отвернулся. Я прошептал: «До свидания, Максимилиан». Кажется, он узнал меня. Он что-то понял?

Нет ничего омерзительней гильотины. После той казни я уставился в землю, словно искал там путь в ад, потому что боялся встретить ещё чьи-нибудь глаза. Я слышал только крики.

Их хоронили, как собак. Толпа разошлась, я один остался на площади. На сей раз не хотел пользоваться четвертым измерением. **Они** не могли им воспользоваться. Но я прятался там, на месте похорон, пока не ушел последний. А потом положил на свежие могилы цветы.

¹⁰¹ 28.07.1794 было свергнуто якобинское правительство и казнены робеспьевисты.

¹⁰² Максимилиан Робеспьер — один из руководителей якобинцев, практически возглавивший в 1793–1794 гг. якобинское правительство.

Бедные чудовища. Беззащитный тиран, благословивший своих убийц на празднике Верховного существа¹⁰³. Так недавно. И ещё было. Легкая улыбка, грустный застывший взгляд, мимолетное рукопожатие. «Когда цель будет достигнута.» Когда? Кто? Элеонора¹⁰⁴, Анриетта¹⁰⁵? Не помню.

Я, французский гражданин, член якобинского клуба, победитель Бастилии¹⁰⁶, член секции¹⁰⁷ Кенз-Вен, волонтер¹⁰⁸ и прочая, и прочая, и прочая... Я плакал. Когда навеки проглинают люди, кто-то должен плакать. Хотя бы камни.

Даже Капету¹⁰⁹ будет лучше. Кажется, теперь я понимаю, почему французы никогда не поставят им памятника. Это не Бриссо¹¹⁰, не Дантон¹¹¹. И мечется у трибуны тщедушный близорукий человек в светлом костюме, задыхаясь от кашля. Заметил ли он меня среди зрителей?

Вряд ли. Зато Антуан¹¹² точно узнал меня. Боже, с какой ненавистью он тогда смотрел. Я был наблюдателем, посторонним. Я был лишним. А что я мог сделать? Верно, такая моя судьба: везде быть лишним. А ведь я всегда мечтал об ином. Но вечно проклятие Атлантиды. Ты уж прости меня, Антуан. Однако, мне бы твою выдержку. Как знать, что меня ждет.

Сколько ж ещё — вот так? Месяц назад просил прощения у Камилла¹¹³, у Дантона, у папаши Дюшена¹¹⁴, у Бриссо, у Верньо¹¹⁵... Да это предательство!

¹⁰³ Во времена революции католическая религия во Франции была запрещена и заменена культом Верховного Существа. В частности, состоялся театрализованный праздник Верховного Существа, на котором роль Верховного существа исполнял Робеспьер.

¹⁰⁴ Элеонора Дюпле.

¹⁰⁵ Анриетта Леба.

¹⁰⁶ Участник штурма Бастилии.

¹⁰⁷ Район Парижа, пользовавшийся самоуправлением.

¹⁰⁸ Доброволец (в армии).

¹⁰⁹ Прозвище Людовика XVI.

¹¹⁰ Лидер жирондистов, казнен робеспьеристами.

¹¹¹ «Умеренный» якобинец, пользовавшийся популярностью, вождь дантонистов. Казнен робеспьеристами.

¹¹² Сен-Жюст, сподвижник Робеспьера. Казнен вместе с ним.

¹¹³ Камилл Демулен, дантонист, школьный друг Робеспьера. Казнен.

¹¹⁴ Жак Эбер, лидер эбертистов («левых»). Казнен робеспьеристами.

¹¹⁵ Жирондист, казнен робеспьеристами.

В Париже страшно. Режут якобинцев. Но ничего. Скоро здесь все вернется на круги. Свояя. Неужели они запомнят это время лишь по ночных очередям и всеобщей подозрительности? Они штурмовали Бастилию. Когда я смотрю на небо, я уже вижу контуры Эйфелевой башни: она будет видна отсюда. Франция процветающая, страна духов и шампанского. Страна любви. А великие идеи, горячка бессонных ночей, вечные муки совести, эта смертельная жажда правды?

Кажется, пришли за мной. Я слышу, как они кричат мое имя. Надо успеть уйти, пока они поднимаются на чердак.

Всё же

14 (26) декабря 1825 года, Санкт-Петербург¹¹⁶.

Восстание прошло торжественно и спокойно. Одни знали, что им суждено умереть, вторые — что они станут убийцами. Это был спор о том, кто благороднее. Благороднее оказались бунтовщики, и потому они победили. Правда, у царя были смягчающие обстоятельства: он испугался. Его можно понять: испорчено с самого начала царствование. Хотя полубезумные, истекающие кровью люди походили на испуганное стадо, все поняли: сегодня на Сенатскую площадь вышла измученная совесть России.

Классово-чуждые, социально-далекие, ошибившиеся, недооценившие, сгинувшие бесследно, бесславно, паразитирующие на шее...

Хочу быть чуждым! Сегодня я — загнивающий спесивый аристократ, которому абстрактные принципы дороже реального куска колбасы. Гордыня, как известно, один из семи смертных грехов.

А жестокость?

13 (25) июля 1826 года, Санкт-Петербург¹¹⁷.

Герои моих детских снов.

¹¹⁶ 14.12.1825 (ст. ст.) в Петербурге восстали декабристы.

¹¹⁷ 13.07.1826 года (ст. ст.) были повешены Пестель, Рылеев, Кауховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин.

Они сидели на грязной земле в ожидании казни, как пятеро голодных волчат. Сколько мужества, сколько этого невыносимо щемящего аристократизма. Дворяне должны умирать красиво. Даже когда смерть унизительна для дворян.

Грязно-белые табуреты осколками уходящей жизни летели на помято-солнечно-зеленую траву и виселицы взмыли ввысь прочь от шершаво-горячих стен гробницы под названием «крепость», унося в июльское ласково-голубое небо пятерых доблестных русских офицеров. в этот прозрачно-чистый вольный эфир где они будут неподвластны ни сине-голубым палачам с лицами бульдогов, ни жестокому царю с оловянно-рыбьими глазами, ни самому господу богу.

Сорвалось трое, как и полагается, хотя я подпиливал пять веревок. Всё уже было кончено, а небо осталось таким же, солнце — таким же, и лица их палачей были такими же хмурыми. Только плачущее лицо жены Рылеева нарушило покой и симметрию того июльского дня.

Когда вернусь в свое время, поставлю на месте их тайной могилы памятник. Я запомню: виселицы, уходящие в небо. А впрочем, не надо памятника. Дворяне не умирают. Быть дворянином. Хотя бы внутри, в святая святых своего Я.

А всё-таки сорвалось трое.

14 марта 1883 года, Лондон¹¹⁸.

А что, если утопающий, схватившись за веревку, брошенную чьей-то — дружеской? — рукой, сам, поразмыслив, добровольно отпустит её? Вот так. В голове сплошная горячая каша сомнений. Абсолютных истин не бывает, не бывает, не бывает! И потому, когда мерилом нравственности и мудрости становится Цитата, быть может, случайная, людям грозит опасность. А я работал подстраивал себя под чью-то мысль, я так старательно лепил из себя идиота. Из-за чего вся эта суeta, бессмысленная и беспощадная? Кому-то станет лучше? Но ведь все было правильно за-

¹¹⁸ 14.03.1883 года в Лондоне скончался Карл Маркс.

думано, всё правильно! Сначала была совесть и жгучая жажда справедливости, а потом полилась кровь.

Сейчас около того, что было Марксом, суетятся родственники и друзья и те, кто так ничего и не понял, лишь угадал: здесь — знамение времени. Когда-нибудь вы вспомните о марксизме без ненависти и священного ужаса. Тогда не врастет это в душу настолько, что отдирать — только с кровью. И вы забудете, как шли сквозь туман, дрожа от спасительного холода, два друга, и вместо серых лондонских стен вставал перед их глазами Город Солнца.

Вот я и растерял всё. Зачем жить, зачем? Красный цвет оставлял надежду. А впрочем, не всё ли равно? Я, уставший и тысячелетне старый, не имеющий за душой ничего: ни знаний, ни веры, ни любви, — в последний раз поднимаю голову. Я уже, как тающая свечка, прозрачен и чист. Мой путь близится к концу, и конец этот будет страшен, я знаю.

Начало 20-х годов, ХХ век, Россия.

Бессмысленная и жестокая бойня. Нет комиссаров с горящими глазами, нет благородных в своем отчаянии русских офицеров, есть ожесточенные, доведенные до предела люди. Война всех против всех. А кто же я в этой войне: белый, красный, черный, зеленый? Вот тебе и социализм, вот и революция. Мой красный цвет всё бледнеет, становится розовым, бело-розовым... Не жалко, нет.

А ведь тот, первый день революции был так наивно трагичен. Меня несло по снежному Петрограду, и, как призрак, шатался я среди свинцово-серых домов, шарахаясь от случайных прохожих, и, кружась, все натыкался на какой-то разбитый памятник, и чуть не полетел в обжидающе-холодную Неву. Кого я искал? То ли привиделось мне, то ли вспомнил блоковского Христа из «Двенадцати» и ждал его в глухих переулках? Я корчился, меня била меть, а мимо колоннами проходили неторопливые строгие люди, твердо знающие свою жизнь и свой путь. Они шли делать дело, они делали революцию, не допускающую сомнений и классово чуждых мыслей. А мне импонировала их

туповатая уверенность, их фанатизм, принимаемый за классовое сознание, вся эта романтика революции, эта замкнутость на одной теме, жестокость, названная стойкостью и не-примиримостью.

А потом закружилась, понеслась бешеная карусель: тифозные эшелоны, голодные рабочие, наш яростный продольный, колчаковская армия, кровавые воды Дона. О, агония старой России и мучительное рождение нового!

Я устал. Но надо собрать все силы, потому что только я могу спасти Россию от наваливающегося на нее ада. Хватит нестись по течению. Настало время действовать. Я вижу свет, и этот свет есть выход из рокового тупика: в ~~XX~~ веке Атлантида не повторится! Всё просто. Я — человек с мертвой душой, но у меня хватит ещё сил свернуть это проклятое колесо истории, прежде чем я сгорю.

26.01.1924, Москва¹¹⁹

Ну почему!

Игрушка, кукла, жалкая марионетка! Издевайтесь надо мной, бейте, убивайте меня — я не смогу вам ответить, потому что я — раб, раб, раб! Тряпка, слюнтяй, не нашедший в себе сил произнести несколько слов!

Как все было просто, почти элементарно, боже мой! И я не смог! Как я старался, как расписывал все бывшие и будущие злодеяния маленько усатого человека, так невежливо прерванного на полуслове! И в небо, в небо уставился глазами, потому что трусил, потому что боялся взглянуть на толпу.

Когда я увидел, как застыл на ветру траурный флаг, и мои слова летели в пустоту, и стоило мне в отчаянии замолчать, как Иосиф Сталин продолжил свою речь на том же слове, нет, слоге, где я прервал его! Господи, за что так подло, так жестоко? А я дрожал, как выжатый лимон, бесясь от собственного бессилия!

Проклятое время, злое и непокоренное! Кто слышит меня? Я бросаю вызов, да, вызов! Я изменю этот мир, даже

¹¹⁹ 26.01.1924 года Сталин произнес свою речь-«клятву».

если ослепну от крови, и горе тому, кто осмелится встать на моем пути!

Не понимаю. Ничего не понимаю! Силы мои на исходе. Веду себя, как истеричная девица, и, кажется, скоро сойду с ума.

29.01.1932 года, Мюнхен.

Выжги себе на лбу свастику иди убивать. Да здравствует власть Тьмы! И смерть всем инородцам, а особенно умным трусам евреям. (А Христос был еврей. Вы верите в бога!) И пусть горят книги. Нам они не нужны.

Живой крест марширует по площади. С моего верхнего этажа он особенно четко виден. Книги горят хорошо. Даже без бензина. Пусть наш примитивный огонь лижет стены их старых готических зданий. Пусть дрожат в нагло запертых домах добропорядочные филистеры. Они считают себя философами! Ничего. Податливый материал. Дайте нам время — и мы сделаем из них воинов Тьмы. Пусть тоже рисуют свастику. Пусть свастику рисуют все. Говорите, земной шар велик? Что ж, новое время — новые масштабы. Думать о будущем? Зачем? У нас есть фюрер. Фюрер — бог.

Фюрер — маньяк со стеклянными глазами. («Купи себе стеклянные глаза»¹²⁰) Я вышел на площадь.

— Эй, парень, иди сюда! — они гогочут, предвкушая удовольствие, и тычут мне в лицо факелами. Я почему-то вспомнил австралопитеков. Там тоже горел костер. Только сейчас я не боюсь. Я уже ничего не боюсь. Может быть, я промахнулся? А что, если я ошибся, когда брал курс на Большой Взрыв? Попал не в ту Вселенную, в соседнюю, рядом. Но ведь тогда они ничего не сделают мне. А я — им. Значит, можно попробовать. Ещё раз. Последний.

— Послушайте, вы! Прекратите свои марши!

Из окон выглядывают испуганные и удивленные жители. Кто смертник?

¹²⁰ «Купи себе стеклянные глаза
И сделай вид, как негодяй политик,
Что видишь то, чего не видишь ты.»
(В.Шекспир)

— Я — человек из будущего! Поверьте, у вас ничего не получится! Через год ваш фюрер придет к власти, но через 13 лет он погибнет и погубит всю Германию!

Смех. Окна закрываются. Смертник — просто сумасшедший.

Свастика рассыпается на огненный муравейник. Здания разваливаются и превращаются в песок. Люди расползаются на груды мяса и костей. Не надо второй Атлантиды! Я же не хотел! Все равно этого не может быть!

Когда я очнулся, люди со свастикой уже ушли. Только звезды угрюмо смотрели на холодные стены древнего собора и нагло закрытые окна. На стене застыли золотые слезы. Или непролитая еще немецкая кровь?

Человек из будущего, как заноза во Вселенной. Может, все-таки в соседней Вселенной?

16.12.1937 года, Москва.

Все похоже на сон. Жизнь — это тягостный сон, и поэтому у меня болит голова.

В Москве туман, словно смог. Это дым из трубки Сталина, смешавшись с дымом из заводских труб, окутал город и всю страну. Вот почему здесь всегда темно. Портреты на каждом шагу. Добрый, мудрый, родной. С таким и в огонь, и в воду. А «воронки» на каждой улице. И сексы рядом всегда. Эй, вы, я знаю, что вы здесь. Не притворяйтесь невидимками! Я чувствую ваше дыхание, ваши липкие от крови руки. Вы приходите по ночам пить мою кровь! Я знаю, вы хотите свести меня с ума и поэтому надеваете маски чудовищ. Уходите! Гады! Уходите! Как страшно и тоскливо. А они живут, смеются, влюбляются. В темноте. Когда на них смотрят.

Я болен. Воспалена каждая клеточка моего тела, мой мозг, мои глаза, отравлена моя кровь, сама душа моя. И это хорошо! Человек должен быть измученным, уродливым, больным, чтобы, корчась в параличе, идти по этому миру и смотреть на него слепнущими глазами.

Почему я еще не сгорел, если пламя пожирает меня? Чужой. Волк-одиночка среди людей или человек в стае вол-

ков? Это стена, каменная, безграницная, равнодушная стена.
Надоело! Пробить в ней брешь, сокрушить, уничтожить!

Любой ценой.

18.07. 16 часов 30 минут.

Я убил её. Сам не знаю, как у меня поднялась рука. Она хрустнула где-то между пальцев, и мне в лицо полетели железные брызги. Я держал в руках сломанную пополам пустую коробку, и где-то в чужом пространстве сгорели её осколки. Кажется, в последний момент она взглянула на меня. Всё понимающая и такая беззащитная. Прости меня, МВ!

Надо успокоиться. Я должен вспомнить все по порядку. Я тогда выбежал на улицу и кричал что-то о великом Ёзике и его трусливом народе. Точно не помню. Помню только, что люди не испугались даже, словно я был пустым местом. Они спешили, они опаздывали на работу. А потом я увидел бегущих ментов. Меня сбили с ног и начали пинать. Оказывается, это очень больно, когда тебя пинают сапогами. Ничего не поняв и ничего не успев сообразить, я прижал правую руку к груди, защищая МВ, когда кто-то наступил мне на грудь так, что большой палец сам надавил на ВОЗ-ВРАТ¹²¹...

Я очнулся в своей полуза забытой комнате, лежа так же, как там, на асфальте. Я всё ещё жал ВЗВ. И вот тогда возникла прямо из стены и отделилась от неё тень. Только синие, такие жестокие глаза жили на этом бледном лице. Ещё у него были очень острые и мелкие зубы, и когда он заговорил, мне показалось, что в доме завелись крысы.

Я почти физически ощутил и горе его, и ненависть. И, словно в ответ, где-то внутри у меня зашевелилось темное чувство вины. Повинуясь этому, ещё непонятному чувству, я прошептал:

— Что тебе надо?

— Мне? Ничего. Мне уже ничего не надо. Я только хочу, чтобы ты не умер с чистой совестью, убийца.

¹²¹ Система ВОЗВРАТА (ВЗВ) обеспечивает мгновенный перенос в ту точку пространства и момент времени, откуда было начато путешествие. Применяется в чрезвычайных условиях.

- Я — убийца?
- Ты — убийца.
- Я умру?
- Ты застрелишься через полтора часа.

Так мы и познакомились. Так мы и пошли. И мой безобразный труп корчился в агонии, и молоденький сыщик бежал по городу с чертежами, а дневник так и остался на столе, нечитанный. А люди шли и кричали «Ура». А люди обнимались на улицах, и серебристые прямоугольнички стали символом величия человеческого гения и залогом счастья. И некому было предупредить об опасности, да и поздно было уже предупреждать. Они знали, что был первый, за кем надо следовать, и бросились покорять Вселенную. А первый-то был я...

Они все умерли, все. Кто покончил с собой, кто сошел с ума. Порвалась связь времен. Если бы Шекспир знал, что значат его слова. Человечество распалось на отдельных людей. Рушилось то, что казалось незыблемым, простым, как сама жизнь. Рушилось время. И люди не выдержали.

Слишком уж все изменилось. Подумать только: человек — свой собственный сын или дочь, разговаривает с собой и себя же убивает. Новорожденный на глазах становится стариком, и уже нет людей, нет жизни, есть только одиночество и хаос, какая-то мешанина из полулюдей, полуслов, полувещей. Осталось прошлое, но и там ничего хорошего, ничего. И незачем было жить. Я-то думал, конец света будет похож на всемирный потоп, а все было так тихо и незаметно. Я вдруг увидел, что стою на пустой планете. Вот и все.

И сил моих больше не было! Ушло столько разных, наивных и добрых, мудрых и смешных. Столько Вселенных. Я виноват. Я, всю жизнь ненавидевший смерть? Как понять? Я, такой маленький и ничтожный? Ну что же я сделал не так?

А ведь все могло быть иначе, если бы я стал духом времени. Но это случилось ранней весной, когда все вокруг цвело и смеялось. Я шел по молодой траве и смотрел, как небо отражается в лужах. Кто, боже мой, исхулиганившийся школьяр, вся жизнь которого — шутка, вечный гомерический смех. Мы только что задумали какую-то пакость и резались

не то в покер, не то в преферанс, предвкушая веселье. Молодые, здоровые, красивые. А впереди — слава, счастье, исполнение желаний, любовь...

И вдруг я отчетливо понял, что моя жизнь скучна и бесполезна и будет такой всегда. Я и в прошлом буду всего лишь существовать. Разницы-то: булыжники или асфальт, русский или латынь, джинсы или хитоны... Даже любопытство и восторг перед неизведанным бесконечно надоедают в бессмертии. Как тоскливо. Я знал, но разве можно поверить в 16 лет?

А люди шли и кричали: «Ура!» Кого вы хотели? Ещё одного мессию, который укажет вам путь к Истине, вместо надоевших и замаранных в крови социалистов? Вам мало, да? Война, любовь, знания, бог, коммунизм... Сколько игрушек. И ведь каждый раз — словно массовый гипноз, словно стадо бежит по новой тропе, а потом — столь же массовая ненависть, и игрушка растоптана вместе с теми, кто её создал. А вот мою игрушку вы не растопчете. Потому что она растопчет вас.

И ведь сам поддался гипнозу. Ведь коммунистов уже громили, а я все ещё верил. Вот ведь где корень зла: я не оторвался от человечества, от своей эпохи и своего народа, я и прошлое мерял по меркам своего времени, невольно пытаясь подтягивать его к своему уровню. Я забыл первую заповедь: терпимость. Я забыл, что чужая эпоха, как и чужая страна, не хуже и не лучше нашей, и не надо никого ничему учить, поскольку нет абсолютных истин в последней инстанции и не может быть. И наши идеи должны были стать лишь ступенью в развитии человечества, только все оборвалось так глупо, так случайно.

Если бы я, забыв о тщеславии, похоронил свое открытие, спрятал, уничтожил его! Если бы медленно, десятками лет увеличивал число своих верных учеников. Тайно, чтоб ни бог, ни черт не узнал, тайно, пока кто-то из них не поймет, что люди готовы. Так ведь нет! Захотелось поиграть, пошутить. Турне себе устроил. Доигрался! Если бы я только смотрел. А то как же, не могу ведь я стоять и молчать,

когда совершается несправедливость! Это же унизительно! Где же моя гордость! Да, унизительно, да, противно, но выхода-то нет! Быть наблюдателем, только наблюдателем. Какой тутица! Так уж вышло, что в этой Вселенной время универсально и необратимо. Я разрушал время — а вслед рушилась и вся Вселенная. Ведь была же Атлантида, был развалившийся дворец, а я все лез напролом. И ничего нельзя изменить. Это же истина, достойная дошкольника: если бы я изменил историю, то я и знал бы её уже такой, измененной, потому что родился **позже**. Если б я убил Сталина, то я бы с детства знал, что Сталин погиб от руки неизвестного, который скрылся. Только, это значит, что сейчас я должен убить... себя. Как же это? Ведь я же не сделаю этого, а? Ведь это навсегда, и уже ничего не вернуть, господи! Жизнь-то у меня одна, и я не хочу, не хочу! За что мне эта мука? Миленькие мои! Простите меня! Спасите меня! Оставьте меня!

Только не плакать. Ты ведь никогда не плачешь. Да, ты умрешь, трусливый подонок, но будь добр, встреть свой конец достойно. Встань и улыбнись. Это не убийство, это смертный приговор, и ты сам приведешь его в исполнение. Вот только мечта твоя: всех воскресить. Но люди будущего слишком влюблены в себя, чтобы думать о прошлом. Возьми чертежи и положи их в стол. Они останутся, чтобы исполнилось все. Бессмертия нет, ты знаешь. Там действительно ничего не будет. Не останется твоей души, способной мыслить и чувствовать. Разве лучше ещё раз пережить эту боль? Успокойся, несчастный. Сейчас ты уснешь. Ты уснешь спокойным сном, сладким сном, **вечным** сном. Отпусти совесть. Совести больше нет. Погубил людей, ну и что? Одна из миллиардов планет в одном из миллиардов миров. Чувствуешь, как остывает твоя кровь? Скоро ты станешь совсем холодным. Холодным и спокойным. Смерть — это ведь столь великое. Да и зачем жить? Брось эту оболочку, она только мешала тебе. Просто время остановится навсегда. И Вселенной не будет. Ты хочешь? Все равно ты не человек, вспомни, с тех пор как впервые оста-

новил время и назывался духом. Поднеси пистолет к груди.
Чуть-чуть левее. Вот так. Сейчас ты спустишь курок.

Смотри, твои стихи. Как странно.

Упрекайте в злобе или в чванстве,
Не понять вам, было что со мной:
Мы в последней плоскости пространства
Молча танцевали на прямой.

Очень долго длился этот танец...
Бесшабашно-весело кружась,
Танцевали, чтоб не испугаться,
Танцевали, чтобы не упасть.

На границе двух вселенных пели
Свет и мрак, и смерть ждала своё,
И машины времени летели
Через бытиё — в небытиё.

Я умру без покаянья, сразу,
Некому мой труп швырнуть назад,
Только бы успеть хоть краем глаза
Встретить чей-то сумасшедший взгляд...

Проклянут нас правнуки-потомки...

А ведь мы, наверно, молодые...

Впрочем, я могу ещё вернуться —
За спиной любовь, и жизнь, и свет —
Стоит только посильней качнуться...
Но. Мне все равно здесь места нет.

Вы простите гордецов-упрямцев,
Кто, смеясь, собою рисковал,
Кто в последней плоскости пространства
Свой последний танец танцевал.

Романтические бредни. Впрочем, я никогда не был поэтом, хотя и считался им. А ведь знал, что плохо кончилось. Я все знал и все понимал. Так как же это случилось? Сошел с ума от счастья. Так простительно... И все-таки было, было! Это я танцевал во Вселенной и дарил огонь австралопитекам, это я спасал Атлантиду и провожал в последний путь Робеспьера, это я поднимал рабов на восстание и помог бежать Магомету! Я видел все и был всем. Что мне жизнь, что мне смерть?

Вы, тараканы, а не люди, цепляющиеся за свою мерзкую, убогую жизнь!

Зачем?

Зачем, если все ваши жизни не стоят моей МВ, отданной на растерзание вам, ненасытным!

Вы, умеющие только одно: схватить, заграбастать, урвать себе кусок пожирнее!

Зачем?

Вы, униженно пресмыкающиеся перед сильными мира сего в надежде прожить чуть-чуть сытнее, чуть-чуть теплее и роскошнее других!

Зачем?

Вы, которые вечно ходят, втянув голову в плечи, боясь быть *Не Такими*, боясь, словно высшего суда, сплетен и взглядов соседей!

Зачем?

Зачем вы живете?

Зачем я дал вам Машину Времени?

Зачем я умираю из-за вас?

Я, дух времени, первый среди духов времени. Первый и последний. Я проклинаю вас. Всех.

Простите!»

* * *

Из показаний свидетелей.

«18 июля в 17 часов 30 минут я услышала звуки, напоминающие выстрелы, но не обратила внимания. В 18 часов

в мою дверь позвонили работники милиции. В моем присутствии они взломали дверь 94 квартиры. Жилец её мертвый валялся на полу в луже крови с пистолетом в руке. На столе были найдены тетрадь, записка непонятного содержания и сломанный футляр из-под микрокалькулятора типа MB-1.»

* * *

Порвалась связь времен.

1990.



по прозвищу

МЕССИЯ

Иисус по прозвищу Мессия

Трагедия в четырех действиях

Действующие лица

<u>Иисус</u>	<u>Иоанн Креститель</u>
<u>Дьявол</u>	<u>Иоанн (Евангелист)</u>
<u>Хор</u>	<u>Иаков Зеведеев, брат его</u>
<u>Иосиф</u> , отец Иисуса	<u>Андрей</u>
<u>Мария</u> , мать Иисуса	<u>Симон (Петр)</u> , брат его
<u>Иаков</u>	<u>Левий</u>
<u>Иосия</u>	<u>Иуда Искариот</u>
<u>Симон</u>	<u>Савл</u>
<u>Иуда</u>	<u>Лука</u>
<u>Есфирь</u>	<u>Марк</u>
<u>Фамарь</u>	<u>Стефан</u>
<u>Самуил</u>	<u>Филипп</u>
<u>Ревекка</u> , сестра его	<u>Варфоломей</u>
<u>Еммануил</u>	<u>Фома</u>
<u>Самсон</u>	<u>Мария Магдалина</u>
<u>Иоанна</u> , сестра его	<u>Лазарь</u> , её брат
<u>Моисей</u>	<u>Симон, фарисей</u>
<u>Ноэми</u>	<u>Никодим, фарисей</u>
<u>Сусанна</u>	<u>Каиафа</u> , первосвященник
<u>Пантер</u>	
<u>Анна</u> , мать Марии	
<u>Иоаким</u> , отец Марии	

их
дети

Крестьяне, ремесленники, рыбаки, торговцы, менялы, сикарии, римские солдаты, солдаты храмовой стражи, ученики Иоанна Крестителя, фарисеи, саддукеи, первосвященники, блудницы, крестьянки, дети и т. д.

Место действия: Палестина.

Время действия: I век н.э.

Если хочешь быть богом — будь им.

Действие 1

Акт 1

Занавес закрыт. На сцену входят 2 человека.

Первый: Ну как, ты все еще носишься со своей дурацкой идеей?

Второй: Идея — не дурацкая.

Первый: Ты еще не понял, что одному не под силу переделать людей?

Второй: Чего ты хочешь от меня?

Первый: Зачем тебе, равнодушному и надменному, заботиться о наших страстиах и полуслепой возне?

Второй: Хотя бы затем, чтобы не быть таким же, как вы, люди.

Первый: Да ты презираешь людей.

Второй: Но я люблю их. И в этом отличие бога от дьявола. Да и зачем же иначе жить?

Первый: А зачем живешь ты?

Расходятся. Гаснет свет, открывается занавес. Иисус лежит на сцене. Входит дьявол.

Дьявол: Безумец, проснись! Ты звал меня?

Иисус: Я ждал другого, который правит светом, но раз пришел ты, правитель тьмы, так скажи мне: я измучил себя и не знаю, как мне жить дальше, потому что не вижу ответа; скажи мне — зачем? Зачем я обязан быть? Я не вижу цели и смысла, и никто не видит.

Дьявол: Положись на Господа создателя твоего, и он направит тебя на путь истинный. Смотри, как жили твои предки, как живут люди вокруг тебя.

Иисус: Неплохо придумано! Вы наделили людей низменной страстью, которая заполняет собой всю нашу душевную пустоту и подчиняет себе. Как животное... В этом мерзком

влечении мы видим всю нашу жизнь, слепая сила толкает людей друг к другу и заставляет жениться, иначе бы они ни за что не женились. А потом — изволь тянуть лямку, кормить своих ненасытных выродков, и некогда оглянуться вокруг, и жизнь летит ураганом. А я не хочу очнуться на смертном одре и с ужасом вспомнить: жизнь прошла, а зачем? А потом — умереть... Неплохо придумано!

Дьявол: Что ж тебе нужно? Богатство, блаженство, власть?

Поднимает Иисуса над миром.

Иисус: Ни то, ни другое, ни третье. Я не ищу сытого покоя. Дай мне цель, к которой можно стремиться всю жизнь, идею великую и возвышенную!

Дьявол: Идею? На Землю!

Бросает Иисуса на землю. Иисус видит Хор (манекены, изображающие древнегреческих актеров в комических масках).

Иисус: Эй, что это за люди? Я не знаю их.

Дьявол: Попроси у них свою великую и возвышенную. (Хору) Ну? (исчезает)

Хор: Он сойдет, как дождь на скошенный луг,
Как капли, орошающие землю.
И поклонятся ему все цари;
Все народы будут служить ему.
Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного,
У которого нет помощника¹.

Иисус: Но это псалом, возвещающий приход мессии. Постойте! Кажется, мне ясна ваша мысль. Ещё, ещё!

Хор: Будет милосерд к нищему и убогому,
И души убогих спасет.
От коварства и насилия избавит души их,
И драгоценна будет кровь их пред очами его².

¹Пс. 71 ст. 6, 11–12.

²Пс. 71 ст. 13–14.

Иисус: Мессия, освобождающий свой народ. Так предсказано пророками. А почему бы и нет? Неужели я окажусь так слаб, что испугаюсь и предпочту обыкновенное? Нет, поздно. Мессия. А если ещё выше?

Хор: Господь — царь навеки, навсегда³.

Иисус: Нет!

Хор: Господь царствует: да трепещут народы!
Он восседает на херувимах: да трясется земля!
Господь на Сионе велик и высок он над всеми народами.
Да славят великолепное и страшное имя твое: свято оно⁴!

Акт 2

Двор дома Иисуса. Иисус спит. Входит Иаков.

Иаков: Иисус! Иисус!

Иисус: (просыпается) А? Что случилось?

Иаков: Иисус, вчера к Елеазару приехал дядя из Иерусалима. Говорят, войска кесаря распяли там столько людей, что смрад, исходящий от их трупов, распространился по всему городу и жители его два дня не выходили из домов.

Иисус: Что еще скажешь?

Иаков: Иисус, я ухожу к сикариям, чтобы мстить.

Иисус: Нужны им дети.

Иаков: Мне уже двенадцать лет, я почти взрослый. Если хочешь, пойдем со мной. Вместе мы будем сила!

Иисус: Слушай, давай останемся дома.

Иаков: А они будут бесстыдно убивать нас? Ты сам говорил, что в наше время лучше ничего не иметь, тогда у тебя ничего не отнимут проклятые мытари.

Иисус: Тихо! Пора уже учиться держать язык за зубами. У Ирода везде есть уши, помни об этом.

Иаков: Иисус, ну я просто не могу, меня просто выворачивает всего, когда я думаю об этом. Иисус, почему Бог забыл о нас и не посыпает нам мессию?

³Пс. 9 ст. 37.

⁴Пс. 98 ст. 1–3.

Иисус: Кому нам? Галилеянам или иудеям? Фарисеям? Саддукеям? Может быть, ессеям? Или евреям диаспоры? Чьим сыновьям? Вениамина? Рувима? Мы же все готовы перегрызть друг другу глотки.

Иаков: Но ведь евреи — богоизбранный народ. Так мне и в Иерусалиме говорили.

Иисус: Так думают евреи. А еллины, которые убивают в своих городах наших братьев, тоже считают себя богоизбранным народом. И римляне — богоизбранный народ, и персы. А Бог-то один на всех!

Иаков: Но ты же веришь в наши священные книги.

Иисус: Зачем? Потому что я родился израильтянином? Зачем я должен соблюдать заповеди Моисея? Зачем стремиться к освобождению родины? Ведь, с точки зрения римлян, все очень справедливо.

Иаков: Ну что ты все зачем да зачем? Как маленький, честное слово.

Иисус: Я? Я тебя в рабство продам.

Иаков: Не имеешь права. (*Входит Иосиф*) Папа, почему Иисус не верит вmessию?

Иосиф: Он верит. Просто он сегодня не в духе, сынок. Иди, тебя, кажется, мама зовет. (*Иаков убегает*) Мальчик так и хочет поскорее попасть на крест.

Иисус: Возраст у ребенка такой.

Иосиф: Ну, какой он ребенок. Выросли уж вы у меня. Тебе вот жениться пора. Жениться и основывать свое дело.

Иисус: Да, непременно.

Иосиф: Я договорился с Гирканом, ты будешь помогать ему перевозить товар, а там, даст бог, откроешь и свое дело. Готовься, через день-другой повезешь первую партию.

Иисус: Отец, но как же это? Ведь это — раз, и на всю жизнь, отец.

Иосиф: Как, и здесь не по нраву? Иисус, я уже смирился с тем, что плотником ты не станешь, да это и к лучшему. Выбивайся в люди! Чтобы никто не мог запугать и ограбить тебя. Подумай, какое благодеяние оказал нам Гиркан.

Иисус: Благодетель.

Иосиф: Иисус, ну не упрямься, прошу тебя. Я уже дал свое согласие и отказывать не намерен. Что тебе надо, в конце-то концов?

Входит Мария.

Мария: О чём вы, Иосиф, милый?

Иосиф: О предложении Гиркана.

Мария: Иосиф, это так опасно. Иисус, мальчик мой, я буду всегда молиться, и Господь сохранит тебя.

Иисус: Мама!

Вбегает Иуда.

Иуда: Мама, папа, там какой-то дядя пришел!

Мария: Ах, да, Иисус, к тебе приходил Моисей.

Иисус: Я знаю, я сегодня обедаю у Самуила.

Иосиф: У Самуила? Господи, зачем?

Иисус: Отец, так делают во всех цивилизованных домах.

Иосиф: Цивилизованных? Ты смотри, с эллинами да римлянами не спутайся!

Входит Иосия.

Иосия: Отец, к тебе пришли!

Входят Иаков, Симон, Есфирь и Фамарь.

Иаков: Мама, я есть хочу, я же с самого утра ничего не ел. Я сегодня встал так рано, так рано, мы с Елеазаром хотели пойти к Давиду, но вчера к Елеазару приехал дядя

Симон: Мама, а ты отпустишь меня погостить у Захарии? Дядя Гиркан только что пообещал взять меня с собой.

Есфирь: Мама, а можно мне поехать вместе с Симоном?

Симон: Еще чего, только тебя там и не хватало.

Фамарь: А ты молчи! Мама, а можно мне надеть новое платье?

Мария: (улыбается Иосифу) Пойдемте, пойдемте.

Уходят все, кроме Иисуса. Гаснет свет.

Иисус: И это — идеальная семья, о которой с завистью талдычат соседи? Они копошатся, как черви, с единственной мыслью: только бы не раздавили, — и хотят мне такой же судьбы! (*Хору*) Так значит, бог. А чего я боюсь? Действительно, что мне грозит? Ад? Ну и что! Что есть боль? Такая же скука. Бог. Нет, я уже не отступлюсь. Но в чем выражается моя божественная сущность?

Хор: Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное?

Восстают цари земли, и князья совершают вместе

Против Господа и против помазанника его⁵.

Иисус: Да, я должен научить людей жить. Я вижу, законы Моисея несовершены, они уже не годятся нам. Они — неправда? Мир станет совсем иным, гораздо светлее, да? Я предчувствую это.

Хор: Небеса проповедуют славу Божию,
И о делах рук его вещает твердь.

Иисус и Хор: День дню передает речь,
И ночь ночи открывает знание.

Нет языка и нет наречия,
Где не слышался бы голос их⁶.

Акт 3

Двор дома Самуила. Входят Самуил, Еммануил, Ревекка, Ноэми, Сусанна, Самсон, Иоанна, Моисей, Иисус.

Самуил: Ну вот, теперь ложитесь вот сюда и одной рукой подпирайте голову, чтоб не отвалилась, а другой будете брать еду. Так во всех цивилизованных домах обедают. (*Все располагаются*) Ревекка сейчас все принесет. Так ты говоришь, Еммануил, что новые сикарии замышляют продолжить дело Иуды?

⁵Пс. 2 ст. 1–2.

⁶Пс. 18 ст. 2–4.

Еммануил: Да, и среди них есть некто, имя которого они хранят в тайне, посланный самим Богом.

Ревекка: (входит) А я недавно слышала, что в Иерусалиме было предсказано скорое падение Ирода и Архелая и возвращение потомков царя Аристовула.

Самуил: Какой вздор!

Самсон: Действительно, вздор какой!

Самуил: Только за этот год я слышал о целой дюжине мессий. Каждый дурак кричит теперь: «Я — мессия!», а Ирод только смеется над нами.

Ноэми: Но не будешь же ты оспаривать Исаию или Иезекииля.

Самуил: (улыбается) Нет. Возьми лучше вот это (отламывает ей кусок мяса). И вообще, друзья, воздадим должное этой пище богов! Вы ешьте, ешьте!

Все едят.

Иоанна: Самуил, а Самуил, скоро сестру замуж выдашь?

Самуил: Ну, дело-то к этому идет. Лучшего друга, можно сказать, собственноручно в цепи закую, такое предательство. А все из-за чего? Все о семье забочусь. Верно, Ревекка?

Еммануил делает вид, что подавился. Ревекка отворачивается. Все, кроме Иисуса, смеются.

Сусанна: Самуил, ты не боишься когда-нибудь пострадать за свой длинный язык?

Самуил: Ты лучше позаботься о здоровье своего Самсона.

Сусанна краснеет. Все, кроме Иисуса, смеются.

Еммануил: Да, Самсон, так ты поговоришь со своим отцом?

Самуил: Уж если хочешь заработать денег, иди к моемуяде в пастухи. Работать с Иисусом — одно удовольствие.

Иисус, я не тебя имею в виду. (*Все, кроме Иисуса, смеются*) Обещал помочь мне с деньжатами.

Самсон: Ох и хороший у тебя дядя, Самуил.

Самуил: А у тебя что, отец — нищий, что ли? Небось, полные кувшины золота зарыты где-нибудь в укромном месте. Мне бы хоть десятую долю твоего наследства получить, я бы на радостях второй Иерусалимский храм построил. Да куда уж мне, сироте.

Иоанна: Самуил, а ты возьми меня в жены.

Самуил: Иоанна, дорогая моя, у меня от вас и так нет отбоя, ты займись лучше Иисусом, смотри, какой он мрачный сидит, словно на похоронах. Иисус, чего ты такой хмурый? Тебя же девушки не будут любить.

Самсон: Тише, он решает мировые проблемы.

Иисус: (*встает*) Мне жалко вас. Вы сами не видите своего убожества. Зачем ты живешь, Самуил? Деньги, деньги — вот все, что вас интересует. Разве для этого Господь даровал нам жизнь? Так давайте же мы

Самуил: Чего тебе дать? Вечно всем чего-то надо дать.

Еммануил, подкравшись сзади, сильно дергает Иисуса за хитон. Иисус резко оборачивается. Все хохочут. Еммануил падает на землю и делает вид, что ему больно.

Иисус: Вы корчите из себя новых хозяев жизни. А, развеселые писклявые красотки? Меня тошнит от вас, глупцы

Ревекка: Вот грубиян!

Самуил: Ты топаешь по нехорошой дорожке, Иисус!

Еммануил: (*встает и подходит к Иисусу*) Эй ты, мудрец! Ты столь высокого мнения о себе. Смотри, не упади.

Ноэми: Оставь его. Пусть беседует с камнями, может, камни ему покажутся умнее.

Еммануил: А я не могу видеть его презрительную улыбку.

Моисей: Ребята, оставьте его. Пусть думает, что хочет. Самуил, ты ведь сам виноват.

Самуил: Моисей, чем он лучше нас? Мы никак не можем понять.

Еммануил: Смотрите, смотрите, он разговаривает с Богом.

Самсон: Он великодушно прощает нас, глупых и убогих.
(Подходит к Иисусу и протягивает руки к хитону.) Позволь мне, ничтожному, недостойному твоего взгляда, коснуться твоей одежды. Униженно просит тебя раб твой.

Иисус: Ты, шавка Самуила, не пой с чужого голоса.

Толкает его локтем. Самсон неожиданно падает.

Все расступаются.

Сусанна: (наклоняется над Самсоном) Что ты сделал, Иисус?

Иисус: Что я сделал?

Сусанна: Но он же... не дышит.

Гаснет свет. Иисус остается наедине с Хором.

Иисус: Я не хотел этой смерти. Умер тот, кто так любил жизнь и так хотел жить, кто провел все юные годы свои в болезни и не видел ничего, кроме страдания. Как несправедливо.

Хор: Призри, услыши меня, Господи, Боже мой!

Просвети очи мои, да не усну я сном смертным⁷.

Иисус: Это пение отлетающей души? Но Самсон не воскреснет!

Хор: Господи! Силою твою веселится царь

И о спасении твоем безмерно радуется.

Ты дал ему, чего желало сердце его,

И прошения уст его не отринул.

Ибо ты встретил его благословениями благости,

Возложил на голову его венец из чистого золота.

Он просил у тебя жизни —

Ты дал ему долголенствие на век и век⁸.

⁷Пс. 12 ст. 4.

⁸Пс. 20, ст. 2–5.

Акт 4

Двор Анны и Иоакима. Входит Иисус.

Иоаким: А, разбойник пришел! Что там случилось с сыном Ионафана?

Анна: Да оставь ты его в покое; бедный мальчик, он и так измучен. Какой у тебя усталый вид, Иисус.

Иоаким: А ты молчи, молчи, не заступайся за него. Пусть он сам говорит. Мальчик. В девятнадцать лет — и все ещё мальчик. У меня в твои годы и дети были, и семья. Как вол работал!

Анна: Садись, садись, Иисус. А я как раз ужин готовлю. Будешь ужинать?

Иисус: Д-да.

Анна: Вот и хорошо. Я-то уж знаю, что ты любишь. (Уходит)

Иоаким: Ну, выкладывай.

Иисус: Что выкладывать? С Самсоном и раньше случалось. А тут он как-то упал. Виском стукнулся. Я ходил к нему домой. Лежит тихонько, словно не умер, а заснул, бледный такой. Жалко. И отца его жалко.

Иоаким: А как хотел Ионафан его вылечить! Никаких денег не жалел. И все прахом. Вот так, случайно. Ну, как дела у твоего отца?

Иисус: Да, налоги все растут, а доходов нет и нет.

Иоаким: И не говори. Разве я мог знать во времена моей юности, что увижу такое? Евреев убивают, евреи убивают друг друга, евреи покидают Родину и отрекаются от своей религии. Ох, забыли, забыли мы Господа, вот и наслал он на нас за это проклятых римлян. Ну так что, Иисус? Жениться тебе надо, вот что. Дай мне посмотреть на твоих детей, пока ещё глаза у меня не ослепли. Товарищи-то ведь все, поди, уже женатые. Девушка на примете есть?

Иисус: Да я пока не собираюсь вроде.

Иоаким: А зря. Я гляжу, вкривь ты пошел. Говорят, философией стал увлекаться, любишь мечтать в одиночест-

ве. А ведь ты был такой умный мальчик, что я всегда говорил себе: «Вот Иисус выбьется в люди. Он не чета нам». А Иисус никак взрослым стать не может. Все в учениках у отца ходит. Самуил ведь младше тебя, а уже сам и зарабатывает, и сестру содержит.

Иисус: Ну и что.

Иоаким: Неужели ты хочешь стать бродягой, всю жизнь побираться, не имея куска хлеба на завтрашний день?

Иисус: Ну почему же. У греков, например

Иоаким: Опять эти эллины, эти римляне! Конечно, молодежь теперь умнее нас, вы гонитесь за всем чужеземным и забываете заветы своих предков. Никогда это не доведет вас до добра, помяни мое слово, Иисус. Не знаю, как вы будете жить. Все рушится, все. Вы не почитаете наши законы. Сейчас и по-арамейски-то говорить неприлично становится, все по-гречески норовят, мол, и мы не чужды Риму, не варвары какие-нибудь. Слово-то какое выдумали: варвары. Только и думаете, как бы римское гражданство себе состряпать. Я знаю, это все Самуил. Некому ему окопот дать, он сам себе голова. Говорят, и в доме у него все эллинское. А ты как воск, каждый лепит, что хочет.

Иисус: Но ты только что хвалил его иставил мне в пример.

Иоаким: Ну, вам жить, вам жить. Я-то уже свое отжил. Только знай, Иисус, я никому не говорю, но тебе скажу, потому как ты любимый внук мой: скоро все переменится, совсем все. Уже недолго осталось ждать. Я знак видел, и знак этот был (шепотом) кровавый. Погибель всем нам, значит, выйдет, и кесарю — погибель! Вот как.

Входит Пантер.

Пантер: Ну что, Иоаким?

Иоаким: Что?

Пантер: Как внук-то твой, Иисус-то?

Иоаким: Хорошо.

Пантер: А болтают про него что?

Иоаким: Да пусть болтают, коль делать нечего. Болтовню-то с умом надо слушать, Пантер.

Иисус: (в сторону) Пантер.

Иоаким: Ну пошли, пошли в дом, Иисус. (Уходит)

Пантер: Так это о тебе говорят, что ты Самсона, который сын Ионафана, убил?

Иисус: А это о тебе говорят, что мою мать застукали с тобой до свадьбы? И что ты — отец мой?

Пантер: А, глупости какие. (Уходит)

Гаснет свет.

Иисус: И вот уже мне уготована судьба любимца всей семьи. Я должен благодарностью ответить на их доброту и участие. Ещё немнога — и их повседневные заботы поглотят меня. Если рвать с семьей — то сейчас, немедленно. Ах, если бы знать наверняка, достоин ли я называться хотя бы мессией.

Хор: Боже! Не премолчи, не безмолвствуй

И не оставайся в покое, Боже⁹!

Иисус: Да, все пророки могли воскрешать мертвых. А похороны — послезавтра. И если я не смогу — конец всем надеждам. Живи, как все, Иисус, и не зарывайся! Вы смеетесь, вы всегда смеетесь. Все мы в мыслях готовы восстать против Бога, а когда настает время действовать, словно цепью сковывает страх и леденит душу. Нет, эта неопределенность больше не может продолжаться. Я должен испытать свою святость.

Хор: Восстань, что спиши, Господи!

Пробудись, не отринь навсегда.

Для чего скрываешь лицо твое?

Забываешь скорбь нашу и угнетение наше?

Ибо душа наша унижена до праха,

Утроба наша прильпнула к земле.

Восстань на помощь нам

И избавь нас ради милости твоей¹⁰.

⁹Пс. 82 ст. 2.

¹⁰Пс. 43 ст. 24–27.

Акт 5

Похороны Самсона. Входит Иисус.

Самуил: (*Еммануилу*) А вот и наш великий пророк, вообразивший себя властелином людей. Посмотрите на его бледно-желтое лицо, сморщившееся от постоянного думания.

В толпе шепот: «Убийца!»

Еммануил: (*Самуилу*) Самуил, что это с ним?

Иуда: Мама, мама, что с Иисусом?

Иисус: Прекратите похороны! Истинно говорю вам: Самсон жив или... или я сейчас воскрешу его.

Моисей: (*преграждает ему дорогу*) Постой, что ты делаешь? Иисус!

Иисус отталкивает его.

Мария: Остановись, сын. Я приказываю тебе!

Иисус: (*подходит к Самсону*) Встань! (*Рвет на нем погребальные пелена, трясет его за плечи.*) Ты живой, слышишь, живой! Самсон, пожалуйста!

Самсон встает. Иисус отскакивает в сторону.

Все молчат. Одна из женщин вскрикивает в истерике.

Иисус вдруг с криком убегает. Гаснет свет. Иисус возвращается, все остальные уходят.

Иисус: Неужели? Свершилось! И, значит, я могу единственным движением этой руки перевернуть мир... Нет, бог должен быть всепрощающ и милосерден. (*Поднимает руку для благословления и стоит так некоторое время.*) Я же нечувствую в себе божественной силы. Или я не знаю себя? (*Хору*) Но мне страшно! И некуда скрыться.

Хор: Остры стрелы твои; — народы падут пред Тобою; — Они — в сердце врагов царя.

Престол твой, Боже, вовек;
Жезл правоты — жезл царства твоего¹¹.

Иисус: И сказано в писании: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упастет народ Мой Израиля.»
Мои предки родились в Вифлееме!

Хор: И будут бояться тебя, доколе пребудут Солнце
и Луна,

В роды родов¹².

Иисус: «Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Вот она, земля Галилеи! Разве Исаия — не великий пророк?

Хор: Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона:
Господствуй среди врагов Твоих¹³.

Иисус: «Се, Отрок Мой, Которого я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя; положу дух Мой на него, и возвестит народам суд... И на имя его будут уповать народы».

Хор: Благословен Господь Бог, Бог Израилев,
Един творящий чудеса¹⁴!

Иисус: Бог един? И, значит, мне уже нет места? Ах, вот пророчество: «Се, Дева во чреве примет и родит сына...»
Это неверно! А собственно, откуда я знаю? А, дева Мария?

Хор: Возвещу определение: Господь сказал Мне:
Ты Сын мой, я ныне родил тебя;
Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе
И пределы земли во владение Тебе;
Ты поразишь их жезлом железным;
Сокрушишь их, как сосуд горшечника¹⁵.

Иисус: Пожалуйста, не надо, не надо петь. Я устал.
У меня болит голова. Не надо...

¹¹ Пс. 44 ст. 6–7.

¹² Пс. 71 ст. 5.

¹³ Пс. 109 ст. 2.

¹⁴ Пс. 71 ст. 18.

¹⁵ Пс. 2 ст. 7–9.

Акт 6

Берег реки. Иисус сидит около костра. Входит Моисей.

Моисей: Иисус, что с тобой? Ты прячешься от людей. Твои родные уже оплакивают тебя, как покойника.

Иисус: Может быть, это и к лучшему. Им ещё придется плакать обо мне.

Моисей: Что ты задумал? Ты стал замкнут и высокомерен, ты живешь словно во сне, не замечая ничего вокруг.

Иисус: Действительно? А если этот признак, отличающий меня от других людей, это — признак бога, Моисей?

Моисей: Какой бог, Иисус! Ты дозанимался своей философией до того, что сходишь с ума.

Иисус: Зачем ты живешь, Моисей?

Моисей: Я мешаю тебе? Так убей меня, ты на это способен!

Иисус: Я не о том. В чем смысл твоей жизни?

Моисей: Просто жить, как все живут. Смысл — он ведом только Господу Богу.

Иисус: (указывает на себя) Богу?

Моисей: Послушай, у меня будет семья, дети, ремесло, в моей жизни будут и праздники, и черные дни, и немного религии для опоры душе. Это не так уж мало. Да просто дышать, видеть, слышать — не так уж мало, Иисус.

Иисус: Наверное, ты прав. Только эта жизнь не по мне. Мне скучно, Моисей, невыносимо скучно.

Моисей: Тогда живи ради чего-нибудь, кого-нибудь.

Иисус: Разве мне будет от этого лучше? Положим, моя душа устроена так, что мне доставляет удовольствие приносить пользу другим, удовольствие думать: «Ах, какой я хороший!» Но рано или поздно и это наскучит мне. Да и я, наверное, неспособен жить для других. Я же не виноват, что таким родился. Служить какой-нибудь идее? Но как найти ту, единственную, самую важную? Меня будет мучить сознание, что я ошибся и посвятил жизнь чему-то второстепенному. Нет, это невыносимо!

Моисей: Но ведь жизнь не бессмысленна!

Иисус: Да, надо только найти смысл. Впрочем, пока мы живы, есть надежда.

Моисей: Какая?

Иисус: Что со смертью всё кончится. Я не хочу такого бессмертия, Моисей.

Моисей: Откуда эти страшные мысли?

Иисус: Откуда? Неужели никто не испытывал ничего подобного? А ведь это нежелание жить воспитывает, придает презрение к суете, поднимает над миром. Оно дает психическую силу. Не следует ли из этого, что сознание бессмысленности своей жизни, придающее небывалое душевное равновесие, является отличительным признаком...

Моисей: Кого?

Иисус: Я чувствую, что я не совсем человек, да, я, наверное, полубог, я чувствую в себе эту силу. Люди не могут смотреть мне в глаза. Все пророки предсказывают приход мессии. Мессию ждут. Так почему же не я? Ведь несколько дней назад я совершил то, что неподвластно человеку. Я воскресил мертвого, Моисей, ты видел это! Я еще сомневался, но происшедшее на похоронах не оставляет сомнений. Я — господь бог.

Моисей: Нет, ты не бог, ты можешь быть только лжецом, Иисус. Бог — тот, сотворивший нашу Вселенную, и второго бога нет и не может быть.

Иисус: Хорошо, но смотри: плотник делает мебель, портной шьет одежду, крестьяне пашут землю, правители следят за исполнением законов.

Моисей: Мытари обирают народ.

Иисус: Мытари обирают народ. А где тот, кто должен двигать их всех к духовному совершенству? Люди умеют только иметь и не знают, что такое быть. Они рабы в плену у своей жизни, той самой подленькой и трусливо обычновенной, о которой ты говорил сейчас. И это страшнее вавилонского плена. За тысячи лет изменилось все: дома, одежда, еда, появились новые страны, мы научились плавить руду и возделывать виноград. Изменилось все, кро-

ме нас самих. Ты ничем не отличаешься от Адама в его представлениях о жизни, свободе, морали, любви. И вот тот, кто вынесет на себе бремя нашей морали, кто сможет изменить людей, того назову я богом.

Моисей: Но это скорее мессия.

Иисус: Мессия исполняет волю того, сидящего в небесах. А я должен думать сам.

Моисей: Мне страшно за тебя, Иисус. Придумав себе цель неисполнимую, вбив в голову свою божескую, выдуманную сущность, ты надорвешься. Освобожденный своей теорией от всякого чувства долга, презирая всех, кроме себя, ты станешь преступником.

Иисус: Именно в силу моей теории я никогда не причиню зла человеку, иначе я потеряю право быть богом. Развернута, отправлена тончайшим ядом будет только моя душа, но не внешность. Внутренняя развращенность: это так красиво, не правда ли, Моисей? Ты хотел бы увидеть конец света? Это, наверное, тоже очень красиво. И смешно.

Моисей: Иисус, я понимаю, я ничего не смогу тебе теперь доказать: это слишком поздно. Но прошу тебя об одном: пойди к своим родителям и успокой их.

Иисус: Да, надо попрощаться с ними, прежде чем идти. Что ты так смотришь на меня? На бога ведь в Палестине не учат.

Моисей: Учат.

Иисус: Да? (*Молча смотрят друг на друга.*) Родители... Моисей, ты говорил, что бог один, там (*показывает на небо*). Но если предположим, только предположим, что я — сын божий.

Моисей: А Иосиф? Ты что делаешь, Иисус? Ведь он — отец твой! Ты, призванный исправлять нравы, подумал о нем?

Иисус: Нет дыма без огня, Моисей. Помнишь Пантера?

Моисей: Это ложь! Иосиф же любит тебя.

Иисус: Ты иди, Моисей. И скажи, что я жив и приду к ним завтра, прощаться. Ты ведь был моим другом, Моисей?

Моисей: Я и сейчас твой друг.

Иисус: Но ты больше не увидишь меня. Прощай.

Моисей: До завтра. (уходит)

Гаснет свет.

Хор: Восхлопните Богу, вся земля.

Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему.

Скажите Богу: как страшен ты в делах твоих!

По множеству силы твоей, покоряются тебе враги твои¹⁶.

Иисус: Итак, завтра я отрекусь от своего отца и публично объявию себя богом. Неужели смогу? Господи, как это все ужасно! Но Иосиф вынесет. У него ещё есть дети. Его боль не будет смертельной. Я нанесу удар мягко, и он простит меня. Нет, надо, чтобы я остался подлецом в его глазах, чтобы он возненавидел и забыл меня. Ну что вы молчите?

Хор: Прийдите и воззрите на дела Бога,

Страшного в делах над сынами человеческими¹⁷.

Иисус: Но вы же сами хотите этого!

Акт 7

Двор дома Иисуса. Входят Мария, Иосиф и Моисей.

Иосиф: Так ты говоришь, Иисус скрывается на берегу?

Моисей: Да, он обещал прийти попрощаться.

Иосиф: Ты не знаешь, куда он пойдет?

Моисей: Не знаю.

Мария: Может быть, к кузену Иоанну?

Моисей: Я не могу сказать вам ничего определенного, но, по-моему, дальше, гораздо дальше.

Мария: Господи, что же с ним будет? (плачут)

Моисей: И еще. Мне очень жаль, что приходится говорить об этом, но вам лучше знать заранее. Иосиф, во время нашего разговора он упомянул о том, что он — сын божий. Я не знаю, верит ли он сам во всю эту чепуху. Ты только прости его, Иосиф! Я знаю, он любит тебя. Не верь мне, Иосиф!

¹⁶ Пс. 65 ст. 1–3.

¹⁷ Пс. 65 ст. 5.

Иосиф: (падает на колени) Господи, за что? Разве я не праведен перед тобой? Как мне жить, если мой сын отрекается от меня? Чем я не угодил Иисусу? Какой отец ему нужен, Моисей, какой?

Моисей: Который бы оправдал его божественные притязания.

Мария: Вставай, Иосиф! Сейчас не время плакать: Иисус!

Входит Иисус.

Иисус: Ты здесь, Моисей? Что ж, все к лучшему. Зови сюда всех, зови соседей и братьев, всех, кого встретишь на пути. Ну что ты стоишь? Ступай!

Моисей уходит. Иисус подходит к Марии.

Иисус: Мама, кто мой отец? Почему ты молчишь? Боишься сказать мне правду?

Мария кладет ему руку на голову.

Мария: Иисус, не смей, иначе я прокляну тебя.

Иисус: Что мне до ваших проклятий! Впрочем, Моисей уже все сказал вам. Тем лучше. Тем лучше! Как забавно, не правда ли? А вот и Самуил со товарищи, и братцы мои с Моисеем.

Мария: Что ты ещё хочешь сделать с нами?

Входят Иаков, Иосия, Симон, Иуда, Есфирь, Фамарь, Самуил, Ревекка, Еммануил, Самсон, Иоанна, Ноэми, Сусанна, Моисей и другие.

Иисус: Заходите, идите сюда. Вы, братья, станьте там, где родители, вы, остальные, напротив (*входит ещё несколько человек*), вы — сюда (*ведет их в глубину сцены*). Ну вот, кажется, всё. Я собрал сюда всех вас, чтобы открыться вам:

я есть бог, сошедший на Землю, чтобы как мессия спасти народ Израиля и всё человечество. Вы удивляетесь и говорите в душе: «Не он ли сосед и брат наш, сын Иосифа и Марии? Мы знаем его. Он плотник». Вы слепы, потому что блуждаете в потемках своих мелких дум и страстей и не видите Бога. Спасайте свою душу, пока не поздно. Я говорю вам! Я должен покинуть вас, но настанет день, когда я вернусь и спрошу с вас за ваши грехи как Господь Бог.

Все молчат.

Самуил: Да что же мы стоим! Он сошел с ума! Вяжите его!

Несколько человек кидаются к Иисусу, он вырывается от них.

Иисус: Да, я сын божий, и вам, глупцы, не дано понять этого!

Еммануил: Не позволяйте ему оплетать нас!

Начинается драка. Моисей пытается защищать Иисуса. Женщины плачут. Мария пытается остановить дерущихся. Иосиф безучастно наблюдает за происходящим. Наконец Иисус отбегает на некоторое расстояние.

Иисус: Я ещё вернусь!

Все замирают на месте.

Иисус: Вернулся я через десять лет.

Действие 2 Акт 1

Пустыня. Иисус сидит около хижины Крестителя. Входит Иоанн Креститель.

Иоанн Креститель: А-а-а! Вор! Что тебе нужно здесь?
Уходи отсюда, мошенник!

Иисус: Насколько я понял, ты — Иоанн, сын левита Захарии, прозванный

Иоанн Креститель: Вор! Убийца! Помогите! Боже, спаси меня, верного слугу твоего

Иисус: Иоанн, я брат твой, Иисус!

Иоанн Креститель: Ты? Господи, огради мой разум от помешательства, укрепи мою плоть и не дай мне упасть от удивления.

Иисус: А теперь утри пену на губах. Такие припадки не делают тебе чести. Существует много других способов захваивать популярность у толпы. И вообще, мог бы и узнать меня.

Иоанн Креститель: Ну да, конечно. Но что ты делаешь в этой пустыни? Только не говори, что обратил лицо твое к Господу, я ненавижу ложь.

Иисус: Неужели я, столько лет бывший вдали от дома и явившийся наконец искать убежища у моего возлюбленного кузена, заслуживаю столь грубый прием?

Иоанн Креститель: Не разумнее ли было искать раскрытия объятий у своих родных, а не у меня, удалившегося от мирской суеты? Или ты уже знаешь?

Иисус: Что? Мои родители — они живы?

Иоанн Креститель: Иосиф — он сразу умер, тогда ещё Иаков сбежал к сикариям. Сбежал и оставил мать с пятью детьми. Впрочем, они уже все поженились, живут счастливо и не помнят о тебе.

Иисус: Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей¹⁸. Как жаль! Но я пришел к тебе не за этим. Что мне моя семья? Я несу с собой новый свет, Иоанн, и этот свет есть я. Я — мессия.

Иоанн Креститель: Мессия?

Иисус: Да! Я могу это доказать! Ты помнишь пророчество? Михей, Исаия, Иезекииль? Ну? Помнишь?

Иоанн Креститель: Ну

¹⁸Пс. 68 ст. 9.

Иисус: Вспомни, все сходится, все предсказания пророков сошлись на мне. И ведь я воскресил человека, ты знаешь, не можешь не знать. Разве это не говорит о том, что я избран Богом?

Иоанн Креститель: Ну и спасай нас от римлян!

Иисус: Не войной и насилием, но новым учением. И ты поможешь мне в этом, Иоанн.

Иоанн Креститель: Я?!

Иисус: Да, ты! Ты, известный своей святостью, ты, который умеет, как никто, увлечь за собой изменчивую толпу! Знаешь ли ты, Иоанн, в чем твое истинное призвание?

Иоанн Креститель: Служить Господу моему

Иисус: Так послужи же мне! Ты был послан на Землю, чтобы провозгласить исполнение пророчеств, чтобы суро-вой проповедью озарить путь нового мессии — меня. Гос-подъ сделал тебя моим братом, чтобы лучи моей святости озарили и твое чено, Господь увлек тебя в пустыню и отво-рил твои уста — ради моего пришествия на Землю.

Иоанн Креститель: Как я узнаю, мессия ли ты?

Иисус: Ты должен узнать меня, если глаза твои не ос-лепли, а сердце не заледенело. Ну же, Иоанн, не уклоняйся от пути, предначертанного тебе Господом, или этому греху не будет прощения!

Иоанн Креститель: Боже! Помоги, не оставь раба своего!

Иисус: Не бойся, я сам помогу тебе, и пусть грехи твои лягут на мою душу. Соглашайся, смотри, весь мир ждет этого часа с радостью и надеждой! Согласись, Иоанн.

Иоанн Креститель: Да, я согласен, согласен.

Иисус: Ты поселил в душе моей радость и ликование. Иди же и укрепись в своем решении. Завтра ты будешь крестить меня.

Иоанн Креститель уходит. Гаснет свет.

Иисус: (Хору) Вы, кажется, недовольны, что я использо-вал юродство брата моего, Иоанна, в своих целях? Ничего, Бог отпустит мне и этот грех. Вам странно слышать: «Бог

простит» — из моих уст? Пойте мне славу. Настал час моего триумфа. (уходит)

Хор: Воздайте Господу, Сыны Божии,
Воздайте Господу славу и честь.
Воздайте Господу славу имени Его;
Поклонитесь Господу в благолепном святылище Его.
Глас Господень над водами;
Бог славы возгрел, Господь над водами многими.
Глас Господа силен, глас Господа величествен.
Глас Господа сокрушаает кедры;
Господь сокрушаает кедры Ливанские
И заставляет их скакать подобно тельцу,
Ливан и Сирион — подобно молодому единорогу.
Глас Господа высекает пламень огня.
Глас Господа потрясает пустыню;
Потрясает Господь пустыню Кадес
Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает
леса;
И во храме Его все возвещают о Его славе.
Господь восседал над потопом;
И будет восседать Господь царем вовек.
Господь даст силу народу своему;
Господь благословит народ свой миром¹⁹.

Акт 2

Берег Иордана. Толпа крестьян, рыбаков и т. д. В толпе несколько фарисеев. Среди прочих — Савл, который в течение всего акта неотрывно следит за Иисусом.
Хор продолжает петь псалм. Входят ученики Иоанна Крестителя.

Первый ученик: Славен Иоанн! Дух его произрос в суровом одиночестве пустыни, опекаемый не ней родителей, не лукавством учителей и наставников, но любящим оком Божиим и словом его!

¹⁹Пс. 28.

Второй ученик: Славен Иоанн! Не в пример вам, книжники и законники, он жил жизнью святой, не в холе и в неге, а во всемерном воздержании, и мудрость его — не то, что мудрость ваша, вызубренная по книгам, по проповедям холеных учителей; мудрость его произрастает от самого Бога, и дела его — это дела Божьи!

Крик из толпы: Это Илия! Новый Илия явился нам, дети Авраама!

Третий ученик: Славен Иоанн! Слушайте! Вот он идет к вам, посланный Богом, покинув свое святое жилище. Слушайте его, люди!

Входит Иоанн Креститель.

Иоанн Креститель: С тяжким камнем на сердце вышел я сегодня к вам; не от радости за вашу праведную жизнь послал меня Господь, но от глубокой печали, терзающей его. Скорбь не дает мне покоя и разрывает мою душу, горькие слезы выели мне глаза: дети Авраама забыли Бога! (*Толпа стонет.*) И узнал я печаль Господа Бога нашего. Глубока она, точно озеро, наполненное слезами людскими; и не было страшнее зрелища. Мы поглязли в грехах и отвернули лицо свое от Господа. Говорите вы: вот мы — избранный народ, но я спрашиваю вас: разве не из глины создал Господь Адама: Так не может ли он и из камней этих сотворить детей Аврааму? В пустыню я удалился, чтобы не видеть грехов, в которых погряз мир, но и туда доносятся плач и стоны всех униженных, ограбленных, растоптанных. Ночь, черная ночь опускается на Палестину. Оглядитесь вокруг: разве не видите вы повсюду предательство и равнодушие, разве не окружают нас картины жестокости, и насилий, и братоубийственных войн? Разве не веет на Родину нашу тлением грязной блудницы, второго Вавилона? Я не побоюсь назвать его: это Рим отправляет мою страну! (*Толпа замирает.*) Сын лже-свидетельствует на отца, брат — на брата, чужеземцы грабят народ! Вы, первосвященники! Что отворачиваете вы от меня лицо свое и лживые уста свои? Как паутиной оплетаете

вы сердца людские. Забыли вы о горестях народа вашего!
Правду ли говорю я вам, люди?

Толпа: Правду!

Иоанн Креститель: Но с радостной вестью послал меня к вам Господь! Сколь ни черна ночь, но всегда наступает утро. Скоро свет воссияет над Палестинской землей! Господь сказал мне: настало исполнение времен, и уже идет к нам спаситель наш, и наступает свет! Я — прах, я недостоин коснуться его, но я взываю к вам, люди, я — глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу! Вот он, взявший на себя все грехи мира, спаситель наш, и имя его — Иисус!

Входит Иисус.

Толпа: Воспещите руками, все народы, восхлопните Богу гласом радости²⁰!

Ученики Иоанна Крестителя: (*ведут Иисуса к людям*) Ибо Господь всевышний страшен — великий царь над всею землею²¹.

Выбегают дети,сыпают Иисуса цветами.

Дети: Слава, слава Иисусу!

Иоанн Креститель: Как я крестил вас водой, так и он примет крещение мое, и явит вам чудо великоле, и глас Господа нашего услышите!

Толпа: Чудо! Чудо!

Иоанн Креститель вводит Иисуса в Иордан и крестит.

Первый ученик: (*изображая голубя*) Сей есть сын мой возлюбленный!

Второй ученик: (*подбегает к Иисусу, указывает одной рукой на небо, другой — на него*) Сей есть сын мой возлюбленный!

²⁰Пс. 46 ст. 2.

²¹Пс. 46 ст. 3.

Третий ученик: (*толле*) Сей есть сын мой возлюбленный!

Толпа: (*падает на колени*) Слава, слава Иисусу!

Иисус выходит из Иордана.

Иоанн Креститель: Братья, воздадим же славу Господу нашему!

Толпа (*поет и танцует*):

Покорил нам народы и племена под ноги наши;
Избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил.

Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном.

Пойте Богу нашему, пойте; пойте царю нашему, пойте.
Ибо Бог — царь всей земли; пойте все разумно.

Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем;

Князья народов собрались к народу Бога Авраамова;
Ибо щиты Земли — Божии; он превознесен над ними²².

Иисус стоит неподвижно, скрестив руки на груди.

Нищий: Иисус, помоги мне! Нет сил больше жить так. Я упал духом и немощен. Сделай так, чтобы я ежедневно был сыт и весел, ты ведь все можешь! Обещаешь? Запомни меня, я — Елеазар!

Богач: Иисус, я сделаю все для тебя, но не отклони моей просьбы. Услуга, о которой я прошу, столь мала и ничтожна: исцели моего сына! Он нечистый, он бы не мог сам прийти сюда. Сейчас он скрывается от людей, точно зверь или грабитель. Я знаю, ты не откажешь мне.

К Иисусу подходят пустынники, ессеи.

Пустынник: Наконец явился тот, чьего появления так давно ждали сыны Авраамовы. Я и эти люди вышли на

²²Пс. 46 ст. 4–10.

время в сей греховный мир, чтобы увидеть тебя. Не обмань наших надежд, Иисус! Дай этим людям царствие небесное, а нашей душе — веселье и покой!

Калека: Иисус, взгляни: мои руки были отрублены римским мечом в жестоком сражении. Исцели меня: я голоден! Нет таких слов, какие бы описали беды, свалившиеся на меня!

Нищий: Иисус, помни: я — Елеазар! } Богач: Иисус, спаси моего мальчика! } вместе

Второй калека: Иисус, правда, что пророки излечивают одним прикосновением своей одежды? (Хватается за край его одежд.) Правда, что пророки излечивают? (Рыдает)

Иисуса окружают женщины с детьми на руках.

Женщина: (шепотом) Иисус, благослови этого ребенка на вечную, счастливую жизнь.

Вторая женщина: Мы будем смиренно молиться тебе, и ты исполнишь все наши просьбы.

Иисус берет ребенка на руки, благословляет и отдает матери.

Молодой крестьянин: Иисус! Помоги мне! Мне страшно! Мне страшно, что урожай мой погибнет от непогоды или будет потравлен, что мытари разорят меня непосильными налогами, что потомство мое погибнет в нескончаемых битвах или рассеется по чужой земле. Исцели меня от вечного страха и успокой, Иисус! (рыдает)

Блудница: Не отврати свое лицо от нас, отверженных! Нас забивают камнями и гонят отовсюду, а сами, да, сами не прочь воспользоваться нашими услугами!

Разбойник: Она права, Иисус, не от хорошей жизни мы стали исчадьями ада. Да, я граблю и не остановлюсь перед убийством, но и меня грабили, и над моей матерью ругались, и мой дом был сожжен!

Второй разбойник: Прости и спаси нас своей любовью, Иисус!

Мытарь: Я — мытарь, и ты вправе проклясть меня, предателя. Но прости же меня, как прощаешь блудниц и разбойников. Взгляни: даже на вершине власти царят страх и уныние!

Фарисей: Да, весь еврейский народ взывает о помощи!

Еврей диаспоры: Я покинул Родину и живу, всеми гонимый и презираемый, на чужбине. Только в каждую пасху я собираюсь в путь, чтобы увидеть Иерусалим. Если ты мессия, сделай так, чтобы я больше не уезжал с Родины!

Толпа: Да, да, сделай это!

Самарянин: А чем мы хуже, мы, язычники? Я — самарянин, мой народ жил рядом с твоим испокон веку и терпел такие же муки. За что ты бросаешь нас на произвол судьбы?

Финикиец: Забудь вражду между евреями и филистимлянами, лучше обрати свой взор на запад, к сердцу беспощадной империи.

Римлянин: Я знаю, вы ненавидите нас, потому что мы называем вас варварами, но, Иисус, вся империя стонет и страждет, кесарь здесь бессилен. Мы, как дети, блуждаем во тьме, плача от ужаса. Тебе — выразить нас к свету! Ты должен спасти Рим!

Перс: И мой народ, что поклоняется Заратушtre, жаждет новой истины!

Китаец: И мы, скромные подданные императора Поднебесной!

Индиец: И мы, наследники Гаутамы!

Японец: И мы, что покорны потомкам Дзимму!

Иисус: Люди! Я слышал вас и проник ваши печали! Доверьтесь мне. Не бойтесь! Вы все мне теперь как дети, и я защищу вас. Всех! Вы только не бойтесь!

вместе

Толпа радостно кричит.

Некто: (выбегает на сцену) Ступайте за мной! В Махере злодейски убит римский офицер, и в час его убийства видели люди знамение божье!

Толпа убегает. Одним из последних уходит Савл.

Нищий: (уходя) Запомни же, я — Елеазар!

На сцене остаются Иисус, Иоанн и Андрей.

Акт 3

Иисус: Все ушли. Кого вы ищете?

Андрей: Я — Андрей, а это вот — Иоанн, мы рыбаки и живем здесь неподалеку.

Иоанн: В Капернауме.

Андрей: Да, в Капернауме.

Иисус: И что же?

Иоанн: Ну, если ты и вправду мессия, то

Андрей: то мы хотим помочь тебе свергнуть Ирода с римлями и воцариться в Палестине навеки.

Иоанн: Веди нас за собой, мы исполним любое твое желание, пусть преступное.

Андрей: Все, что ты скажешь.

Иисус: Так-таки и все? А если я заставлю вас повторить подвиг Иезекииля или ходить по городам и распевать слегка непристойные песенки? Ради свержения проклятого Ирода, конечно. Молчите, легковерные? Вот будете у меня жить монахами.

Иоанн: Как-как?

Иисус: А, монахи — это вроде наших отшельников, только они уже пришли к несомненно умной и полезной мысли, что сходить с ума лучше вместе, а не поодиночке, и потому живут не в пустыне, а в каком-нибудь уединенном монастыре и каждый день думают, чем бы ещё таким отравить себе существование. Каждый монах должен поститься, молиться и соблюдать обет безбрачия.

Андрей: Да, безбрачие — это, конечно, плохо.

Иисус: Ой, просто ужасно. Ты с нами согласен, Иоанн?

Иоанн: А где они живут, эти монахи?

Иисус: Как где? В Индии, конечно.

Иоанн: А ты был в Индии?

Андрей: И видел там людей с собачьими мордами?

Иисус: Конечно, видел. Да и у нас их можно увидеть. Помнишь того фарисея, что стоял ближе всех ко мне? Вот морда, ни дать ни взять, собачья.

Андрей: А ведь и правда!

Иоанн: А где ты ещё был?

Иисус: О, я много где был.

Иоанн: А в Риме был?

Иисус: И в Риме был

Андрей: Кесаря, небось, видел.

Иисус: Видел, как же. Прихожу в Рим, смотрю: он, идет по центральной площади, римляне её форумом зовут, одежды из чистого золота, сияют так, что смотреть больно. А сам бледный, сморщенный, да и ты попробуй-ка походи в такой одежде.

Андрей: А я-то что?

Иисус: Нет, ты попробуй. В общем, подхожу я к нему, стража меня пропускает, конечно, и говорю: «Привет, Тиверий, не узнаешь? Иисус я, из Палестины!»

Иоанн: Может, ты ещё и Господа Бога видел?

Иисус: Конечно, видел.

Андрей: А ведь врешь ты все!

Иисус: Почему вру?

Андрей: Да как это может человек и с кесарем разговаривать, и Бога видеть?

Иисус: А разве Моисей не видел Бога?

Андрей: Ну, сравнил.

Иисус: А чем я хуже Моисея? Чем ты хуже? Ты что, безрукий или слепой? Нет, я не то говорю, я плохо говорю. И калеки, и слабоумные, и все-все-все — мы равны перед Богом, поймите. Бог любит всех вас, и ваши грехи, и ваши странности, любит с той силой и нежностью, на которую только способен. Осознаёте ли вы это? Устремите лицо свое к Господу!

Иоанн: Высоко, не видно.

Иисус: А ты протяни руки, выше, выше. (Иоанн прыгает вверх. Иисус смеется.) Эх, не достанешь!

Андрей: Значит, всех людей после смерти ожидает райское блаженство?

Иисус: Всех людей ожидает царствие небесное, но совсем не то, что вы думаете. Оно откроется вам здесь (*указывает на голову Андрея*) и здесь (*указывает на его сердце*). Ты думал когда-нибудь, что, кроме тела, у тебя есть ещё и душа, великая, божественная? Ты сын Божий, тебе принадлежит вся Вселенная, ты рожден, чтобы любить, а ты прячешься в свою скроплупу, всего боишься и прикрываешь свой страх злой. Я и пришел-то, собственно, чтобы очеловечить людей

Андрей: А ты действительно всё знаешь и всё можешь?

Иисус: Я все могу, и тем, кто любит меня, нечего опасаться

Иоанн: Но почему ты такой веселый, если ты мессия?

Иисус: Теперь я верю, что лицо Господа не открылось тебе, потому что если бы ты видел Его, ты бы понял, что он смеется. От радости жизни! А я — не мессия, точнее, я больше, чем мессия.

Иоанн: Так кто же ты

Иисус: Вы узнаете это когда-нибудь. Если, конечно, пожелаете ещё увидеть меня.

Иоанн: Позволь нам идти с тобой! Иисус!

Андрей: Мы станем твоими учениками и увидим смеющегося Господа!

Иоанн: Ты научишь нас доставать руками до звезд и покажешь нам райский дворец.

Иисус: И бессмертных патриархов.

Иоанн: И танцующих архангелов!

Иисус: И танцующих архангелов. Я согласен. Мир ждет нас! (*Толкает их вперед. Они уходят.*) Они стали моими учениками, и следовали за мной также братья их, Симон и Иаков, все люди прямодушные и открытые, Левий, бывший мытарь, но человек честный и рассудительный, Иуда, преданный, пожалуй, даже слишком преданный мне, и много других, имен которых я зачастую не знал и не помнил. Меня сопровождали толпы, люди тянули руки и касались моих одежд. Может быть, они уверовали, может быть, излечивались. Я не знал. В странствиях и проповедях прошло еще три года.

Действие 3

Акт 1

Крестьянский дом. Входят Иисус и Никодим, за ними — Иуда Искариот, который держится в отдалении.

Иисус: (Никодиму) Чего ты хочешь от меня, фарисей?

Никодим: Равви! Слава о чудесах твоих множится по всей Палестине. Сегодня я сам наблюдал, как толпы сирых и убогих неотступно следуют за тобой, как больные протягивают тебе свои слабые руки — и излечиваются!

Иисус: Слава моя известна и мне самому, посему не трать слов попусту.

Никодим: Я хочу знать, кто ты таков, откуда пришел и с чем.

Иисус: Как, мои ученики не сказали тебе? Хорошо, счи-тай, что я мессия, но это не вся правда обо мне, мне ещё нельзя говорить всего, истину ты узнаешь позже. Я рожден женщиной здесь, в Галилее, но я много ходил по свету, много стран видел и народов узнал. Пришел же я сюда, чтобы освободить народы и сплотить людей воедино, на-учив их любить друг друга. Спрашивай ещё.

Никодим: Но я хочу беседовать с тобой с глазу на глаз (указывает на Иуду).

Иисус: Ах, это? Я не держу тайн от своих учеников и те-бе не советую скрывать от людей свои мысли и чувства, всё равно Господь Бог видит их.

Никодим: Хорошо, Иисус. Ты мудр и знаешь всё. Скажи же мне: зачем живет человек?

Иисус: Как, как ты сказал? Зачем жить?

Никодим: Да, я боюсь растратить свою жизнь, гоняясь за призраками богатства, власти, славы. Так много разных соблазнов.

Иисус: Цель жизни сама откроется тебе, надо только очистить и укрепить свою душу. А для того живи пра-ведно, и думай поболе о других, люби людей и ничего не бойся. А ещё изживи в себе фарисейскую вашу гордыню

и уныние, которым ты одержим. Гордыня — да, вот самый страшный грех. Он разъедает душу, он доводит людей до отчаяния. Все простительно, кроме гордыни. Что ещё ты хочешь сказать?

Никодим: Здесь, в городе, живет фарисей по имени Симон. Он очень хотел говорить с тобой и приглашает тебя с учениками завтра. Будет дан обед в твою честь.

Иисус: Кроме нас, ещё будут гости?

Никодим: Да, всё фарисеи из города. Мне передать, чтобы за тобой послали рабов?

Иисус: Да, конечно. До свидания. (*Удерживает его.*) Помни, что я сказал, и если тебе будет плохо, приди ко мне, я помогу. Теперь ступай.

Никодим: До свидания, равви. (*Уходит.*)

Иисус: Вот, Иуда, предупреди всех, чтоб завтра были готовы. Интересно, что им от меня надо?

Иуда Искриот: Не доверяй им, Иисус. Послушай.

Иисус: Что?

Иуда Искриот: Позволь мне записать твои слова о гордыне и унынии. Ты ещё никогда не говорил нам об этом

Иисус: Да. Бойся, бойся, как бы эти грехи не овладели твоей душой. Тщеславие, чревоугодие, блуд приятно убаюкивают душу, обволакивая её грехом, гордыня же терзает и рвет на части несчастного.

Иуда Искриот: (*глядит в окно*) Там кто-то пришел.

Иисус: Хорошо, иди к ним. Я сейчас.

Иуда Искриот уходит. Гаснет свет.

Иисус: В странствиях и проповедях прошло ещё три года. Но что-то заученными и механическими стали мои движения, и не было былого энтузиазма в душе. Наконец, я понял, что действую по инерции. (*Хору*) Устав от показывания фокусов и лечения бесконечного числа страждущих, я должен идти куда-то и молоть, молоть языком, доказывая что-то, чему сам, возможно, не верю. И это всё? Все обязанности бога? Проповеди и лечение, лечение и пропове-

ди? И только? Неужели я ошибся? Если бы я, как раньше, мог сказать себе: «Иисус, ты ещё молод, ты ещё не начал жить, у тебя все впереди». Но мне уже тридцать, и жизнь проходит! Да? (Хору) Я ошибся?

Хор: Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни.
Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше

всех богов,

Господь творит все, что хочет, на небесах и на Земле,
На морях и во всех безднах²³.

Господи! Что есть человек, что ты знаешь о нем,
И сын человеческий, что ты обращаешь на него вни-
мание?

Человек подобен дуновению,
Дни его — как уклоняющаяся тень²⁴.

Иисус: Вы правы. Человек, кем бы он ни был, — ничто,
ничтожество по сравнению с Господом. Что ж! (уходит)

Акт 2

Дом фарисея Симона. Среди гостей — Иисус с учениками, а также Лазарь и Никодим.

Иисус: Мне ещё нельзя говорить вам всего, ещё не на-
стало время.

Симон: Но мы все жаждем истины, учитель.

Иисус: Истина? Но что есть истина? Вы думаете, я вне-
су вам её извне и это будет истина, а она в вас, в вашей
душе, Бог наделил вас ей. Мое дело — только ослепить вас
небесным светом и зажечь в вас факел веры.

Первый гость: Все-таки как же надо жить, чтобы заслу-
жить милость Божью?

Иисус: Исполняйте то, что я говорил вам, и ваша жизнь бу-
дет праведна, но важна не внешняя сторона, а внутренняя.

Второй гость: Что ты разумеешь под внутренней сто-
роной?

²³ Пс. 134 ст. 1, 5–6.

²⁴ Пс. 143 ст. 3–4.

Иисус: Господь видит и знает не только ваши поступки, но и мысли, и чувства, и подспудные желания. Можно слышать праведником, а душа остается черной.

Симон: Сейчас слуги принесут жаркое.

Слуги вносят жаркое. Входит Мария Магдалина.

Иисус: (Симону) Что это за женщина?

Симон: Это вторая сестра Лазаря. Видишь, она делает ему знаки, а он отворачивается, словно незнаком с ней. Говорят, она падшая женщина. Хочешь, я прикажу выгнать её? (Одному из слуг) Эй!

Иисус: (громко) Ну нет, почему же! (улыбаясь) Зачем же так невежливо? Надеюсь, молодая особа не откажется принять участие в нашем скромном обеде?

Симон: Как ты смеешь, в моем доме!

Иисус: (Симону) Я все объясню. Потом. (Марии Магдалине) Проходи, у нас как раз есть свободное место. Андрей, Иаков, подвиньтесь, дайте пройти.

Мария Магдалина: Право, я даже не знаю, как выразить тебе свою благодарность. Но ты, очевидно, не знаешь, кто я, иначе бы ты не стал столь смело приглашать меня к столу.

Иисус: Знаю. Ты женщина, которая много любила, и потому тебе многое простится.

Мария Магдалина: Только не надо вот этих душеспасительных проповедей, не надо запугивать меня адом, я его боюсь!

Иисус: Да? Это очень приятно слышать. (гостям) Я хочу рассказать вам одну притчу. Один богатый человек, у которого было все: и золото, и скот, и роскошный дом, и рабы — хотел быть ещё богаче. Он отравил своего старого отца, чтобы скорее получить свою долю наследства. Но и этого ему показалось мало. Тогда он подделал завещание и получил все наследство, оставив нищим своего брата. Но и тогда его алчность не достигла предела. Он хитростью выведал, где хранит деньги его друг, а потом убил и ограбил его. И вот однажды этот человек увидел, как голодный ребенок украл

у крестьянина хлеб. Он тут же поймал и начал стыдить вора. Негодованию его не было предела. Так и люди, имея на совести много грехов самых тяжких, но тайных, беспощадны к тем, кто грешил от чистого сердца и чьи грехи на виду. Один Господь Бог безгрешен, но он и милостивее всех нас. А теперь я должен вам сказать, что мне пора.

Симон: Так быстро? Куда же ты?

Первый гость: Побудь ещё с нами, учитель.

Иисус: Посмотри в окно: там томятся в ожидании чуда бедные и больные люди. Они ждут меня, как свою последнюю надежду. Я не могу тратиться на никчемные разговоры. (Ученикам) Идемте!

Андрей: Но Иисус!

Иисус: Я сказал — идемте!

Иисус и его ученики уходят.

Симон: Ну вот, теперь вы убедились, что я не зря пригласил вас сюда? Мы не можем обойти своим вниманием этого равви.

Первый гость: Мы уже упустили время. Раньше, когда народ ещё не ходил за ним толпами, надо было действовать. А теперь — увольте!

Второй гость: Мы не должны отступать. Народ — это большой ребенок, он скоро закидает его камнями и будет столь же искренен, как сейчас.

Третий гость: Кстати, с чего все началось?

Симон: Пророк Иоанн, тот, что проповедовал на Иордане, объявил его мессией.

Четвертый гость: Иоанн? А ведь это неплохая идея. Вы когда-нибудь слышали его проповеди?

Второй гость: Нет, а что?

Четвертый гость: При желании прокуратор мог бы услышать в них очень, очень много предосудительного. Интересная идея.

Второй гость: Я поставлю в известность Каиафу и первосвященников.

Третий гость: Если внимательно слушать проповеди Иисуса, то, я уверен, мы услышим много достойных внимания вещей. Да и открытое непочтение ко всем и всяческим властям.

Первый гость: Только не здесь, только не в Галилее. Надо подождать, когда он уйдет из этих мест, где в каждом доме он и его ученики могут найти убежище.

Симон: Постойте! А что здесь делает (*указывает на Марию Магдалину*) она?

Мария Магдалина: Ну что вы на меня смотрите? Я брата искала! Эй, Лазарь, что ты в уголок зажался и молчишь?

Лазарь: Замолчи сейчас же! Зачем пришла сюда? Прощения вымаливать?

Мария Магдалина: Подумаешь, святые! Вот ты (*указывает на одного из гостей*) чем занимался вчера, а? А покраснел-то как! (*Смеется*.)

Лазарь: Мария! Ты ведешь себя как публичная девка! Да, как настоящая публичная девка! Не успела прийти сюда, как тут же принялась... И за кого — за Иисуса! Ну не смешно ли?

Четвертый гость: Постойте! За Иисуса! Это же чудесно! За Иисуса! Вот кого мы пошлем следить за ним.

Первый гость: Да, да, и пусть она сумеет увести его из Галилеи!

Мария Магдалина: Эй, вы! А моего согласия не хотите спросить? Что вы привязались? Он мне очень даже понравился.

Лазарь: Да ты ничего не понимаешь!

Симон: Куда он может повести народ?

Второй гость: А если он поднимет людей против Ирода?

Четвертый гость: Мы должны предотвратить резню, которую устроят тут римляне.

Мария Магдалина: Подумаешь! (*Симону*) Ну иди ко мне, иди сейчас, скорее... Я должна передать тебе привет от Коринны!

Симон: Мария, ты знаешь, что делают с блудницами? И что сделают с тобой, стоит нам только захотеть?

Мария Магдалина: Мерзавец!

Лазарь: Молчи!

Симон: Так мы договорились?

Мария Магдалина: Мерзавец.

Гаснет свет. Входит Иисус.

Иисус: (Хору) Вот только не надо думать, что я попался. Любовь — это призрак, миф. Ты поддашься её влечению и не успеешь оглянуться — а уже попал в плен — и прощай, все мечты. Я истребил в себе это скотское желание. Я мертв.

Входит Мария Магдалина.

Иисус: Женщина, что ты здесь делаешь?

Мария Магдалина: Твои ученики сказали мне, что ты — бог.

Иисус: И?

Мария Магдалина: Иисусе, миленький, скажи, что мне делать, как мне жить дальше? Я хочу идти с тобой.

Иисус: Чтобы оказывать мне профессиональные услуги? Да, Мария?

Мария Магдалина: Правда, ты мне нравишься, очень. И я тебе, да? Ну скажи!

Иисус: Уходи! Ты ведьма, ты связана с дьяволом, это он хочет околдовать меня! А если сейчас вспыхнет огонь, и пламя сожрет твои лунные чары?

Мария Магдалина: Ты что, Иисусе?

Иисус: Уходи!

Мария Магдалина: Иисус, успокойся. Я никуда не уйду, я буду преследовать тебя, и везде, где будешь ты, буду я, хочешь ты этого или нет. Не гони меня, пожалуйста.

Иисус: Ну и оставайся.

Мария Магдалина целует его и убегает.

Иисус: О, какие сплетни пойдут теперь обо мне! А впрочем, не все ли равно? Не все ли равно.

Акт 3

Крестьянский дом. Ночь. В окно стучат. Входит ученик Иоанна Крестителя.

Ученик: Иисус, я едва смог добраться до тебя. Я шел ночами, а днем скрывался, точно волк или разбойник. Мне каждую секунду угрожает опасность.

Иисус: Что случилось?

Ученик: Иоанн арестован, арестованы его ученики. Мне одному удалось избежать ареста. Много дней я жил возле крепости, в которую их заключили, пока мне не удалось подкупить стражу и проникнуть вовнутрь. Иоанн передал мне: «Найди Иисуса, он один может помочь». Вот письмо, адресовано тебе, читай. (*Достает письмо.*) Я берег его как зеницу ока.

Иисус: Ты, верно, устал и голоден?

Ученик: Я не помню, когда я ел в последний раз, моим единственным желанием было скорее дойти до тебя.

Иисус: (*приносит еду*) Ешь. (*Читает.*) «Меня схватили и обвиняют в нападках на кесаря и тетрарха и в поношении иудейской религии. Проповедь на Иордане не прошла даром. Положение отчаянное. Грозит смертная казнь. Больше писать не могу: идет стража. Спаси, господи, верного слугу твоего. Иоанн.» Смертная казнь.

Ученик: Да, тот солдат тоже говорил мне, что их казнят. Спаси их, Иисус!

Иисус: Но ведь я не могу.

Ученик: Не можешь? Я верю, что ты господь бог, ты — сын божий.

Иисус: Я повторяю: я не могу спасти ни Иоанна, ни его учеников.

Ученик: Что же теперь с нами будет? Иисус, умоляю тебя: спаси! Иначе Иоанн перед смертью принародно проклянет тебя.

Иисус: Есть вещи, проникнуть которые не дано вам, смертным. Кое-что удерживает меня от спасения моего брата. Но

я сделаю все, чем можно облегчить его участь. Не бойся, тебе ничего не грозит, пока я рядом, я защищу тебя. Иди же, иди.

Ученик уходит. Гаснет свет.

Иисус: Что же теперь с ним будет? Что будет с Иоанном, томящимся в замке, в отвратительном замке, где римские всадники стерегут его? Фанатики добьются казни, а потом доберутся и до меня.

Хор: Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его!

Так да скажут избавленные Господом,
Которых избавил он от руки врага²⁵.

Иисус: А ведь я не могу совершить это чудо. Или могу? Так кто же я — бог или лживый проповедник, каких много сейчас в Палестине? Но ведь было же: мне девятнадцать лет, и разрывающий погребальные пелена Самсон, его белое лицо и белые от страха лица соседей. Чем-то я отличаюсь от остальных людей, от смертных. Да, отличаюсь. А это — всего лишь припадок малодушия, и он пройдет.

Хор: Вот нечестивый зачал неправду, был чреват
злобою

И родил себе ложь²⁶.

Иисус: Что вы себе позволяете? Когда я вам лгал, когда? Не знаете, что сказать? А я буду проповедовать. В самом Иерусалиме! На пасхе!

Акт 4

Площадь перед Иерусалимским храмом. Пасха. В толпе — Савл, который издали следит за Иисусом. Иисус, окруженный толпой своих учеников и фарисеев, в глубине сцены.

Первый горожанин: (вбегает) Чудо! Чудо в купальне Вифезда!

Второй горожанин: Что он говорит?

²⁵ Пс. 106 ст. 12.

²⁶ Пс. 7 ст. 15.

Третий горожанин: Что случилось?

Первый горожанин: Только что ангел Господень коснулся рукой воды, вода вскипела, я видел, как по ней пошли пузыри и пар, тут некто, хромой от рождения, первым кинулся в воду и вышел оттуда исцеленным. Я сам видел его: он теперь бегает не хуже меня, а я, клянусь Давидом, с детства никому не уступал в проворности.

Четвертый горожанин: Ну и ловок же был хромой, коли успел прыгнуть в воду.

Пятый горожанин: Молчи ты, я сам видел, как у людей от купания в этой воде затягивались раны. (*Расходятся.*)

Иисус: Вы слепо и фанатично следуете законам Моисея и готовы безжалостно покарать каждого, кто осмелится поднять свой голос против вас. Между тем, реальности нашей жизни требуют

Фарисей: Ничего они не требуют! Прежде всего — верность своим корням. Оттого и все беды общества, что проповедники вроде тебя вводят народ в заблуждение. (*Удаляются.*)

Первый сикарий: (*тихо*) Мои люди давно готовы. Сейчас самое удобное время: пасха, в городе легко затеряться.

Второй сикарий: (*так же*) Ты уверен, что план убийства продуман достаточно тщательно? (*Продавцу, громко*) Я куплю у тебя вот этого голубя. (*Покупает.*) Учти, что после смерти тетрарха сюда стянут все войска, возможна резня.

Первый сикарий: Тем лучше. Это вызовет возмущение народа. Прокуратор не должен остаться в живых. А мы уйдем в Самарию.

Второй сикарий: Это далеко и ненадежно. Я бы предполил пройти через пустыню.

Первый сикарий: Там мы будем слишком заметны, и затем, убийство не самоцель. (*Уходят.*)

Иисус: Этот догмат ничем не оправдан.

Фарисей: Однако есть новая трактовка.

Иисус: Мне начинает казаться, что мудрецы синедриона топчутся на одном месте, толкуя и перетолковывая священное писание. Большая часть вашей деятельности

сводится к тому, чтобы узнать и запомнить многочисленные трактовки, а затем составить из них свою.

Фарисей: Я не согласен с тобой. Разве можно измерять деятельность Гиллеля, создателя масоры, или Симеона... (Уходят.)

Первый торговец: Слышал историю? Встречаются фарисей (*изображает фарисея*) с саддукеем (*изображает саддукея, второй торговец смеется*). Ты чего? Я ж ещё ничего не сказал. Так вот, встречаются фарисей с саддукеем. Фарисей и говорит: «Горе нам! Горе нам!» — и эдак волосы на себе рвет. «Да чего ты?» «Да вот мессия явился.» А саддукей...

Второй торговец: А ну замолчи! Ты шути, да знай меру, греховодник.

Первый торговец: А я чего?

Фарисей: Это уточняет постановку вопроса.

Иисус: Однако заповеди нужно признать весьма внешними. Что значит: «Не убий»? Должно осуждаться само подспудное желание зла, насилия.

Фарисей: Это все заключено здесь, причем в столь краткой и ясной форме.

Самсон: (*кричит*) Вор! вор! (*Бросается к фарисею.*) Я вижу, ты человек, имеющий положение в обществе, прошу, ради бога (*тащит его к прилавку менялы*)

Фарисей: Да что тебе надо?

Самсон: (*указывает на менялу*) У меня украли деньги!

Меняла: Он врет! Он вымогал у меня монеты!

Иисус: Да говорите же по очереди!

Фарисей: (*Самсону*) Мы слушаем тебя.

Самсон: Дело в том, что я — Самсон, сын Ионафана, галилеянин.

Действие 4

Акт 1

Самсон: Отец мой нажил своё богатство честным трудом, и я, его единственный сын, преуспел в приумножении наследства. Ни разу не обманул я ни одного человека.

Фарисей: Ближе к делу давай.

Самсон: Да, сейчас. Дело в том, что я с детства страдаю одной странной болезнью, и как ни старались меня вылечить, ничто не помогало. Время от времени я словно теряю сознание. Иногда это бывает очень сильно. Раз, я помню, мне было лет восемнадцать, меня чуть не схоронили живым, да и похоронили бы, спасибо одному парню. Помню, очнулся я и ничего не могу понять: на том я свете или ещё на этом, кругом плач, пение, а я лежу спеленат так, что не пошевелиться. Чувствую, воздуха уже не хватает, а кричать не могу: сил нет. Тут слышу, кричит кто-то, на всю жизнь этот крик запомнил: «Встань, Самсон!» Думаю, ну, Господь меня зовет. Чувствую, что снова засыпаю, ну, тут он на мне погребальные пелена-то и порвал. Век ему благодарен буду. И ведь парень-то был так себе, мямяля, и помыкал им кто хотел, ухватиться он в жизни ни за что не мог. Он из дома ушел потом, и ни слуху о нем, ни духу.

Иисус: Да говори же по существу, бездельник.

Самсон: Да, да. Со мной ещё не раз случалось такое, но мои домашние уже не пугались. Сусанна, жена моя, уж сколько раз меня так воскрешала потом. Ну вот, а бывает со мной и так, что я ненадолго будто засну, а сам стою, как ни в чем не бывало. И такой-то момент настал сейчас. А этот мошенник увидел, что я не в себе, и деньги мои украдал, а сам говорит, что я ему вместо трехсот монет давал только три.

Меняла: Болезнь твоя — это кара божья. Видно, ты любишь дурачить честных людей. Чем докажешь, что дал мне триста динариев?

Фарисей: (*Иисусу*) Ну что? Забавный случай, не правда ли?

Иисус: А тебе не забавно, что эти торговцы оскверняют храм своим присутствием? Там, где следует думать о Боге и о душе, они делают деньги!

Иисус опрокидывает прилавок менялы, хватает связку веревок и начинает крошить всё подряд. К нему при-

соединяется ещё несколько человек. Через некоторое время все прилавки опрокинуты, животные отпущены на свободу. Торговцы и менялы собирают деньги.

Первый торговец: (указывая на Иисуса) А, вот он, этот негодяй!

Иисус: Ты чем-то недоволен?

Первый торговец: Ещё бы, черт возьми!

Второй торговец: Кто ты такой, что смеешь здесь командиновать?

Иисус: Я? Господь бог ваш, сошедший на эту грешную землю!

Третий торговец: Чего?

Четвертый торговец: Нет, пусть он докажет.

Иисус: Охотно. Разрушьте этот храм, а я его воздвигну, ну, скажем, за три дня.

Пятый торговец: Вот выдумал!

Второй торговец: А ты его сам разрушь, а потом воздвигни.

Иисус: А я не хочу. Да что вы схватились за свое барахло? Разогнитесь хоть раз и взгляните вокруг! Посмотрите на пташек небесных: они не сеют, не жнут, а всегда сыты, посмотрите на цветы полевые: разве есть что-нибудь лучше их одеяния? Свободнее надо быть, свободнее! (Ученикам) Пойдемте. (Они уходят.)

Гаснет свет.

Иисус: Вот и все. Больше нету бога. Неужели все мое могущество основывалось на этом единственном чуде? Зачем же тогда вся эта ложь, все маленькие, гаденькие подлости? Тринадцать лет. (Хору) Скажите что-нибудь!

Хор: Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой,

Бог мой — скала моя; на него я уповаю;

Щит мой, рог спасения моего и убежище мое²⁷.

²⁷ Пс. 17 ст. 3.

Иисус: Не издевайтесь, вы же сами толкнули меня на этот путь, вы нашептывали мне коварные соблазнительные мысли — и теперь ни слова, ни намека на сочувствие?

Хор: Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь²⁸.

Иисус: Да пощадите же меня!

Хор: Возлюблю тебя, Господи, крепость моя²⁹!

Иисус: Хорошо, я сам нашел спасение: мое учение! Ведь оно не так уж плохо, и разве важно, бог принес его людям или просто Иисус. Надо только исчезнуть скорее, пока меня не разоблачили, и оставить учеников. Уйти? Куда и зачем? Нежели ещё не поздно начать всё сначала? Как смешно снова думать о смысле жизни, когда жизнь уже прожита. Как нелепо. Да, у меня ещё есть возможность все исправить. А может, и не было ничего? Походил по берегам Иордана сумасшедший Иисус, покричал о чём-то, и умер, и умер. Ведь есть же Бог на земле. Он простит, он поймет меня. Спаси меня, Господи!

Хор: Ибо ты не оставил души моей в аде³⁰!

Иисус: Что вам ещё надо, слуги дьявола?

Хор: Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не скрыты от тебя³¹.

Иисус: Замолчите! Мне надоело ваше пение!

Акт 2

Дом в Иерусалиме.

Иоанн: (за сценой) Иисус! (входит)

Иисус: А, Иоанн. (В сторону) Бедняга.

Иоанн: Иисус, там, во дворе, собрались больные, калеки. Они ждут тебя.

Иисус: Пусть идут домой и займутся чем-нибудь более достойным.

²⁸Пс. 17 ст. 4.

²⁹Пс. 17 ст. 2.

³⁰Пс. 15 ст. 10.

³¹Пс. 68 ст. 6.

Иоанн: Что?

Иисус: Ну что ты так удивленно смотришь на меня? Мне надоело тратить свою жизнь на чужие болячки.

Иоанн: Неужели тебе безразлична их судьба?

Иисус: Да, вот представь себе. Ну что стоишь? Иди, скажи им, что я умер, заболел чумой, что меня схватили войска прокуратора.

Иоанн: Не пойду. Ты стараешься казаться хуже, чем ты есть, а я знаю, что ты никогда не совершишь и не сделаешь подлость.

Иисус: Я? Да я всю свою жизнь только тем и занимаюсь, что лгу и делаю подлости, делаю подлости и лгу!

Иоанн: А я все равно не верю!

Иисус: Да, ты, наверное, уже понял, с какой сволочью имеешь дело.

Иоанн: Неправда!

Иисус: Самое странное знаешь что? Что ты почему-то любишь меня, предчувствуешь, что я за человек, — и все равно любишь. Моя душа давно сгнила. Я труп, я холодею, от меня несет трупным ядом, я весь плаваю в гное. Сколько тебе лет, Иоанн?

Иоанн: Почти двадцать.

Иисус: Почти двадцать. В твоем возрасте я был неплохим юнцом, но, понимаешь, мне надоело махать топором. Думал, что если уж я, сам Его Величество Я соизволил явиться на этот свет, то меня непременно ждет что-то очень интересное и возвышенное. А тут — нормальная, полуживотная жизнь, то есть работать за жалкие гроши и делать детей, растить их. А я не хотел. Скучно. Недостойно Моего Величества. Ну, натворил глупостей, испугался и сбежал из дома.

Иоанн: Замолчи, хватит.

Иисус: Нет уж, я договорю. Мне всегда нравилось издеваться над дураками. Я понадергал цитат у всяких философов и создал учение, Учение с большой буквы. Потом обучился всяким трюкам, которые так забавляют вас; кстати, это очень просто, хочешь, я тебя научу? Нашел пару

пророчеств. Я — бог! Ну разве не смешно? А вы-то, вы-то, идиоты, поверили! Какие у вас упоительно серьезные мордашки бывают.

Иоанн: Иисус, ты нездоров!

Иисус: Ты что, не боишься меня? Великого Бога не боишься? Но всякая шутка надоедает. Мне тоже надоело. Уж лучше жить нормальным скотом, чем с утра до ночи произносить проповеди и лечить больных. Никакого разнообразия.

Иоанн: И ты снова сбежишь?

Иисус: Не знаю. Право, мне все равно. Я устал. (*Уходит*.)

Иуда Искриот: (*выходит из соседней комнаты*) Ай да Иисус!

Иоанн: Ты подслушивал?

Иуда Искриот: Черт возьми, я что, виноват, что оказался здесь? Вот это да! Наобещал златые горы... Жалкий обманщик и полусумасшедший трус! Перевернуть все вверх дном и сбежать! Надо сейчас же поставить в известность власти.

Иоанн: Не волнуйся, его арестуют и без тебя. Ты знаешь, недавно казнен его кузен Иоанн?

Иуда Искриот: Как! Креститель? Но ведь если арестуют Иисуса, то и нас могут схватить вместе с ним! Иоанн, надо успеть опередить события.

Иоанн: Опомнись! Он так доверял тебе. Ты предать его хочешь?

Иуда Искриот: Ах, прекраснодушный мальчик! Он обманул меня, а теперь я прозрел. Иисус же нас подставит под удар ради своего спасения, своего удовольствия. Он сейчас смеялся над тобой. Знал, кого выбрать. Ты все равно все простишь. Нет, я не юродивый и заниматься самоистязанием не хочу!

Иоанн: Иисус не злодей. Иуда, дай ему уйти. Ведь ничего уже не изменить, только дай ему уйти!

Иуда Искриот: Значит, ты не со мной. Ничего, обойдусь, невелика помощь. Ты же не выдашь меня, а?

Иоанн: Нет, клянусь!

Иуда Искариот: Это подло и нехорошо. Это предательство. Смотри, Иоанн, я на тебя надеюсь. (Уходит.)

Гаснет свет.

Иоанн: Что делать? Рассказать всем? Зачем я поклялся? Мне не поверят, или Иисус, Иисус станет негодяем не только в глазах Иуды. Его распнут. Но останется память. Добрая память. Рассказать Иисусу, чтобы он бежал? Нет, он не сбежит. Распнут — это ведь так забавно. Ему либо уйти, покрыв свое имя позором, либо умереть в муках. Будет распятие и розовый рассвет. Ах, я ненавижу крест — этот символ позора и пытки! Неужели я убью Иисуса?

Акт 3

Тот же дом в Иерусалиме. Иисус. Входит Мария Магдалина.

Мария Магдалина: Иисус! Я так беспокоилась.

Иисус молча указывает ей на место рядом с собой. Она садится.

Мария Магдалина: Что с тобой происходит? (Обнимает его.) Ты даже не можешь себе представить, что ты делаешь со мной, Иисус. Я уже очень давно не смеялась, я теперь почти все время плачу. Я пришла предупредить: фарисеи готовят твой арест.

Иисус: Да? Это не опасно. У них нет большинства в синедрионе.

Мария Магдалина: Все серьезней, чем ты думаешь. Необходимо срочно что-то предпринять! У меня есть кое-что против Каиафы. Если надо, Коринна заявит и будет готова поклясться, что он бывал в ее доме и говорил там крамольные речи против кесаря. Используй это. Заручись поддержкой саддукеев или хотя бы римских властей, делай что-нибудь!

Иисус: Не-а.

Мария Магдалина: Но тебя же арестуют!

Иисус: Арестуют? Да. Ну и что?

Мария Магдалина: Если ты попадешь к ним, тебя разо-
пнут!

Иисус: Меня арестуют и убьют, и я буду свободен. А по-
том случится великое чудо, о котором заговорит вся Пале-
стина... Нет, лучше не надо. Я просто воскресну и сбегу.

Мария Магдалина: Ты хочешь бросить всех нас?

Иисус: Ты ничего не поняла!

Мария Магдалина: Я все поняла: тебе надоело быть
мессией.

Иисус: Я смогу уйти навсегда, забыть это проклятое
место. И когда память обо мне умрет, моя совесть будет
чиста. Думаешь, не выдержу распятия? Я ведь не боюсь.
Ведь боль — это только наш страх перед болью. Ты не ве-
ришь в меня?

Мария Магдалина: Верю, верю, только как же ты буд-
ешь жить дальше? Ведь жить-то надо!

Иисус: Надо? Зачем?

Мария Магдалина: И тебе не удастся уйти с чистой
совестью, потому что я сделаю все, слышишь, все, чтобы
о тебе помнили как о боге. Сейчас, когда ты так близко, мне
ничего не надо, но я имею право на память. Ты, Иисус, при-
шел, чтобы завладеть этим миром, а я — чтобы отдаваться
ему. И то, чего не смог ты, смогу я. Когда ты думал о чем-
нибудь, кроме своих истерзанных нервов? Ты смеялся, ты
сжигал чужое в своей ненасытной тоске, и поэтому ты сло-
мался.

Иисус: Откуда ты знаешь? Нет, это чудовищная неправ-
да! За что так жестоко? Я не знал, что ты можешь.

Мария Магдалина: Могу. И я одна имею на это право.

Иисус: Но все равно уже ничего не исправить.

Мария Магдалина: Иисус, но как же дети?

Иисус: Дети? Какие еще дети? Что ты хочешь этим ска-
зать?

Мария Магдалина: Дети, эти маленькие существа, ко-

торые останутся после тебя, чтобы продолжилась жизнь. Когда-нибудь ты поймешь, что это и есть то главное, которое ты так долго искал. И все твои теории — ничто по сравнению с ними. Дай, я благословлю тебя, как ты учили. (*Крестит его и целует в лоб.*) Да сохранит тебя Господь. Люди тебе уже не помогут. Уходи сейчас, сразу. Прощаться не надо.

Иисус: Но если меня разопнут, ты придешь на Голгофу?

Мария Магдалина: (в сторону) Мой бог, даже на память о тебе у меня ничего не осталось.

Иисус: «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна»³². (уходит)

Мария Магдалина плачет. Гаснет свет.

Хор: О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его, и не нашла его. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный твой?»³³

Акт 4

Гефсиманский сад. Входит смеющийся Иисус с учениками.

Иисус: (хлопает по плечу Симона) А я и не знал, что ты такой отъявленный скандалист. Ну я, допустим, погорячился немного, а зачем ты, о Симон, скажи мне, так тряс за плечи несчастного торговца скотом, что бедный старик чуть не отошел в мир иной, а чудесные, как последний туалет Иродиады, одежды какого-то перса, побывавшего в твоих руках, явили собой такое зрелище, что целомудренные иудейские девушки были оскорблены в своих лучших чувствах?

Симон (Петр): А я хотел вытрясти из него деньги!

³² Песнь Песней, гл. 1 ст. 14.

³³ Песнь Песней, гл. 1 ст. 15; гл. 3 ст. 2; гл. 6 ст. 1.

Иисус: Э, да ты, никак, захмелел. А ну трезвей скорее, не то мы сейчас спустим тебя в колодец.

Симон (Петр): Да я совсем-совсем... Ну смотри! (*Дышит ему в лицо*.)

Иисус: Фи, разве можно так напиваться на пасху? А ну пошли, пошли (*Тащат его к колодцу, остальные помогают*.)

Симон (Петр): Помогите! Спасите!

Его окатывают ведром воды.

Иисус: А что с тобой, Иоанн?

Иоанн: (улыбается) Ничего.

Иисус: Не надо меня обманывать. Ребята, готов поспорить, что радости земные не обошли и нашего Иоанна. (*Шепотом*) Скажи скорей, как её зовут?

Иоанн: Где Иуда?

Иисус: Он ушел по делам, не бойся, я сказал ему, где нас искать.

Иоанн: Уйдем отсюда! Здесь так душно и жарко, ни малейшего ветерка. Иисус, пойдем, я должен тебе кое-что показать.

Иисус: Кстати, а вот и он. Клянусь, у нашего Иуды никогда еще не было столь чудесной свиты.

Входит Иуда с храмовой стражей Иерусалимского храма, за ними — группа первосвященников с Каиафой и фарисеи, среди которых — Савл.

Иисус: (в сторону) Уже?

Иоанн: (в сторону) Уже?

Капитан храмовой стражи: (Иуде) Который?

Иисус: Кого вы ищете?

Капитан: Иисуса из Галилеи, выдающего себя за мессию.

Иисус: Это я.

Капитан: В таком случае я должен арестовать тебя.

Левий: (встает между капитаном и Иисусом) Мотивируйте свой арест.

Солдат: Заткнись, оборванец!

Капитан: (читает) Решением суда синедриона арестовать вместе с учениками вышеозначенного Иисуса, обвиняемого в оскорблении кесаря, поношении иудейской религии и тетрарха, в подстрекательстве к восстанию и захвату власти, в нарушении иудейских законов, в смуте, учиненной в Иерусалимском храме.

Левий: Вы должны доказать

Фарисей: Обвинения подкрепляются показаниями Иуды из Кериата Иудейского, который готов поклясться, что Иисус выдавал себя за иудейского царя и находился в преступном сговоре с Иоанном по прозвищу Креститель, недавно казненным за измену.

Симон (Петр): Ты гнусный лжец, я сейчас покажу тебе (бросается вперед).

Иисус: (останавливает его) Стой, Симон. Я лучше знаю, что надо делать.

Иаков Зеведеев: Покажи им, чего ты стёишь, Иисус.

Иисус рассматривает первосвященников.

Иисус: А, и фарисеи здесь, и саддукеи. Вечные враги, а ведь успели сговориться. Когда? Как?

Первосвященник: Да вот представь себе!

Первосвященники и фарисеи смеются.

Иисус: Каиафа! Я должен поговорить с тобой. Наедине.

Первосвященник: Не соглашайся! Он опасен.

Каиафа: (знаком останавливает его) Я спокоен.

Иисус и Каиафа отходят в сторону.

Иисус: Зачем тебе эти люди? (кивает на учеников) Отпусти.

Каиафа: А почему бы мне и не арестовать их?

Иисус: Без меня они так же опасны, как новорожденные ягнята.

Каиафа: Они преступники.

Иисус: А сам ты без греха? Не помнишь случаем, что говорил две недели назад в доме гетеры Коринны?

Каиафа: Что тебе надо?

Иисус: Я же сказал: отпусти этих людей.

Каиафа: А ты сам?

Иисус: Обо мне не беспокойся. (Ученикам) А вы что стоят? Бегите отсюда, бегите! Скорее!

Ученики убегают.

Иисус: Вы, конечно же, постараетесь приговорить меня к смерти?

Каиафа: Непременно. Будь уверен.

Иисус: (страже) Пойдемте.

Уходят все, кроме Иуды Искариота. Гаснет свет.

Иуда Искариот: Ушли. Зло будет достойно наказано. Его будут судить и казнят. А мне надо куда-то идти. Меня должно ждать много новых дел, потому что мне некогда больше думать об Иисусе.

Хор: Отверзлись уста нечестивые и уста коварные;
Говорят со мною языком лживым³⁴.

Иуда Искариот: Что? Что это за крашеные маски? Не о них ли говорил этот новоиспеченный бог? А обещал-то, обещал-то! Новый свет и новый смысл. Как же я, дурак, поверил? Зачем? Зачем мне теперь жить? Неужели — как раньше? А теперь-то я стал предателем! Я не человека предал, я бога предал! Да, бога! Сволочь, трус, негодяй! Неужели мне нет оправдания? Нет, Господь поймет меня, просто... я уже не встречу человека лучше.

Хор: Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его³⁵.

Иуда Искариот: Как же мне быть? Скажите! Вы ведь всегда подсказывали Иисусу.

³⁴ Пс. 108 ст. 2.

³⁵ Пс. 111 ст. 1.

Хор: Я исчезаю, как уклоняющаяся тень³⁶.

Иуда Искариот: Я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Мир тебе, Иисус! Ты ведь тоже страдал, совсем как я, но я осознал твое величие, хотя поздно. Пусть по тебе останется добрая память. Я — Иуда, я — буду проклят. Пусть Господь примет тебя и дарует тебе блаженство. Меня же ждут вечные муки!

Хор: Когда будет судиться, да выйдет виновным,
И молитва его да будет в грех;
Да не будет сострадающего ему;
Да не будет милующего сирот его;
Да облечется проклятием, как ризою,
И да войдет оно, как вода, во внутренности его и, как елей,
в кости его.
Да будет оно ему как одежда, в которую он одевается,
И как пояс, которым всегда опоясывается.
Таково воздаяние от Господа³⁷!

Слышится стук молотков.

Akt 5

Тюрьма. Иисус. Слышен стук молотков. Входит Иоанн.

Иоанн: (шепотом) Иисус!

Иисус: Ты? Что ты здесь делаешь, Иоанн? Иди домой!

Иоанн: (показывает нож) Я пришел, чтобы убить тебя, Иисус.

Иисус: Что? Не надо, Иоанн. Ты же такой хороший мальчик, честный, добрый. И вдруг — убийца!

Иоанн: У меня не поднимается рука, но все равно (отворачивается и замахиваетя)

Они борются. Иисус прижимает Иоанна к стенке. Иоаннроняет нож. Иисус отшвыривает его в сторону.

³⁶ Пс. 108 ст. 23

³⁷ Пс. 108 ст. 7-12 18-20

Иоанн: Возьми. Сделай это сам. Всё же лучше, чем распятие.

Иисус: Нет, не лучше. Не убивайтесь по мне, мне не будет очень больно. Просто я вдруг поднимусь так высоко, как может только распятый. Я должен пострадать, понимаешь? И ради вас да исполнится пророчество.

Иоанн: Что мессия будет поставлен в один ряд с разбойниками? Я недавно наткнулся на него в святом писании.

Иисус: Оно самое. Ты все правильно понял! Ты всегда понимал меня, как никто другой.

Стражник: (за сценой) Эй, ты, царь Иудейский!

Иоанн: Иисус, я пойду с тобой!

Иисус: Нет, Иоанн, ты должен оставаться. Здесь ты нужнее.

Стражник: (за сценой) Эй, ты где?

Иисус: Здесь! (Иоанну) Спасибо тебе, но возьми нож и убирайся, пока тебя не поймали. И запомни: я не умираю, а ухожу. Дальше, куда зовет меня мой долг. Ты понял? Прощай. Прощайте!

Иоанн кивает. Иисус уходит.

Иоанн: (шепотом) Он не умер, он только ушел.

Гаснет свет.

Хор (вместе с Иоанном): Да восстанет Бог, и расточатся враги Его,

И да бегут от лица Его ненавидящие Его!

Как рассеивается дым, ты рассей их;

Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут
от лица Божия.

А праведники да возвеселятся, да возрадуются
пред Богом и восторжествуют в радости³⁸.

³⁸Пс. 67 ст. 2–4.

Акт 6

Пещера Иосафатовой долины. Задняя стена занавешена. Андрей, Иаков Зеведеев, Левий.

Симон (Петр): (входит) Прокуратор дал согласие на смертную казнь.

Иаков Зеведеев: Быть не может!

Симон (Петр): Кесарь... Иисуса обвинили в подстрекательстве к свержению кесаря.

Левий: Будь проклята эта империя!

Андрей: Так, какие ещё новости?

Симон (Петр): Кстати, я не вижу Иоанна. Иаков, ты не в курсе, что с ним?

Иаков Зеведеев: Я сам бы хотел это знать. В последнее время он постоянно исчезает куда-то с таинственным видом, ничего мне не говорит.

Левий: Мальчишки, они не о чем не думают, словно бессмертны.

Симон (Петр): Когда я видел Иисуса у первосвященников, мимо меня мелькнула чья-то фигура, очень похожая на Иоанна.

Иаков Зеведеев: К делу, что тебе удалось узнать?

Симон (Петр): Да ничего. Я не мог даже подойти к страже или расспросить рабов. Меня там слишком хорошо знают.

Иаков Зеведеев: Вот как раз тебя-то там и не знают.

Левий: Неужели все планы рухнули? Что же ещё?

Андрей: Думай, Левий, думай, ты же лучше всех нас разбираешься в законах.

Симон (Петр): А Иуда-то, вот негодяй. Ну и змею же пргрел Иисус.

Иаков Зеведеев: Теперь поздно об этом говорить. Надо решать, что делать дальше.

Симон (Петр): А что делать? Иисус будет казнен, пора уже признать, что здесь мы бессильны. У них — стража, римские легионеры, наверное. А мы можем рассчитывать человек на двадцать, и те невооружены. Толпа будет против нас, я знаю, я был сегодня в Иерусалиме.

Иаков Зеведеев: Лучше скажи, что ты просто трусишь. Уже нет времени думать, надо делать хоть что-нибудь, а мы весь день прождали тебя!

Симон (Петр): А я не пойму, что ты командуешь. Помоему, тебя ещё никто не назначил наместником божьим. Нам пора подумать о своей безопасности. В Иерусалиме мы все висим на волоске. Нам надо бежать!

Андрей: И куда же?

Симон (Петр): Чем дальше, тем лучше. В Самарию, в Сирию. Мы же не просто спрячемся, мы будем проповедовать его учение.

Андрей: Ну и напугали тебя сегодня, братец.

Симон (Петр): Ты смеешься, а кто защитит нас здесь? Может быть, папенька с маменькой?

Андрей: У нас есть влиятельные сторонники в синедрионе.

Симон (Петр): Что-то пока их не видно.

Левий: Андрей, ты что, не видишь, что здесь пахнет предательством?

Симон (Петр): Что? Ты, мытарь, смеешь обвинять меня в предательстве, римский лизоблюд? Ты ведь, кажется, дружил с Иудой? Может, вы это вместе с ним, а? И деньги пополам?

Симон (Петр) схватывается с Левием, Андрей пытается остановить его.

Андрей: Замолчи, Симон!

Левий: Андрей, ты ещё не понял? Он хочет казаться единственным добродетельным последователем Иисуса! } вместе

Иаков Зеведеев: (разнимает их) Перестаньте, нам сейчас не времяссориться!

Входит Иоанн.

Иоанн: Что вы делаете? Ведь сегодня —

Все останавливаются и оборачиваются.

Иоанн: Сегодня был распят и умер Иисус.

Слышен треск рвущейся материи. Падает занавес на задней стене. Виден крест, на котором распят Иисус. Гаснет свет. Хор поет 21 псалм («Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?»). Входят и встают на колени ученики и последователи Иисуса.

Андрей: (из темноты) Господи, я Андрей! Господи, прости, что не смог защитить тебя. Я хранил твою веру все страшные годы и обращал на истинный путь столько, сколько мог.

Луч света падает на Иакова Зеведеева. (Затем в светодом пятне оказываются по очереди Левий, Лука, Иаков.)

Иаков Зеведеев: Господи, я Иаков, сын Зеведеев, я боролся за тебя и отстаивал учение твое в Иерусалиме и был за то убит.

Левий: Господи, я, Левий, не умею нести людям проповедь и исцелять, но я написал книгу и дал её людям, как свет истины.

Лука: Господи, я Лука, я нес твое учение в далекие земли, я рассказывал эллинам и ромеям о жизни твоей и твоих учеников, я лечил, учил, обращал.

Иаков: Иисус, я брат твой, Иаков! Я долго блуждал в поисках истины! Я искал её у сикариев и назореев, пока не понял, что истина — это брат мой, Иисус. Я, сколько мог, среди жителей Иерусалимских и

Симон (Петр): (отталкивает Иакова) Господи, ты возвысил меня над людьми и не будешь отрицать этого. И не Симоном зовусь я отныне, а Петром, то есть камнем основания учения твоего! В Самарии, Галилее, Иопии и Кесарии проповедовал я учение твое! И я стал первым наместником Бога на Земле, и за это кесарь распял меня в Риме.

Савл: Господи, я Савл, и ты ещё не призвал меня, но я сумел словом и делом сплотить учеников твоих! Я посеял семена твоего учения и заложил церкви Сирии, Антиохии, Кипра, Пергии, Иконии, Киликии, Македонии, Фессалоник, Верии, Афин, Коринфа, Галатии, Фригии, Ефеса, Кесарии, Крита, Рима.

Марк: Господи, я Марк, принесший блаженную весть о тебе!

Стефан: Господи, я Стефан, замученный врагами твоими!

Филипп: Господи, я Филипп!

Варфоломей: Господи, я Варфоломей!

Фома: Господи, я Фома!

Остальные: Господи! Господи!

} вместе

Пока Савл перечисляет названия стран и городов

Входит дьявол.

Дьявол: Пошли прочь!

Все замолкают. Хор прекращает пение. Дьявол выгоняет всех, кроме Хора.

Дьявол: Они все лгут, Иисус! Ты думал, что сможешь уйти вот так, с чистой совестью, словно и не было ничего? Не выйдет! Мир слишком изменится, мой молчаливый мес-сия. Смотри!

На сцене появляется картина разграбления Рима вар-варами.

Дьявол: Падет великая империя, и новые люди, приведши с востока и севера, наполнят Европу. Они примут твою веру, Иисус.

Какой-либо эпизод средневековой истории.

Дьявол: Новые поколения людей будут сменять друг друга, троны — возникать и рушиться, другие империи и народы

восстанут из праха и обратятся в прах, но вера, созданная тобой, останется незыблемой, Иисус.

Мучения святых.

Дьявол: И будут распяты, и преданы огню, и всякой пытке, и голоду, и самобичеванию. Ради тебя, Иисус.

Голодающая, нищая деревня.

Дьявол: И будут жить хуже скотов, и прозябать в голоде и невежестве, и гибнуть от мора, чтобы утопали в роскоши твои ненасытные ученики, Иисус.

Крестовый поход.

Дьявол: И отправятся в путь, и достигнут Палестины, и будут великие войны с наследниками другого, тоже возомнившего себя мессией. И умрут они, и убьют других, чтобы приблизиться к гробу господню. Твоему, Иисус. А народ твой будет рассеян по земле, и гоним, и проклят во веки веков, потому что он предал тебя, Иисус.

Сожжение еретика или расправа с альбигойцами.

Дьявол: И умрут мучительной смертью люди достойные, мудрейшие и честнейшие среди собратьев своих, и вырезаны будут жены, и дети, и внуки их. Ради тебя, Иисус.

Эпизод конкисты.

Дьявол: И позарятся на земли чужие, и будут истреблены народы во имя твое, Иисус!

Картина исчезает.

Дьявол: Мир изменится так, что настанет новая эпоха, освященная твоим именем. Кровью и огнем останется она в памяти человечества.

Хор: Господи помилуй!

Иисус: Постойте, я же хотел совсем не так!

Хор: Но за тебя умерщвляют нас всякий день³⁹.

Иисус: Я же хотел совсем не так... Моисей (умирает)

Дьявол: (Хору) Что же вы? Ну! «Воспойте Господу песнь новую!»

Хор: Воспойте Господу песнь новую;

Воспойте Господу, вся земля!⁴⁰

Замолкает, затем запевает 19 псалм, дьявол пытается остановить Хор, сорвать маски, но тщетно.

Да услышит тебя Господь в день печали,
Да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
Да пошлет тебе помощь из Святилища,
И с Сиона да подкрепит тебя.
Да воспомянет все жертвоприношения твои
И всесожжение твое да сделает тучным.
Да даст тебе по сердцу твоему,
И все намерения твои да исполнит.
Мы возрадуемся о спасении твоем
И во имя Бога нашего поднимем знамя.
Да исполнит Господь все прошения твои.
Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего;
Отвечает ему со святых небес Своих
Могуществом спасающей десницы Своей.
Иные — колесницами, иные — конями,
А мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся:
Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
Господи! спаси царя и услышь нас,
Когда будем взвывать к Тебе.

1991.

³⁹Пс. 49 ст. 23.

⁴⁰Пс. 95 ст. 1.

Запоздавшее послесловие

На первый взгляд, вышеизложенная версия жизни Иисуса находится в грубом противоречии с евангельской. В действительности обе версии вполне могут сосуществовать, не мешая друг другу. Во-первых, нам известно, что Бог-Сын претерпел немало физических мучений, искупая человеческие грехи, а также взял на себя все наши страдания и болезни. (Из этого, кстати, следует, что он вряд ли был физически красив, скорее, наоборот.) Но нравственные муки часто бывают куда страшнее физических. Не должен ли был Иисус испытать весь ужас нравственных мучений и познать тяжесть нравственного несовершенства, морального уродства? Отсюда мерзкие и отнюдь не божественные черты характера. Во-вторых, святое писание рисует нам Иисуса возрастающим и исполняющимся премудрости. Знал ли он сразу, с младенческих лет, о своей божественной сущности? Когда он начал осознавать её? А что если правда открывалась ему постепенно, и только на кресте он, уже став Богом нравственно, понял все до конца? Противоречит ли это евангелиям? Что касается мелких фраз и деталей, то любой достаточно изворотливый и бес совестный ум мог бы при желании объяснить и согласовать их.

Советы режиссеру

Данные заметки обязаны своим появлением на свет тому факту, что, перечитав свою пьесу через несколько лет после ее написания, я увидела, насколько неправильно или неточно могут быть истолкованы многие мои мысли. Здесь сказалась и моя относительно низкая литературная квалификация, и то, что пьеса эта по замыслу своему предназначалась для какого-то особого театра, какой сейчас вряд ли существует, и неизвестно, будет ли существовать вообще.

Допускай ценность самых разных интерпретаций своего текста, я не требую от режиссера видеть в этих заметках

обязательное руководство к действию, но надеюсь на уважительное или хотя бы внимательное отношение к моему мнению относительно моей собственной пьесы.

1. Сквозь всю пьесу так или иначе слышен неизменный настойчивый вопрос: «Зачем жить?» (Впрочем, при желании тут можно услышать еще одно: «Что такое Бог?») В этих мукичательных непрестанных поисках смысла жизни, заведомо обреченных на неудачу, так как любое предназначение человека кажется при ближайшем рассмотрении низким и недостойным («синдром Иисуса»), можно увидеть проявление одной из многочисленных болезней духа, болезней особого сорта. Их можно было бы называть «психическо-философскими» или «психофилософскими» болезнями, а науку о них — «психофилософией», так как труд философа сочетается в них со свойствами, пробуждающими интерес психиатра. Эта боль и этот труд, достаточно редкие в настоящее время, могут получить большее распространение в будущем: возрастающая неестественность психической жизни людей способствует их возникновению, как неестественность физической жизни вызывает появление многочисленных физических болезней.

2. Мой текст может показаться чересчур кратким и обрывистым, а потому годящимся более для киносценария, чем для театральной пьесы. Здесь предполагалось, что в пустотах между отдельными фразами возникнут некие психологические паузы, с силой, большей, чем во время разговоров, передающие состояние души действующих лиц. Требовать от актера, чтобы он заражал зрителя своим душевным состоянием без каких-либо внешних средств, с помощью одной атмосферы, симпатии, было бы чрезмерной смелостью с моей стороны (хотя в будущем театре такое представляется вполне осуществимым), выбор здесь принадлежит каждому режиссеру и каждому актеру. Однако следует помнить, что я изначально предполагала гораздо большее внимание уделять интонации, а не смыслу слов, и выстраивать оценку персонажа в зависимости

от его действий, а не фраз, которые часто передают настроение, но никак не подлинные мысли.

3. Деление пьесы на «световые» и «темновые» части может показаться необычным, тем не менее оно вполне оправдано. Все световые части предполагается наделить настроением, обозначаемым как «всеобщая неустроенность»: рушится привычный уклад жизни, древняя религия, национальное самосознание. Общая неустроенность — один из факторов, толкающих Иисуса на поиски смысла жизни, но, начиная со второго действия пьесы, именно Иисус должен все больше и больше ощущаться как защитник, спасатель, именно в действиях Иисуса — и с его ведома, и без — должно разрешиться некое эмоциональное напряжение, порождаемое дискомфортом всеобщей неустроенности.

Аналогично все темновые части пьесы наделяются настроением, которое я предпочитаю называть «предчувствие средневековья». Это настроение начинается с робких попыток Иисуса предугадать будущее мира, оно проявляется время от времени в отдельных, нетипичных для дохристианской эпохи, словах и фразах, опять-таки порождая эмоциональное напряжение и дискомфорт и находя свое разрешение в речи дьявола в последнем действии пьесы.

Оба настроения с течением пьесы незримо охватывают все большую территорию, что условно можно обозначить так: дом — город — нация — империя — мир.

Темновые сцены можно трактовать как фантазии Иисуса, время от времени — особенно в последнем действии — мешающиеся с реальностью и фантазиями других героев. Аналогично не следует искать рационального объяснения для 2 акта II действия, лучше понимать его как сцену символическую, народный праздник, крещение Иисуса, которое могло бы стать центральным событием пьесы и которое вырождается в фарс. Здесь важны не слова и не поступки участников праздника, а то воздействие, которое они оказывают на неподвижного, молчаливого Иисуса. В зависимости от желания можно акцентировать размыш-

ления главного героя, можно поставить красочную, яркую насмешку над ним.

4. В пьесе имеется особое коллективное действующее лицо: Хор. Он, в отличие от Хора античности, не имеет истолкования: это не актеры, не еврейские юноши, не римские солдаты и даже не слуги дьявола, хотя такая интерпретация была бы наиболее близка к истине. Хор пьесы — лицо абстрактное, хотя, наподобие античного Хора, может распадаться на полутория (например, в 1 акте III действия), как-то единообразно двигаться (движениями Хора я бы не советовала злоупотреблять).

5. При чтении пьесы может показаться непонятным, откуда необразованные ремесленники научились рассуждениям на философские темы, откуда они нахватались достаточно сложных слов греко-римского происхождения. Во-первых, следует помнить, что и в древнееврейском языке имелись соответствующие «умные» слова, и если перевод их на русский язык подразумевает употребление слов иностранного происхождения, это еще не означает, что данные слова сложны.

Во-вторых, и это главное, что следует учитывать при объяснении всех исторических противоречий, психологических несоответствий эпохе и прочего, пьеса создавалась как произведение об обеих эпохах: Иисуса и моей. Можно видеть в ней пьесу об эпохе Иисуса и эпохе, соответствующей времени постановки пьесы, одновременно. Акцентируя нюансы, присущие разным эпохам, можно создавать картины сложного переплетения времен.

То же самое относится и к национальности. В героях пьесы можно увидеть сразу и евреев, и космополитов, подчеркнуть те или иные черты. Более сложной является другая проблема: как обозначить на сцене социальные типы (фарисей, мытарь, первосвященник), если неискушенный зритель ничего не знает о Палестине начала нашей эры, и не только костюмы, но и названия разных слоев еврейского общества не несут для него никакой информации. Я надеюсь, что тот или иной выход в этой ситуации все-таки возможен.

6. Хотелось бы надеяться на уважительное отношение к авторскому тексту. При решении спорных вопросов предпочтение следует отдавать рукописному варианту, если он сохранится. Не стоит слишком доверять черновикам, даже если они будут доступны: окончательная редакция текста могла и не попасть в них. Надеюсь, понятна будет разница в написании слова «бог» то с заглавной, то со строчной буквы, здесь отразилось запутанное отношение к богу Иисуса, а также его (и моих) современников. Отсутствие точки в конце предложения никогда не является опиской или опечаткой, оно означает, что говорящего перебили или он сам почему-либо не смог твердо и внятно закончить предложение.

Кроме общих советов, хотелось бы составить авторские трактовки тех персонажей, чей характер не всегда можно вывести непосредственно из текста. (Персонажи перечислены в той же последовательности, в какой они даны в начале пьесы.)

Иисус

Иисус одержим поисками смысла жизни. Он не может начать жизнь, он не живет, а убивает время, пока этот смысл не найден. Каждое мгновение своего существования Иисус чувствует, что жизнь уходит от него, проходит мимо, и смысл ее надо постараться найти как можно скорее, но, перебирая в уме различные варианты жизни, он с отвращением отбрасывает их, видя в них ловушку: остановиться на чем-то одном означало бы ограничить себя, лишиться возможности подыскать другое занятие. Отвращением к обычной жизни (психологическим «отталкиванием») объясняется и его ужас перед семьей и рождением детей. Мучения его сравнимы по своей силе с тем отчаянием, в которое погружаются иногда потерявшие близких, или со страданиями психически больного человека.

И вот наконец ему кажется, что выход найден. У Иисуса достает силы провести неоспоримое логическое рассуж-

дение: Бог превыше всего на свете, поэтому самое лучшее, самое достойное занятие для любого из живущих — стать Богом. Выход этот кажется ему единственным и неопровергимым, и тогда Иисус впадает в неразрешимое противоречие: только верующий, воспитанный в духе строгого единобожия, может счесть призвание Бога самым достойным предназначением для себя, но именно как верующий, воспитанный в духе строгого единобожия, он не может объявить себя Богом, ведь это святотатство. Отсюда происходит та путаница в словах и взглядах Иисуса, когда он объявляет себя то Богом, то мессией, то Божиим сыном, сочиняет совершенно нерелигиозную теорию о ремесле бога — исправителя душ людских, верит в свое всемогущество и сомневается в нем. Несмотря на все противоречия, Иисус не может отказаться от своей Божественности: это означало бы возврат к невыносимым мучениям периода поисков смысла жизни.

Играя Иисуса в первом действии пьесы, следует помнить, что один из факторов, толкающих его на поиски смысла жизни, — удел изгоя как в семье, так и в компании старых друзей: они перестали понимать друг друга. И в проповеди, которую Иисус собрался читать Самуилу, и в стремлении самому быть режиссером той сцены, где он публично объявил себя Богом и мессией (7 Акт I действия), можно увидеть попытку взять реванш за прежнее пренебрежение.

Краткая сцена воскрешения Самсона (5 акт I действия) должна быть наполнена страхом Иисуса: он действует, как автомат, боясь, что задуманное им чудо не удастся, и боясь, что оно получится. Возможно, он не должен был приходить на похороны, и к родителям Марии его услали, лишь бы убрать на какое-то время из Назарета. Тогда одним фактом своего появления у гроба Самсона он уже перешел грань дозволенного. Возможно, нечаянно громкая реплика младшего брата («Мама, мама, что с Иисусом?») стала последним толчком к совершению чуда.

Чем ближе к концу I действия, тем отчетливее мне видится принужденность, автоматичность действий Иисуса:

у него просто нет другого выхода. Исключение составляет разве что разговор с Моисеем. Возможно, высказывая отчаянные мысли и совершая не менее отчаянные поступки, все I действие он постоянно оглядывается на Хор, ведь Хор изъясняется псалмами, текст которых священен и неоспорим.

От фантазии актера зависит внутренний облик Иисуса, только что вернувшегося в Палестину после десяти лет странствий. По-видимому, здесь можно сыграть человека более опытного, более уверенного, взирающего на остальных с чувством несомненного превосходства. Действия его вполне разумны: он подчиняет себе Иоанна Крестителя и использует свое родство с популярным пророком для быстрого завоевания известности. Но на «народном празднике» Иисус (и это надо суметь выразить фактически без единой реплики, взглядами, жестами) впервые сталкивается с ремеслом Бога как оно есть и понимает, что от него ждут не высокомерных пророчеств и поучений, а доброты и понимания, помохи и защиты без надежды на награду или благодарность. И здесь Иисус, неспособный, по его собственным словам, жить для других, совершает определенный выбор, соглашаясь взять на себя нелегкую ношу Господа Бога. Его разговор с Андреем и Иоанном (какая сила сорвала их с места и толкнула на поиски пророка или мессии?), по-видимому, является чистым экспромтом. Не в такую форму думал он облечь свое учение. Его общение с апостолами — это общение с малыми детьми («Вы все мне теперь как дети»), которых надо увлечь своими идеями, обещая небывалые чудеса, защиту, а также вечное блаженство в будущем. Недаром апостолы, оставшиеся без Иисуса, ведут себя как школьники, брошенные учителем или отцом.

С «народного праздника» начинается становление Иисуса как бога, причем полностью его божественность раскрывается, как это ни парадоксально, именно тогда, когда Иисус теряет веру в свою Божественную сущность. По-видимому, в образе Иисуса-бога должны найтись осно-

вания для последующего искажения (в сторону большего благородства) его морального облика, аналогичного искажению и приукрашиванию его физического облика (с чем соглашаются многие верующие исследователи христианства). Здесь можно акцентировать стремление поддержать и ободрить каждого из людей: Симона в Гефсиманском саду, Иоанна в тюрьме, — умение сказать каждому то, что тот желает услышать. Можно подумать о наличии у Иисуса каких-то выдающихся, гениальных даже, задатков пророка и философа, удачно совпавших с его стремлением к Божественности.

В то же время интересна интерпретация божественной сущности Иисуса как складывающейся под давлением внешних обстоятельств: не ведая, что творит, он ставит себя в такую ситуацию, в которой обязан, день за днем, час за часом, вести себя как Господь Бог, независимо от желания или умения. Отступить Иисус не может, вот и становится богом, сам толком не понимая, как это у него получается. Вроде бы и задача его не так тяжела: говорить слова, делать определенные жесты, — и непонятно, почему все-таки эта ноша в конце концов становится невыносимой.

Крушение божественных притязаний Иисуса впервые становится заметным после разговора с Никодимом. Во-первых, Иисус понимает, что вопрос: «Зачем жить?» — для него по-прежнему не разрешен, ведь за три года ремесло Бога потеряло свою привлекательность. Во-вторых, Иисус все-таки добр (недаром он ещё в юности склонялся к образу Бога светлого и всепрощающего), и, несмотря на сильно поразивший его вопрос Никодима и поспешные ответы-увертки, он хочет помочь этому фарисею, а помочь нельзя, ведь единственный достойный ответ: «Стань Богом» — годится только для одного человека, Иисус не может сделать богами всех вокруг себя, ценность Бога — именно в его исключительности.

Во всех дальнейших событиях III действия Иисус в основном следит за событиями и за собой в этих событиях (что приводит к пониманию себя и объяснению своих

поступков — от слов о гордыне до злой самокритичности в разговоре с Иоанном — но не к раскаянию), однако мало в чем принимает участие.

Допуская различные интерпретации его характера, я настаиваю на том, что Иисус, даже разочаровавшийся в себе и прогнавший Хор, не отрекается, не может отречься от поисков смысла жизни и попыток увидеть в себе Бога (мне это казалось настолько очевидным, что в тексте пьесы вышеизложенное не подтверждается никакими репликами). Не стоит воспринимать скандал в Иерусалимском храме или горькое: «Сволочь» — по отношению к себе как нечто большее, чем попытки скрыть охватившее его отчаяние. В его отношении к Марии Магдалине можно видеть внезапную симпатию, любовь с первого взгляда или, несмотря на смущение и неловко рассказалую притчу, всего лишь насмешку над собой. Но при словах Марии о детях Иисус, в моем понимании, по-прежнему вздрагивает от отвращения.

В последних актах пьесы актер может сыграть человека, который своими действиями и бездействием беззаботно роет себе могилу, полностью понимая, что, когда могила будет вырыта, ему придется лечь в нее. Внешние обстоятельства, которые он сам для себя создал, делают из него распятого точно так, как раньше делали бога. И последнюю фразу Иисуса: «Но я же хотел совсем не так!» — можно истолковать двояко: как свидетельство ужаса перед содеянным и как равнодушное: «Но виноват-то в этом не я!» — пополам с гордостью: он все-таки стал богом. Впрочем, не надо забывать, что в поведении Иисуса на кресте было нечто, заставившее Хор пощадить его и заступиться за него перед Господом (или увидеть Господа в нем самом).

Дьявол

В зависимости от желания актера внешность и поведение этого персонажа могут быть различны, но я хочу предложить в качестве предмета для размышлений беза-

лаберного мальчишку-переростка, страшного именно своей веселостью взахлеб и беззаботностью. Можно сыграть внезапные приступы эйфории, когда все существо его захлестывает надменная энергия и вера в свою необычайную удачливость (такие приступы должны быть хорошо знакомы тем, кто когда-то перенес маниакальный синдром). Именно беззаботная злая энергия толкает его на бунт. Он не чувствует вины за свои действия, так как видит в них забавное приключение, которое будоражит его душу.

Самуил

В Самуиле, независимо от его беззаботного поведения, должна чувствоватьться необычайная нравственная сила, ведь он, фактически нарушающий большинство еврейских обычаев, становится признанным лидером среди назаретской молодежи, и именно о нем вспоминает в первую очередь старый Иоаким, когда хочет привести Иисусу в пример кого-нибудь из его друзей. В этом персонаже должно быть заметно нечто, заставляющее юного Иисуса, человека тоже потенциально сильного, но еще не нашедшего своего места в жизни, подчиняться Самуилу. Насколько мощным должно быть влияние его идей, если Иисусу через десять с лишним лет суждено вспомнить Самуилово обещание построить новый Иерусалимский храм, когда-то брошенное мимоходом!

Но нравственная сила Самуила, порожденная скорее внешними обстоятельствами (он сирота и вынужден один содержать семью, родственники, судя по всему, ему не помогают, что достаточно необычно по тем временам), вся направлена на спасение от бедности и бесправия, отсюда его заботы о заработках и тяга к культуре греко-римских завоевателей, тяга, влияющая и на Иисуса, способствующая и его отрыву от традиций своего народа.

Внешняя язвительность Самуила проявляется не как брюзжание, а как одно из свидетельств его молодости и энергичности, а также презрения к более защищенным и обеспеченным, но и более слабым ровесникам.

Моисей

Моисей интересен как ближайший друг юного Иисуса. Тип их дружбы, несколько эгоистичной со стороны Иисуса, можно достаточно точно определить, используя понятие «друга-реципиента». Моисей первым узнает самые сокровенные помыслы Иисуса, его философские идеи, но его мнение фактически ничего для Иисуса не значит. Моисей может переживать за него, защищать его и бояться за его будущее, но никакие действия Моисея не могут изменить для Иисуса судьбу, да никаких действий от него и не требуется. Зато именно перед Моисеем Иисус мысленно несет ответственность за свои помыслы и поступки, и именно своего друга Моисея зовет он напоследок на кресте, наряду с другим Моисеем — пророком, чьи законы он пришел нарушать.

В сходной позиции друга-реципиента находится по отношению к Иисусу и Иоанн, только здесь неравенство ещё сильнее, так как надо учесть ещё большее превосходство Иисуса, разницу в возрасте и повышенную эмоциональность и впечатлительность молодого апостола.

Симон (Петр)

Не следует видеть в Петре заведомо плохого человека. Скорее он слаб, и эта слабость может время от времени толкать его на подлые поступки (это и есть своеобразное «отречение Петра»). Однако преданность Петра делу Иисуса несомненна (ведь это будущий глава церкви!) Он с одинаковой страстью может говорить и о побеге из Иерусалима, и о своем распятии, так как оба этих действия ведут к спасению: одно — в земной жизни, другое — в небесной.

Иуда Искариот

Одной из самых сложных сцен пьесы является так называемое «раскаяние Иуды» (темновая часть 4 акта IV дейс-

твия). Артист должен, фактически не говоря ни слова, дать зрителю понять, что Иуда внезапно и отчетливо осознал: объявить себя богом Иисуса заставили нескончаемые поиски смысла жизни, те же самые поиски, которыми одержим и сам Иуда (такова уж примета времени). В крайнем случае здесь можно заставить Иуду после слов: «Зачем мне теперь жить?» — услышать (вспомнить) и слышать ещё и ещё голос Иисуса: «Как, как ты сказал? Зачем жить?» (Ведь Иуда был свидетелем этих слов!)

По сравнению с Иисусом Иуда более жёсток, мрачен и менее добр: каким угрожающим взглядом или жестом вырвал он у Иоанна клятву молчать в 1 акте IV действия? Не склонный к размышлению, Иуда предпочитает действовать под первым влиянием чувств, но и отвечать за свои действия в конце концов не боится.

Мария Магдалина

Мария Магдалина испытывает такое же чисто интуитивное отвращение к правильной размеренной жизни «как у всех», что и Иисус, и Иуда, хотя «синдром Иисуса», возможно, выражен у нее не так явно. Отчего бы иначе ей, сестре достаточно богатого иуважаемого фарисея, становиться блудницей? Любит она Иисуса, испытывает благодарность к человеку, который смог разглядеть и понять в ней родственную душу, или шпионит, напуганная угрозами фарисеев, — не так уж важно. Точнее, все эти причины, по-разному сочетаясь, руководят ее поведением. В ее горьких откровенных словах во время последней встречи с Иисусом можно увидеть и отчаяние женщины, которой пренебрегли, и прозрение любящей матери. Не стоит придавать слишком большого значения её словам о детях, впрочем, каждый актер должен решить для себя сам: победила в ней любовь к Иисусу или отвращение к обыденной жизни в семье, была бы, даже останься Иисус жив, эта победа временной или постоянной.

1997

Конец света

Духовные яды бывают представлены в изящной, на первый взгляд, упаковке и поэтому легко и охотно употребляются, но отравляют душу, сознание человека; особенно страшно, если это душа ребенка, подростка.
Л. Н. Толстой.

Часть 1

Девушка вышла из старого дома и направилась в город. Позади осталась работа, трудная и любимая. Девушка вздохнула поглубже и задрала голову к небу. Многочисленные авто летели мимо нее, и, верно, не один шофер оглядывался, мечтая подвезти ее до города. Но она все шла так же легко и стремительно и только загадочно улыбалась. Там, позади, ей не было равных. Никто, как она, не мог так понимать малейшие душевые движения истерзанных больных. Только ее насмешливая и ласковая улыбка могла так успокаивать и вселять надежду. Загородное шоссе сменилось улицей, улица — садом. Не запнувшись ни за одну корягу, она миновала сад и остановилась перед небольшим двухэтажным домом, окна которого нестерпимо блестели вслед уходящему солнцу. Это был ее дом. Девушка открыла дверь и вошла. Особый, радостный запах дорогих духов поразил ее. «Сегодня праздник нашего города!» — вспомнила девушка. Экстравагантный скелет Роберт выступил из темноты, потирая темно-желтые руки: «Ну, наконец-то! Нárкео уже вернулась и ждет тебя». Лáртне (а девушку звали именно так: Лартне) приветливо подмигнула ему и прошла в столовую.

Она ела с такой жадностью и быстротой, что Наркео перестала расчесывать свои густые непослушные волосы и спросила:

— Послушай, ты не боишься располнеть?

— Ах, На, все это такая вкуснятина. Ну вот, я еще возьму этот мандаринчик и допью кофе с шоколадкой, все. Да и что, по сути, плохого в полноте?

— Я понимаю, ничего, но — если до безобразия? Ведь тогда Яслан оставит тебя, а?

— Яслан? Не знаю, вряд ли, — тонкая морщинка перerezала лоб Лартне и тут же исчезла.

— Ла, — робко подняла глаза Наркео, и по ее смущенному лицу Лартне сразу поняла, что ее сестра снова заводит старый неприятный разговор. Она чуть надулась и покровела.

— Ла, все-таки, почему ты не имеешь от него ребенка?

— Прекрати! — гневно прошептала Ла. — Сейчас же! Мне за глаза хватит одного ребенка: тебя! — но маска гнева тут же слетела, и новая, озорная улыбка появилась на ее лице. — А как у тебя с Миносом? Ты еще ничего не сказала ему?

— Ой, Ла, я нисколько ему не нравлюсь.

— Вздор! Будто я не вижу, какими глазами он на тебя смотрит. К нему в такие моменты опасно подходить — обожжешься!

— Да Минос, он же мухи не обидит.

— Господи, Наркео, какой же он смешной, особенно когда взрывается! Ну дай мне слово, что сегодня же расскажешь ему все. Иначе он так и будет мучить тебя своим восхищенным, молящим взглядом. Ты должна сделать первый шаг.

— Но я не могу! — запрыгала на месте Наркео. — Представь, он ответит, что на это ему наплевать! Как я тогда буду смотреть ему в глаза? Нет уж, пусть лучше он сам.

Лартне обняла сестру и побежала к зеркалу: «Вы два маленьких идиота! Ну посмотри на себя! Разве может он остаться равнодушным к такой красавице? Смотри, у тебя волосы каштановые, а какие пухистые! Не то что мои белобрысые! А глаза-то, глаза! Огромные, только сейчас они очень печальные. Ну ладно, пойдем, сегодня я хочу веселиться!»

Ла надела голубую тунику, так шедшую к ее глазам, и еще одну, прозрачную, и повязала изумительную красненькую ленточку на волосы Наркео, и дала ей свой браслет, так чудно сверкавший на смугловатых запястьях. Девушки побежали через сад на главную площадь, где собирались по праздникам вся молодежь. Скользя по древним булыжникам, они пробирались между лотками, и мальчики, такие яркие мальчики, высокие, широкоплечие, наперебой предлагали им цветы, и фрукты, и напитки, и всякие безделушки. Ла обожала мороженое, и она с наслаждением уничтожала эти холодные разноцветные шарики, чуть щурясь, когда фейерверк освещал уже начинавшее темнеть небо. А Наркео, казалось, не обращала внимания на всех нарядных, приветливых юношей, почтительно расступавшихся перед ней. Она вертелась по сторонам и заглядывала через головы, ища Миноса. Однако, когда он сам вдруг встал перед ними, постоянно откидывая со лба непокорные черные волосы и сверкая дикими, бешеными глазами, Наркео смущилась, и Ла почувствовала, как горячие дрожащие пальцы стиснули ей руку чуть ниже локтя. Минос улыбнулся. Улыбка его действительно была хороша, и за улыбку ему прощалось многое, и все его дикие выходки, и вспыльчивый, необузданный нрав. Он улыбался как-то сразу, и такой радостью, любовью вдруг освещалось его темное лицо, что в эти минуты люди, как завороженные, не сводили с него глаз. Вот и сейчас он стоял, сверкая глазами в ответ на пристальные взгляды девушек, и, очевидно, не знал, что сказать. На конец На пролепетала: «Здравствуй, Минос. Мы так давно не виделись». «Ну вот, ничего глупее не могла придумать», — подумала Ла. Она решительно взяла Миноса за руку, холодно скользнула глазами по его лицу и насмешливо произнесла, как можно четче выговаривая каждое слово: «Ну посмотри на него, Наркео! Тощий, черный, злющий, наверное. И что ты в нем нашла?» — и, беззвучно хохоча, двинулась дальше. У нее были совсем другие планы на этот вечер.

А Минос и Наркео так и остались, точно громом пораженные, глядеть друг на друга.

Солнце еще не встало, а океан был далеко. Дрожа от утреннего холода, Яслан выпрыгнул из окна и поплелся домой. Он угрюмо шел через сад, всматриваясь в чернеющую землю. Он опять ничего не понял, и эта ночь не принесла долгожданной ясности. Он знал: он не любил Лартне. Проводить с ней ночи вошло у него в привычку, такую же, как чистить по утрам зубы и обедать после работы, и эта обыденность тяготила его. Странно, он не помнил начала их любви, не было волнений, сомнений и страсти, которыми так бредит вся молодежь. Кажется, они просто решили, что им будет лучше вдвоем, и все. Яслан не стал ее мужем, и она никогда не просила его об этом. Яслан оглянулся на дом. Где-то на втором этаже беспечно спали эти два сосунка, Минос и Наркео. А Наркео совсем недурна, ее мягкие карие глаза и пушистые волосы так романтичны, а фигура... Яслан невольно усмехнулся. Интересно, что сказала бы Ла, прочитав его мысли? Она издевалась над ним! Да, такая странная, меняющаяся, непонятная. Она называла его грубым мужланом, технарем, ничего не понимающим в людях. Да, он технарь! Да, в сломанном моторе какого-нибудь двигателя ему копаться гораздо интереснее, чем разбирать движения чужой души и тонкие эстетические критерии их искусства. Что ж здесь смешного? И еще вспоминают иногда, точно спохватываются, что естествознание и техника тоже нужны, да вспоминают-то как-то вскользь, мимоходом, из вежливости, чтобы тут же забыть о сухих и докучных цифрах. «Ладно уж, — думают, наверное, женщины, — не надо совсем забывать о материальных ценностях», — и сами не верят своим словам, сами в душе смеются над ними. О, как эти женщины презирают нас, мужчин! Еще бы, мы — грубые приземленные материалисты, еще бы, род человеческий может обойтись без мужчин, а без женщин — никак, куда уж мужчинам до них в тонкости чувств, в глубине познания психологии — то есть во всем том, что отличает людей от животных. Мы

и живем-то только из их милости, только для того, чтобы... Как всегда, при мысли об этом у Яслана сжалось горло. Да, и в любви мужчины, как животные, ищут тела, а не души. А тут еще дети, которых тоже воспитывают они, женщины, а мужчины, почти отвергнутые и всеми презираемые изгои. Женщины выгнали нас из дома, заставив заниматься кучей нужных, постылых дел, и им нельзя перечить. Девочка всегда может выбрать себе занятие по душе, ей открыты все дороги, и мальчику тоже, да, но только с маленькой оговорочкой: мужчина не должен хоряничать и воспитывать дома детей, разве что в крайних случаях. Яс знал несколько таких случаев. Этим людям мужчины сочувствуют (завидуют?), а женщины глядят на них косо. И унизительное ограничение это всегда бесило Яса. А все мирятся, ради них, женщин, ради женской любви. О, с каким покорным сладострастием признаем мы свою неполноценность! Но голова у Яслана работала четко, как маятник часов, подчиняясь ритму шагов. Женщины — мужчины, моральное — материальное, тело — душа. Разве не равно? Ведь как в любимой им и презираемой всеми математике: аксиомы равны, просто заменяя аксиому параллельных на другую, мы получаем иную геометрию, не хуже и не лучше, не «математичнее» прежней. А заменяя женщин на мужчин, моральное — на материальное, получим иное общество... Нет, он, конечно, знал, что, когда чрезмерное развитие техники стало угрожать людям и всей живой природе, когда человечество балансирувало на грани опустошительной войны, на первый план в обществе вышли женщины. Они сумели удержать людей от безумия и направили нашу энергию от бездушных страшных машин к нам самим, отогрели нас своей любовью. Это были великие женщины. И именно с тех пор началась истинная история человечества, в которой, конечно же, женщины играют главную роль, а времена патриархата канули в небытие навсегда. Но поймите же и мою душу, люди! Мою гордую душу, которая не хочет подчиняться никому, никогда! А я рожден рабом женщин и должен всю жизнь быть их рабом. За что? Яслан шел дальше,

и с каждым шагом в голове возникали новые мысли. Ему нравилась такая работа ума, и он сам себе нравился в эти минуты. Добро и зло — не одно и то же? Не представляют ли они собой равную ценность? В нашем обществе люди стремятся к добру, к единению, но заменяют добро на зло, на разъединение — и получаем новое общество, не хуже и не лучше нашего... Ясу стало жутковато. А ведь Лартне тоже не такая, как все. Она не хочет иметь детей, теперь он знал это точно. Он помнил, как презрительно искривилось ее лицо: «Дети? Неужели ты думаешь, Яс, что я посвящу себя какой-то красной, кричащей деточке, буду носиться с ней, забыв о себе и о своем достоинстве, как это делают наши женщины?» Помнится, он сказал ей что-то насчет врожденной добродетельности всех женщин. Интересно, что она с собой делала? Что она делала в те дни лунного месяца, когда девушки должны стонать от боли и истекать кровью? В эти таинственные дни, которых не дано знать мужчинам. Яслан рассмеялся. Он так смеялся в юности, когда женщины ласково гладили его по головке: «Хороший мальчик. Умный, ершистый немного, но хороший мальчик». Выходит, он и Ла — чудесная парочка, недаром благона-меренные дети всегда держались подальше от них. Жаль только, что их зловещая тень падает на добродетельную Наркео, но у нее уже есть Минос. Яслан взглянул на часы и похолодел: он явно опаздывал. Забыв про утреннюю обиду и горечь, он, не заходя домой, помчался на работу, тормозя на поворотах и подпрыгивая, точно мальчишка.

Они сидели по-турецки и пили чай: Яслан, Лартне, Наркео и Минос. Экстравагантный скелет Роберт развалился на ковре, неловко поджав под себя кости ног, и сверкал голубыми глазницами. Лартне вздохнула от усталости. Все утро она убеждала Яса, что На с Мином ни в коем случае не помешают им отдохнуть в горах и приятно провести время. Все утро Яс хмурил белесые брови и говорил, что

против На он ничего не имеет, но этот избалованный абрек с глазами людоеда...

А Наркео побаивалась и недолюбливала Яса, этого противного презрительного Яса с надтреснутым голосом и изработанным, суровым лицом. Как может La любить его, уму не постижимо. Наркео тихонько касалась рукой воспаленного Миноса, все еще не веря, что это не сон, что эта черная голова лежала у нее на плече, что она, Наркео, касалась губами его чудесных усиков, точнее, не усиков даже, а изумительно-го пушка над верхней губой. Он понимал ее до конца, и она понимала его. Теперь-то она знала, что между ними существует высшая, духовная связь, так было предопределено. Ах, как хорошо они вместе мечтали, глядя на звезды, и купались при свечах! Она хотела бы лететь с ним далеко-далеко, в космосе, где будут только они двое и темнота.

— Ехать, ехать!

— Конечно, едем! Завтра же! Значит так, мальчики, завтра, в шесть утра, возле нашего дома. С вещами! А сейчас уматывайте. Роберт, проводи их, а я намечу маршрут.

Часть 2

Матерь мира устало откинула седую прекрасную голову и улыбнулась. Больше сомнений быть не могло: этот мир обречен. Она была мудра, эта старая женщина. Она была так стара, что давно считала всех людей своими детьми, наивными и неразумными. Что ж, вот они и погибнут, как дети, ничего не зная об опасности и ничего не успев понять. И мир снова изменится, уже в который раз. Она была так мудра, что эта мысль не испугала и не взволновала ее, как не испугала ее мысль о собственной гибели. Уходя, она окинет прощальным взглядом Землю и растворится в Вечном.

Часть 3

Неужели, неужели нет правды в этом мире? Не может быть, нельзя поверить, что за одну ночь целый материк

с нашей прекрасной страной ушел под воду, что волны потопа захлестнули человечество с головой и вполне может случиться, что в живых-то остались только мы, четверо. Когда последняя радиостанция умолкла, захлебнувшись, и Минос отшвырнул ставший ненужным приемник, Яс впервые за всю ночь взглянул на Ла. Все смотрели на Ла, и все видели, как некрасивы ее нечесаные, незавитые волосы и опухшие глаза.

— Ничего, у нас еще остался чай. Мы будем пить чай и беседовать, — и Лартне взяла гитару. Она никогда не писала стихов, она только разбирала чужую поэзию, но сегодня мир слишком изменился, поэтому она взяла гитару и запела, а слова сами складывались в строчки.

Сквозь волны и тучи взойдет на Земле Солнце,
Но мы не увидим его никогда больше,
Мы будем лежать бездыханны, морскою усыпаны солью,
Умрем мы спокойно, без стонов, без крови и боли.

Не будет мужчин, да и женщин, ни глупых, ни умных,
ни страшных,
Не будет чудесных садов и глубоких озер, как ни больно,
Вся наша любовь и вражда оказалась напрасной,
Земля поглотит все, морские сметут волны.

И новые люди взойдут в эту грешную землю,
И будут любить и мечтать, умирать и рождаться.
Зачем наша боль им? Что им эти старые стены?
О Боже! Как вынести это, где сил мне набраться?

«И только-то? — невольно подумал Яс. — Воистину, гора родила мышь. Где же все ее эстетические категории, вся утонченность? Нет, видно, все кончено. Мужчина, женщина — не все ли равно?» Как всегда, решение созрело в нем исподволь, и вот сейчас он понял, что будет руководить всем оставшимся человечеством, даже если осталось только их четверо. И Яслан стал осторожным и хитрым, потому что знал, что Лартне свою власть так не отдаст.

А Солнце все-таки взошло, и они еще были живы.

— Лартне, мы с Миносом сходим вниз, посмотрим, что там, потому что если кто-то и остался в живых, то именно здесь, только сюда не дошли волны и землетрясения не было. Верно?

— Яс, от меня и Наркео там было бы больше толка.

— Но Ла, нам легче будет спуститься, и, кроме того, бог знает, что там сейчас, внизу. Мы сильные, мы и от зверей отобьемся, и завалы расчистим, и дикарям, в случае чего, не дадимся.

Лартне взглянула на Яслана, и он только сейчас понял, как она устала, и ему стало жаль ее.

— Ты прав. Идите. Только... вернитесь, пожалуйста, Яс!

— Минос, возвращайся скорее!

Минос бежал по горной дороге, подпрыгивая от нетерпения и не забывая пинать ногами все попадавшиеся ему по пути камни. Он возвращался в лагерь, к девчонкам. Нет, они оказались не одиноки, и сейчас Яслан говорит что-то отряду спасшихся людей о матриархате и патриархате, о новых принципах выживания, ну и пусть говорит, все его слушают. Он, оказывается, такой философ. Минос бы тоже послушал, но ему не терпелось обрадовать На и Лартне. Интересно, какие новости принесет Яс, до чего они там договорятся? Странные мысли высказывает этот парень. Добро и зло... А мужчины ничем не хуже женщин. Да, будут ли теперь эти самодовольные девчонки смеяться над ним, над его вспыльчивостью. А они смеялись над ним, и Наркео тоже смеялась. Минос вспомнил их первую ночь, темноту, ее меняющееся лицо и карие глаза, светившиеся от боли и нежности. Она вела себя с ним, точно мать с любимым ребенком, глупым, беззащитным и добрым. Он был добрым, таким, что мухи не обидят, — а вот теперь станет злым. Дорога оборвалась, и Минос стал карабкаться вверх, цепляясь за камни и вздрагивая всякий

раз, когда его нога скользила и комья земли улетали вниз. Теперь нужны злые. Хватит сюсюканья о душе, нам нужны практические действия, так говорил Яс. Теперь нам нужны мужчины, злые, сильные, а женщины пусть побудут рабынями, пусть узнают, каково было нам, когда мы были людьми второго сорта. Минос почувствовал, как резко похолодел воздух. Восхитительная первобытная злость, которую так и не смогли подавить в нем все проклятые женщины, прорывалась наружу. Он ускорил шаг, ему нужно было скорее туда, в лагерь. Жестокость. Жестокость теперь будет нормой, значит, он будет жестоким. Прямо сейчас, с этого момента, он будет жестоким. Отчего люди бывают добрые? Да оттого что как только подумаю о насилии, тут же представляют себя на месте жертвы — Минос шел вверх — а надо забыть о жертве, надо представлять себя палачом. Да, он сможет представить себя палачом и не представить — жертвой. Чем скорее, тем лучше. Скоро он увидит Наркео! Наркео! От этого имени кровь ударила ему в голову. Мысль о насилии очаровала его своей простотой. Ведь тут-то он никак не сможет представить себя жертвой, только палачом. А она любит его, и он... И он любил ее, а она смеялась над ним. Больше не посмеется! Скорей бы, скорей! Последний рывок — и Минос увидел лагерь, и Наркео побежала ему навстречу. Сама побежала. Она была так близко, что Минос ощутил ее дыхание на своей горячей щеке. Почему она улыбается, когда у нее такие грустные глаза? Она обманывает его, Миноса! Еще смеет обманывать! И Минос схватил ее за руку, понимая, что делает ей больно, он хотел сделать ей больно. Видимо, она что-то поняла, потому что ее глаза стали белыми от испуга и вырвалось запоздалое: «Господи, Минос, почему у тебя такой голодный вид?» — и он изорвал в клочья ее одежду, потом выхватил нож и порезал кожу, и душил ее, чтобы она не могла кричать, и увидел, какие розовые от крови кости, и удивился, что Роберт был желтый, а он должен был быть розовый, потому что кости розовые, а потом он вспомнил, что у него был голодный вид, значит, он был голодный,

и впился зубами в теплое кровоточащее противное мясо, и Наркео уже не сопротивлялась, и он возненавидел ее еще сильнее за это, а потом мозг его погрузился в темноту, и он уже ничего не понимал и не помнил.

«Яслан, где ты был так долго? Я ушла из лагеря встречать тебя, Яслан, а когда я вернулась, Минос и Наркео... Яслан, по-моему, он хотел разорвать ее на части. Он пил ее кровь точно зверь, Яслан! А потом он увидел меня и побежал ко мне, а я закричала от ужаса, потому что он был весь в крови, это так некрасиво, и взгляд его был сумасшедший. И тут Наркео, нет, не она, а какая-то безобразная кровавая туша вдруг поднялась на локтях и поползла к обрыву, а кишкы, Яслан, красные кишкы волочились за ней. Она ползла, как амеба, а Минос не видел, он смотрел на меня. Я не остановила ее, Яслан. Она даже не кричала, а Минос, потом, побежал и хотел прыгнуть за ней, но я схватила его и не отпустила, не знаю, зачем. Лучше бы он прыгнул за ней и разбился. А теперь глаза его остановились, он лег на край обрыва и заплакал. Господи, как он плакал! А потом он начал ругаться. Яслан, я никогда не слышала, чтобы он так ругался. Я вообще не знала, что Минос может так ругаться. Он сейчас молчит, только сидит неподвижно и смотрит туда, вниз. Яслан, это все ты, с твоими глубокомудрыми штучками! Мне нельзя было отпускать Миноса с тобой, Яслан.»

«Лартне, сейчас нам больше некогда ковыряться с его душой. Надо делать, работать. Нам придется бороться за жизнь, бороться отчаянно, грубо. Ты не была внизу и не видела, что там творится. Все разрушено! Нам придется жить в шалашиах и ходить на охоту. И женщинам теперь не руководить. Я спустился вниз и нашел там кучку растерянных, жалких людей. Я успокоил их и объяснил, как надо теперь жить, они пойдут за мной, они будут подчиняться мне во всем. Теперь и ты будешь подчиняться мне во всем.

Хватит! Ты будешь любить моих детей, ты будешь служить мне по дому, ты будешь моей рабой, поняла, Лартне? Я буду любить тебя, я всегда любил тебя, но сейчас время другое, и мир изменился. Смотри, как он нов и прекрасен! Ты чувствуешь, какой свежий стал воздух? Нам надо быть ближе к земле, мы забыли о земле, Лартне!»

«Служить по дому? Почему он говорит об этом так, словно это унижительно?» — не поняла Лартне, но Яслан не оскорбил и не разозлил ее. Он был такой свой, привычный, а его новая сила и жесткость и даже небритость его щеки совсем не пугали ее. Лартне представила себя его рабой. И оказалось, что это ничего, даже интересно и приятно. Она вспомнила рассказы о древней истории в каком-то старом учебнике. Нет, ей не терпелось попробовать! Но Минос...

— Мин, не надо! Не убивайся так, Мин, все пройдет, — но было понятно, что ее слова были напрасны, они не дошли до мозга Мина. Он все смотрел в одну точку, и взгляд его стеклянел.

— Мне надо подумать, — сказал, наконец, Минос. Он отполз от обрыва и прижался к скале, словно хотел раствориться в ней. И сел по-турецки, все такой же застывший, сосредоточенный.

Дрожа от внутреннего холода, Яслан взглянул на Лартне.

Лартне улыбнулась ему.

Обнявшись, они пошли вниз, к людям.

1992.

СТИХИ

Из цикла
В помощь изучающему
дифференциальные уравнения

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(ТРАГИЧЕСКАЯ)

Материал для запоминания:
теорема Пеано, теорема существования и единственности,
продолжаемость решений.

ЛЮБАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ КРИВАЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ГРАНИЦУ ОБЛАСТИ ПОКИДАЕТ ЛЮБОЙ КОМПАКТ.

Кривая с компактом прощалась,
Трагически график согнув:
Её переменная мчалась,
Не медля и не отдохнув.

Она позабудет назавтра
В объятьях компактов других
И замкнутый облик компакта
Начальных значений своих,

И страх прекратиться случайно,
Разрыв обнаружить в себе,
И долг — устремляться, и тайну
В своей — бесконечной? — судьбе,

А каждый компакт ограничен...
Растет градиент все быстрей.
Того, кто знаком и привычен,
Покинуть приходится ей.

Компакт, неподвижный, застывший,
Кривых не удержит с собой.
Компакт измерением выше
Любой интегральной кривой.

Они в каждой точке возможны,
И каждая так неверна,
Они непрерывно похожи.
И все же они — не она.

О, да, он кривыми пронизан,
Он полон кривыми до дна,
Им мера — континуум брызг,
Но данная — только одна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ПАТЕТИЧЕСКАЯ)

Материал для запоминания:
методы решения дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных относительно первой производной.

Слышишь, Господи? Я — уравнение!
Утвержденье, закон я и знак!
Я — твое золотое творение,
Мой творец, мой создатель, мой враг.

Был так хрупок мой мир и ничтожен,
Что не смог ты меня оценить.
Ты создал человека, о, Боже! —
Чтоб решить меня, то есть убить.

Он был червь, неумелый, несмелый.
Он был глуп, я на этом стою.
Он линейной замены не сделал,
Чтоб узнать однородность мою!

Мою юность, мою однородность,
Как ненужную... В несколько строк...
Бог! Ты видел его непригодность?
Не создать, лишь убить — он не смог.

И со мной не могло быть иначе.
В этом боль. В этом все, вся печаль.
Скрип дробей мое горе оплачет.
Но как жаль, как же все-таки жаль.

Стать Риккати велел уравненьем
И о прошлом скорее забыть.
А во мне шевелилось решенье.
Моя гибель. Но как же мне быть?

Чтоб росло оно трепетным, томным,
Не щадить живота своего?
Был мой первенец мертворожденным:
Человек не заметил его.

И рука мою плоть искромсала.
Он задумал в угоду богам,
Чтоб два полных дифференциала
Сторожили меня по бокам.

Интегрирующий ища множитель,
И страдал, и томился он мной,
И к тебе, всемогущий мой Боже,
Обращался с тоскливой мольбой.

Ты не сжалился. Он был так мерзок,
Был, меня искалечив, так слаб,
Так в своем унижении дерзок
На тебя столь похожий твой раб.

Я решило: пусть будет, что будет.
Я не ведало страха, о нет!
И каким-то немыслимым чудом
Я ему подсказало ответ.
Но зато родились мои дети,
Мои дети, решенья мои,
И рванулись, невинные черти,
В бесконечность, а кто-то — в нули...

Вот и все? Но, позволь, я осталось
Среди книг и тетрадок, в пыли.
Миллиарды секунд отсчитались,
Бесконечные жизни прошли.

Я дождусь. И какой-нибудь подлый,
Зная тайны мои наперед,

Вновь твое повеленье исполнит.
И во мне однородность найдет.

Слышишь, Бог? Я — бессмертное тоже!
И решение мне — не конец,
И тебе меня не уничтожить,
Мой создатель, мой враг, мой творец.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
(УЖАСНАЯ)

Материал для запоминания:
решение линейных систем дифференциальных уравнений.

Они завязнут в тине чисел и законов,
Забются в бешеної агонии без цели,
Зальют свое лицо бесплодным потом,
Услышат, как трещат их собственные кости.
Ф. Г. Лорка.

Тая в себе труху истлевших книг,
Заученных с нередкостным упрямством,
Твердя, что слов и знаний груз велик,

Непредсказуемым непостоянством
Всей нашей жизни странно возмутясь,
В неизмеримом фазовом пространстве

(Где, точно в зеркале, весь мир наш, отразясь,
Вас ожидал или ещё кого-то)
Вдруг очутившись, ощущивши власть,

Решив, чтобы покорить это болото,
Измерить его, взвесить, расчленить
И предсказать грядущие заботы,

Сплетя системы уравнений нить
Из миллиардов неизвестных функций,
Забыв, что значит есть, и спать, и пить,

Соединив усилия безумцев,
И ни частицы вскользь не упустив,
Не позволяя отступить, согнуться,

Безжалостно бросая на пути
Запутавшихся в коэффициентах,
Чтобы в гигантской матрице свести

Судеб неуловимые моменты,
И щурясь, если гнезда ее глаз
Вдруг вспыхивали ядовитым светом,

А вектора, нацеленные в вас,
Пугали тяжестью толпившихся в них чисел,
И ошибаясь сотни тысяч раз,

Но все стремясь в таинственные выси,
И из тетрадок, словно из сетей,
Освободив решенье силой мысли,

И вычисливши смерти день своей,
И тень давно заброшенной могилы,
И миражи оставшихся вам дней,

Сложив песчинок маленькие силы,
И муки звезд, колоссов и колосьев,
Предвосхитив движенья душ, вам милых,

Но то, что мы и мир увидим *после*,
Преодолев часов всесильный тик,
Вы не посмеете узнать (Вопрос вопросов)

1993–1994.

Записки безумца

ИСПОВЕДЬ БЕЗУМЦА

Трупы тоже умеют смеяться.
Трупы даже умеют любить.
Мертвцов. Их не надо бояться.
Я вот умер, а вынужден жить.

Только нынче — я вновь — как я рад! —
В беззащитную кожу обернут.
Пусть безумие — боль, дыба, ад,
Но еще — воскресенье из мертвых.

ДНЕВНИК БЕЗУМЦА

Алкоголь

*Мечтательно, тонким голосом, понижая
его к концу стихотворения*

Зеленую маму я выродил сам.
Ее покатать на машинке не дам.
Мы будем кусавок под кожу пускать,
Отшлепаем их, если будут кусать.

Вот только немножко еще попоюсь.
Я был... А тебе я уже не гожусь?
Да я (сапожочек до краю залит?)
Хочу — и не буду... Душа жжет, болит.

Бешенство

Презрительно

В душеньке благопристойной
Бродит бродяжий напев.
В ее глубине покойной
Рождается гнев.

Позволь же себе осмелиться,
Если от боли душа зашлась,
Не разрыдаться, а просто взорваться
Хотя бы один раз,
Без разума, в темноте лица.

Упиться своим одиночеством.
Мой смертный грех. Гнев.
Пророчествовать, пророчествовать,
Руку поднять на — всех.

Преодолеть любые страдания
Разве смогли бы скромные?
Скромные станут стройными.
Нам нет преград на дороге в ад,
Так смеяйтесь над покаянием!

Скрутить их, паршивых, подлых людишек
Взглядом. Да разве их вина,
Что могут сквозь зубы лишь выдавить жалкое: «Тише!»
О, дерзкие!
И расплатиться резкой
Болью в сердце сполна.

На «Прости!» прокричать: «Бог простит!».
Чью-то осклизлую руку сбросить с плеча,
Замолчать
И уйти,
Гадкими улицами грохоча.

Влюблённость

Задумчиво

Опять кружится голова.
В бреду сгорает плоть опять.
Все те же я шепчу слова:
«Не потерять! Не потерять!»

Еще ничтожных душ бегу,
И глаз теплом — еще пленить.

Как сладок страх, что не смогу
Все сохранить, все сохранить.

И что-то — не оборвалось,
И боль еще не потушить,
И не захотал вопрос:
«Как дальше жить? Как дальше жить?»

От волшебства секунд-эпох —
Тщеславные, пустые дни.
Осталось лишь молиться: «Бог!
Любовь верни!

Любовь верни».

Глупость Устало

За домом дождь холодный шел.
Картина!.. Я рукой провел.
Я создал мир. Хватайте холст! Все, что я видел!
Судите то, что знать нельзя!
...Болят глаза... Мои глаза!
Я обожал себя и — ненавидел.

А нынче я себя терплю.
Я спать хочу, я много сплю.
Я стал богат. Никто из прежней дружбы
Не скажет мне, что я — не тот.
Я, бывший гений, идиот,
Внимательный, галантный, добродушный.

Уж лучше б капал я слюной,
И был бы взгляд бессмыслен мой,
И я б мычал, счастливый, брови жмуря,
В восторге, если замарал
Постель. Но не ходил в подвал.
Тот, где мои полотна и скульптуры.

Где под дыхание картин
Касаюсь зелени патин.

Куда ушел мой дар? Пришел откуда?
Нет, с ними я не говорю,
Я только копии творю,
Свершая раз за разом это чудо.

Ностальгия С любовью

Я жизнь свою задвинул в чемоданчик
И запер в сейф. Но будет хмурый день.
Я взглядом не вольюсь в дрянной романчик,
Убогий фильм смотреть мне станет лень.

Я захочу вернуть былые беды,
Вновь пережить тот год, где милый ад,
Вновь пережить вчера: мечты, победы —
И эту боль, секундою назад.

Мне станет жаль разбившуюся чашку,
И сломанный забытый карандаш,
И тряпку, что была моей рубашкой,
Снесенный дом, он был когда-то наш.

Я поклянусь все, что ушло, запомнить.
И мне нельзя помочь. Забыть нельзя
Ни мысль, ни слово. Ах, мне из бездонной
Из глубины взывают голоса.

Гордец и бес в лучах надежды тонет.
Мир покорят блестящий ум и взгляд...
Он одряхлел, забыт. Он похоронен!
Сто лет назад! Он сгнил! Сто лет назад!

Влюбленные соединяют руки
Пять сотен лет назад, в глухой стране,
Не зная наших радостей и муки.
Они совсем не знают обо мне!

Раб Времени, необычайно смирный,
В бессмысленной и тягостной борьбе
«Не изменяйся!» — закричу я миру.
«Не изменяйся!» — закричу себе.

И вот тогда, душа себя в объятьях,
Чтоб отмолить нездешнюю тоску,
Свое неумолимое проклятье
В отчаянье любовью нареку.

Страданья старииков, но я... я молод!
Все — жизнь. Хрустите, кости! Все забудь!
Но тихий голос, трезвый, словно голод,
Предскажет на три дня дальнейший путь:

«Сломается, сломается напрасно
Твое безумье, боль, любовь твоя».
А все-таки понять мне будет страшно,
Что вместе с нею умираю я.

Останется холодный страх фантома,
И, духотой дыхания дыша,
Поселится в давящих стенах дома
Трусливая и подлая душа,

Пустышка-дрянь, без воли, без стремлений,
Кривые губы и нормальный взгляд.
А я уйду в единственное Время,
Которое не повернуть назад.

Одиночество
Шепотом, дружелюбно

Привет, мое странное отражение!
Как живешь?
Давай, я тебе подмигну, я ведь скоро усну,
И ты от меня уйдешь.
А снаружи все солнце и дождь.
Дождь.
И солнце.
Не поверишь, как часто мое лицо завтра всем улыбнется.
Почему только нам с тобой известно истинное его выражение?
Почему, мое отражение?
А когда мы с тобой умрем,
Вдвоем,
То никто никогда не узнает, какими мы были.

Куда все уплыло, ушло?
Помнишь, эти, семья и друзья,
Все — чужие,
Заводные болванчики...
Если бы мы с тобой верили, что в мире хоть кто-нибудь есть!
Один как перст...
Перечитывай старые глупые книжки в молчании
Десять раз, сто раз... И все-таки мне повезло,
Потому что я завтра устрою кому-нибудь что-нибудь доброе
И не признаюсь, что я, словно я из обманщиков.
Влюбленные иногда могут проделать нечто подобное,
Чтобы почувствовать тайную связь с сердцем другого.
Здесь нет ничего плохого...
Хочешь, я выполню обещание?

Смысл жизни

1

Тоскливо

Боже, которого нету!
Ты тоже тревожен и сир.
Скажи мне, если узнаешь,
На что я пришел в этот мир.

Живут ради удовольствия,
Мечтают о счастье, бедные,
Или собой любуются,
Словно они бессмертные.

В кругу случайных друзей,
Выбранных на всю жизнь,
Быть всеобщим любимцем —
Какой драгоценный приз!

Словно они не знают,
Не ведают наперед:
Скромный песчаный холмик
Их обаянье пожрет...

Если бы цель себе выдумать
На годы, а не на день

И жить, как живет пуля,
Выпущенная в мишень!

Рожденные стать стрелами
Стремятся свое получить.
Но я не умею веровать!
И некому научить.

2

Страстно

Мне двадцать лет. Уже сточились зубы.
Опять неверно прожит день, спеша.
Мои дела, умны они иль тупы,
А в вечности не стоят ни гроша.

Хочу, чтоб мою память вечно чтили
Невыносимой, самой золотой,
Еще чтоб дети жизнь мою учили,
А взрослые кивали головой...

Я не хочу пропасть! Пусть будет жуток
Мой путь, пусть рухну я под тьмою бед,
Умру непонятным, велик и чуток.
Да, я хочу судьбы, которой нет!

Хоть каплю мужества. Хотя бы встретить стоя
Заботы долгих лет. Ждать и стареть.
Дожить достойно, строго. Строго и достойно.
Нет! Я не вынесу! Нет! Лучше умереть!

Страх
Дерзко

Нет, не я на подушке опухшой
Под одеяло — распятием — лез.
Как из складок моей комнатушки
Похихиковал влажненький бес!

Нет, не я, не зверек, обезумел,
«Дай бессмертья!» — стал в небо скулить,
С каждой хворью дрожал и задумал:
Смерть не стоит того, чтобы жить!

Нет, не я только раз был расколот,
Вдруг отбросив все злые «Нельзя!»,
И молчал обжигающий холод,
Между рук, между ребер скользя,

Про миры, недоступные прежде...
Нет, не я не сумел в них вступить,
Не я обнял подушку в надежде
Дрожью их неподвижность разбить!

Нет, не я. Мне бы этого — мало!
Мне уже не кроватка, Земля,
И душе ли зарыться в одеяло?
Нет, не я! Кто же, если не я?

Он, мой страх, безобразней и строже,
Как он часто приходит за мной!
В псах бездомных он, в каждом прохожем,
У окна, за стеной, за спиной,

Он сметает свинцовые пломбы,
От него не укрыться во сне,
И ни свечку зажечь, и ни бомбу,
И спиной не прижаться к стене.

Разрывает когтями мне веки...
Но без ужаса — есть волшебство?
Против тусклой сонливости вечной
Я, как щит, поднимаю его!

Он со мной, мой мучитель могучий,
Не предаст, как любовь, не сбежит,
Он расцветит мне дождик и тучу
И в печали меня опьянит.

Я — бретер, безупречный и нервный,
Я иду, как хотел, как посмел,
Чтоб последний момент, как мой первый,
Я беспечной улыбкой согрел.

Тайна
Доверительно

Под тонкой, нежной кожицею век
На чистом дне души хранима тайна.
Мой Хронос, в вечность твой имею бег,
Тащись, но не умчи нас, мира дай нам.

Лгать во спасенье. Помоги мне Бог!
Взгляд глаз, чуть юн — но вам пыл весь отдаю —
Разоблаченья торопить не смог.
Я Вас люблю, но тайны не продам.

Пусть блеклый день предъявит долг: клясть рай нам,
Покорно смерть помножить, в землю, в снег, —
Умрем мы вместе: я и моя тайна
Под тонкой, нежной кожицею век.

Тоска
Равнодушно

Застывший взгляд устал. Небытия!
Забвения, что было и казалось.
Последний гнев. Припадочная жалость.
Кривляния закончены, друзья.

Безумье, счастье, гений, страх, томленье,
Соль гордости и мужества кулак,
Моя Любовь... Невыносимый мрак...
— Не более чем умершие тени!

Желанья пережиты. Взвейтесь, феи!
И каждый миг все тоньше и страшнее.

Эйфория
Восторженно

По канату — вперед, по канату — вперед,
По тревожному тросу сухому,
А куда я иду — черт его разберет,
А зачем я иду, я не помню.

По канату — вперед, только звезды вокруг,
Как жонглерские шарики, пляшут.
И не видно во тьме глаз и губ, губ и рук
Моих зрителей... В цирке? В чьем? Нашем?

Но за них я скользжу, и твержу, и молюсь:
«Ради вас, пусть я вас ненавижу».
Только если сорвусь, только если сорвусь,
Я их лица, их лица увижу.

Мне бы вниз заглянуть, но нельзя, но нельзя.
Видно ль им, как держу я улыбку?
А вдруг там — никого? Где враги, где друзья?
Все ушли. Я — один, по ошибке.

Вправо — вниз, влево — вниз, вправо — вниз, влево — вниз.
Не сорваться бы мне, не сорваться!
Я устал. — Удержись! — Все равно. — Удержись! —
Как привычно, скользя, оступаться.

Вот бы броситься вниз, вот бы вниз улететь
Невиновным — во всем — виноватым — ...
Но нельзя умереть, но нельзя умереть.
По канату вперед, по канату!

Юродство
Таинственно

Сегодня, в мой четверг пресветлый,
Я птичку божию не съем;
Тебе, друг-червячок бессмертный,
Свое тепло отдам совсем.

Понянчу зернышко пшеницы,
Погложу муху с пауком,
Вложу персты в твои глазницы,
Скот, убиенный мясником;

И крикну голосом козлиным:
«Так жить нельзя! Так жить нельзя!» —
В исполосованные спины
И обожженные глаза,

Людские ль, скотские ль... Не знаю,
Чья ноша тяжестью полней.
И я за вас за всех сдираю
Коросту с язвочки моей,

Как Иов... И за это вправе
Язвить немножко и дерзить,
И испугать кого-то правдой,
И будущее приоткрыть.

Но, лишь икону обтирая,
Откроюсь в истине простой,
Что я, согнувшись, умираю.
Я! Пораженный добротой!

МОЛИТВА БЕЗУМЦА

Буду жить! Все равно буду жить!
Я еще выживу!
Я из мертвых воскресну, чтоб быть!
Я к себе вернусь!

Стану прежним, и стану другим.
Как я мудр теперь!
За безумие, коим храним, —
Спасибо судьбе!

Ты — спасенье мое, мой зверь!
Нет страшнее наград:
Нет преград — разорвавшим цель,
Победившим ад!

1994—1995.

Наши песни

TROTTING HOME¹

— Умерший и воскресший!
Хочешь домой?
Г.К. Честертон.

Дальше, дальше...
Ц. Норвид.

Исполняется хором басов (Первый хор) и альтов (или сопрано, Второй хор).

Первый хор: Перепутанный мир! Прочь, прощаться не нужно!

Сборы будут легки: нам нечего взять с собой.

Наши души больны. Спасемте же наши души.

И, сохраняя себя, мы восклицаем: «Домой!»

Второй хор: Но это нелегко.

Ты взгляд останови:

Повязка на глазах,

Уста твои в крови,

И путы на ногах,

И запоздалый крик,

И в мыслях лишь один

Миг.

Первый хор: Сделаем шаг назад, скавши неверные руки

И отвергая миг выбора навсегда,

И не желая знать, как где-то в тумане рухнут

Мертвые наши плечи в мертвые их города.

Второй хор: Так пал Беллерофонт,

Икара скор полет,

Сгорает Фаэтон,

Роняет лук Немврод,

Но больно ли лицом

Землю повстречать,

Не будет нам дано

Знать.

¹ To trot (англ.) — спешить, бежать рысью.

Первый хор: О, как тяжко свернуть вековечное: «Нет!» —

О, как больно... И вдруг сердце жалость пронзила.

Что же сделали мы. И зачем... Это свет

Запоздавшей любви к побежденному миру.

Второй хор: (*forte, страстно*)

Но ради прежних слез,

И ради бывших снов,

И чтобы сохранить

Тебя, мой каждый вздох!

(*piano, нежно*)

Твой век тебя простит.

И будет эта боль

Последняя твоя

Роль.

Первый хор: Дальше, дальше назад, оставляя в дороге

Тьму последних ночей, и ужас последних дней,

И молитвы, и стон, и насмешки, и Бога,

Что сменял имена, чем старше мы, тем быстрей.

Второй хор: Забудь свое лицо,

Захлопни к звездам дверь,

И нет еще любви,

И нет еще потерпь,

И сказки уничтожь,

И клятвы детских лет,

И материнских рук

Нет.

Первый хор: Дальше, дальше, покуда нам, не знавшим надежды,

Хлынет в грудь тишина, свет чужой и суровый,

И с младенческим взором, белой поступью нежной,

Вступим в царский чертог неизвестности новой.

Второй хор: И воплотимся в сталь,

И в мраморе взойдем,

Из книг благословим,

С полотен проклянем,

Но нам ли это знать!

Мы, может быть, найдем,

Быть может, обретем

Дом.

Первый хор: (*разделяется на два полуходия*)

Дальше, дальше, дальше, дальше...

ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ

— И больше ничего? Но как же это так?
Ш. Бодлер.

И настанет день, когда исчезнут стрелки у часов, сумрак и дождь воцарятся, и закрутятся звезды, и люди, лишившись дыхания, будут взглядывать в глаза мертвых, но не живых.

Голос, сильный, ровный, безжизненный:

— Не бойся, не бойся, не бойся!
— Но будет ли страшен мой крик,
Когда я увижу, как рвется
И тает мой сумрачный лик?
И из глубины заповедной
Доносится тихий ответ:
— Не бойся, ведь это последний,
Твой самый последний рассвет.

Не будет, не будет, не будет
Ни слез, ни сомнений, ни слов.
Потянетсѧ топот обутых
К всеобщему стуку шагов,
В тот мир, где расплывчаты звуки,
Где сложно и помнить, и ждать,
И верить, и стискивать руки,
Но только смотреть и не знать.

Тот день будет серым и хмурым,
Тот ветер — холодным и злым.
Мы взглянем поспешным, понурым
Скользнем по проулкам немым
И, в мире осеннем и чистом,
Не зная, о чем же грустить,
Прозрачным, изглоданным листьям
Последнее скажем прости.

А где-то, в стране недоступной,
Желанной, как радость сама,
Закапают дождиком крупным,
Заплачут пустые дома,

Застонут усталые пашни:
Теперь здесь живет доброта...
По злобе и подлости нашей
Завоет Земля-сирота.

Ведь больше не будет, не будет
Фальшиво смеяться мертвец,
Земля похоронит, забудет
Пыль выпотрошенных сердец,
Исчезнут несчастные тени,
Лишенные дара любить,
И те, кто в тоскливом сомненье
И жить не сумел, и не жить.

Не бойся, не бойся, не бойся.
Ты падаешь в пропасть без дна.
Расплавится в зеркале Солнце,
Расколется в небе Луна,
И время настанет измерить
Достоинство прожитых лет
И молча и тихо поверить
В свой самый последний рассвет.

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Всем художникам посвящается

Есть на свете страна. К ней влечется незримыми нитями
Все, что живо еще; и обрывки сюжетов, и лент,
Наши вымыслы, песни, как много их, плоских, невидимых,
Улетают титаны, химеры из древних легенд,

И крылатые кони; плывут золотые кораблики:
Надувать паруса не устанут шторма-старички —
На сверкающий берег, в зеленые волны оправленный.
Этот берег спасет от немолчной и страшной тоски.

По Планете Людей наше горе попынное катится,
Полинявшие краски навечно меняя в литье.
На Планете Людей исполняется то, что лишь кажется.
На Планете Людей станет ветром дыханье твое.

Разве эти ручьи, эти рощи и горы обыдены?
Они те, и немножко не те, что мы видеть должны:
То застынут, разорваны солнечным светом увиденным,
То, безумные, яркие, цветом мерцают больным.

Подойди! Там скрываются люди, и черные тени их.
Заколдывают — забудешь, что где-то, вне блеска их глаз,
Были страны иные — поведают судеб сплетения,
И заводят все вновь нескончаемый этот рассказ.

Как их пальцы точны! Как их жесты и взгляды пронзительны!
Как одежды живы и легки, как теплы голоса,
И росинкой, единственно верной, навечно пленительной,
Каждый раз ускользает, сверкая, все та же слеза.

Там герои, и те, кто рожден ради фразы единственной,
И навечно молчащие: разные судьбы у всех, —
Там бумажные души нас молят о взгляде таинственном,
Чтоб свершились их подвиги, чтоб совершился их грех.

А другим суждено от рождения быть неизменными,
Неподвижны их самые мысли, и скован их взгляд,
Им не сдвинуться с места, но воздух наполнен их пением.
«Только мы-то и истинны! — молча они говорят. —

И не смейте жалеть наш удел, мы-то знаем: ужаснее
Ваша мертвая жизнь нашей смерти живой во сто раз.
Пусть у нас только миг! Он ценнее, чем век, он прекраснее.
Так задумала воля и руки создавшего нас.»

А иных просто нет, и живет только голос страдающий,
Голос мчится в пленах безупречных сверкающих стен,
Этот голос растет, эти стены дробятся, ломаются,
Замыкая круги, завершая, венчая их плен...

И останется смелый — героем, и любящий — гением,
А подлец — подлецом, обнажится любая душа,
И изгнанникам будет дарован покой и забвение.
(Тем, кто жизнь ненавидел, и горькая смерть хороша.)

На колени. Счастливые слезы в ресницах забрезжили.
На Планете Людей эта боль, как причастье, свята.
И сердца будут плакать и биться, слабея от нежности,
И не смогут разбиться, забыть, замолчать — никогда.

1998–1999.

Антистихи

РАБОТА ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ (Ш. Бодлер. Цветы зла. СХХV. Мечта любознательного¹)

В этой жизни умирать не ново,
Да и жить, конечно, не новей.
С. Есенин.

*Познал ли ты, как я, блаженное страданье
И сам в чудачестве сравнился ли со мной?
Я думал умереть. И ужас, и желанье,
Как редкостный недуг, росли в душе больной.*

*В тоскливом чаянье, без бунта, без дерзанья,
Чем тек быстрей песок в клепсидре роковой,
Тем злее было мне и тягостней терзанье,
Всем сердцем рвался я покинуть край родной.*

*Я, как дитя, мечтал скорей увидеть пьесу
И ненавидел мне мешавшую завесу.
И вот передо мной возник студеной правды мрак,*

*И мирно умер я, обят зарей холодной...
И больше ничего? Но как же это так?
Поднялся занавес, а я все ждал бесплодно.*

Кто ошибиться мог так жутко и нелепо?
Скажи, кто заплатил за глупость так, как я?
Я жить хотел... В стране отшельников и склепов
О ясном свете дня молилась тень моя.

И, воплотившись, я увидел свет и тени
Уродливой земли. Но бедный блеклый день
Пред-воплощеньем мне казался, пред-видéньем
Мечты, велевшей мне отбросить смерть и лень.

¹Перевод С. Петрова.

...Истаявшей рукой я зеркало придинул.
Взглянуть в свои глаза, чей блеск навеки минул,
Стряхнуть с себя тот сон, в котором жизнь прошла.

Оправдан был мой труд, и муки — не случайны.
Я заслужил свой мир. Волшебный. Беспечальный.
Моя мечта близка... А это смерть была.

ОТВЕТ НЕРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ
(Г.К. Честертон. «Устами нерожденного ребенка»²)

*Если низки — травы, а лес — высок,
Как в безумной книжке какой,
Если море сине взаправду там,
За мою хрупкой стеной,*

*Если круглый в небе висит огонь,
Чтоб меня обогреть извне,
Если волосы зелены на холмах —
То я знаю, что делать мне.*

*Я мечтаю, лежа во тьме, что там
Разноцветные есть глаза,
Грохот улиц и двери, с молчаньем их,
И телесные люди — за.*

*И пускай там бури, но лучше мне
Быть одним из отвергших тьму,
Чем хоть целую вечность повелевать
Государством тьмы одному.*

*Если только позволено будет мне
Хоть на день оказаться там,
Я за милость эту, за эту честь
Баснословную — все отдам.*

*И, клянусь, не вырвется из меня
Ни гордыни, ни жалоб стон, —
Если только смогу отыскать я дверь,
Если буду-таки — рожден.*

²Перевод И. Кутика.

Ядовиты — травы, и смутен лес:
Оплетет паутиной злой,
И под грязным небом услышишь ты
Волчьей стаи голодный вой...

А захочешь — солнце тебя спалит:
Что за дело солнцу до нас?
А захочешь — засохшей травинкой с холма
Можешь птичке выколоть глаз.

Ты увидишь в безрадостном свете дня
Наш жадный и подлый род.
Здесь все чудовищно жить хотят,
В основном — за чай-нибудь счет.

Здесь тебе не позволят быть одному,
Каждый, веря, надеясь, любя,
Немедля поставит вопрос ребром:
Ты — меня или я — тебя?

Ну а если на небе сыщется бог
И на землю спустится к нам,
То от горя и ужаса сердце его
Разорвется напополам.

И, клянусь, у нас не услышишь ты
Искренний смех или стон,
И ты станешь таким же, как весь этот мир,
Если будешь — увы! — рожден.

ABENDSTIMMUNG³
(Т. Арлези. «Morgenstimmung»⁴)

*Вкрадась песней в меня ты однажды, когда
Сердце наглохо запертым зимним окном
Распахнулось от ветра, и хлынул туда
Теплый голос твой вслед за ликующим днем,
Запустение смыв без следа.*

³ Вечернее настроение (нем.).

⁴ Утреннее настроение (нем.). Перевод Эм. Александровой.

В дом вошел этот голос, проникнув в любой уголок,
В каждом ящике, в каждом чулане звука,
Заскрипели засовы, вот сорван последний крючок,
Вот последний замок отворен без ключа,
И стоит монастырь мой — открытый ветрам коробок.

Может быть, не случилось б такого, как знать,
Если б голос твой, клавиш касаясь в тиши,
Не попробовал вешних дроздов отыскать
И, тревожа заглохшие струны души,
Не заставил их вновь зазвучать...

И тогда с диким грохотом в замкнутый круг Бытия
Ворвалась благотворная буря, а с ней заодно
Небеса, и леса, и озера, где рыбы полно,
И увидел, растерянный, я,
Как былинкой подкошенной рушится крепость моя.

Отчего ты запела? Отчего я тебя услыхал?
Неразрывно слились мы с тобой в вышине,
Как два облака белых над серыми гребнями скал.
Я пришел с высоты, ты с земли поднималась ко мне.
Ты из жизни пришла — я из мертвых тогда воскресал.

Он ушел не спеша, убивая меня
Той холодной и страшной порою ночной,
Когда, счастье свое, словно тайну, храня,
Обнимался весь мир за мою стеной,
Кто угодно, но только не я.

И когда я училась словам: «Никогда», —
И когда не могла полюбить — без любви,
И молчала, не в силах солгать, — и тогда
Не тепло уходило из спящей крови:
Это он уходил навсегда.

Кто же станет хранить мои слезы в тиши,
И своими руками беречь мой покой,
И шептать: «Как же мысли твои хороши!»?

Ведь так просто найти, чтобы попроще душой.
Или лучше — вообще без души.

И сомкнется стена между миром и мной,
И примусь я, чернея от злобы, судить
Все, что живо и просится жить, вздох любой,
Пока вдруг не почувствую в центре груди
Нестерпимую, сильную боль...

Что же мертвые губы, которые я убивала сама,
Не промолвят устало и тихо: «Любимый, прости!»?
Только: «Трус и лакей!» Только: «Шут без ума!»
А ему еще долго по пестрому, глупому миру идти...
Мне ж останутся вечная злоба и вечная тьма.

(В. Шекспир. Сонет 66⁵)

*Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянье,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,*

*И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плена у немощи беззубой.*

*И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.*

*Все мерзостно, что вижу я вокруг,
Но жаль тебя покинуть, милый друг.*

Блажен, кто в нашей жизни разглядел
Достоинство, хотя бы и в лохмотьях,

⁵Перевод С. Я. Маршака.

И красоту — в кривлянье грязных тел,
И роскошь — в пыльных одеяньях модных,

Любовь — в самовлюбленности тупой,
Иль радость — в пьяных возгласах победных,
Святых, пускай затравленных толпой...
Глупость и подлость правят миром бедным!

Подлость и глупость... Каждый хочет жить.
А суетливость не ведет к добру...
Казнить весь мир? Или себя казнить?
Когда же? О, когда же я умру?

И друга нет, ученика иль сына,
Которого мне было б жаль покинуть.

ОТВЕТ

(Г. Гейне. Северное море. Второй цикл. 7. Вопрос⁶)

Zu Grunde kommen ist zugrunde gehen.
Дойти до самой сути означает погибнуть.

У моря, у ночного пустынного моря
Стоит юноша
С сердцем, полным тоски, с головой,
полной сомнений,
И угрюмо вопрошают волны.

«О, разрешите мне загадку жизни,
Старую трудную загадку,
Над которой уже многие ломали головы —
Головы в иероглифических колпаках,
Головы в тюрбанах и черных беретах,
Головы в париках и всякие другие
Бедные, обливающиеся потом людские головы.
Скажите, что такое человек?
Откуда он пришел? Куда он идет?
Кто там живет наверху, на золотых звездах?»

Волны бормочут, как всегда они бормотали,
Волнуется ветер, плывут облака,

⁶ Перевод П. Карпа.

*Равнодушно сияют холодные звезды,
И дурак ждет, когда же ему ответят.*

На берегу неласкового моря,
Средь серых скал, стоит усталый странник,
Старик печальный с телом молодым,
И говорит безрадостно и твердо:

«Я разрешил ее, загадку жизни!
Жестокую и древнюю загадку.
Я знаю, что такое человек,
Любой: в старинной бороде, и в шали,
В тюрбане пестром, и в прямом цилиндре,
И в легкомысленном наряде новом, —
И смысл его рождения, и смерти,
Куда идет он, и пришел откуда,
И почему так жизнь его важна...
Я знаю скрытые пружины мирозданья!»

И волны бьются о берег со злобой,
И стонет океан, и воет ветер,
И люди, суется, кричат ужасно,
Чтоб не услышать речи мудреца.

ПАМЯТНИК

(Квинт Гораций Флакк, «К Мельпомене»⁷)

*Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.
Где быстрыми шумят струями Аэфид,
Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество мое молчать не будет,*

⁷Перевод М. В. Ломоносова.

Что мне беззнатной род препятством не был,
Чтоб внести в Италию стихи эольски
И первому звенеть Алцейской лирой.
Взгордися праведной заслугой, муга,
И увенчай главу дельфийским лавром.

Я строю памятник. Мой труд лишен надежды,
Но полон он веселым, пьяным бредом,
Величием, бессмысленным и горьким.
Сей страшный монумент, сегодня хрупкий,
Подвластный чьим-то сумасбродствам злобным,
Однажды поразит умы людские,
И воцарится в их сердцах надолго,
Тревожа их и мучая, ведь боятся
И ненавидят все, что непонятно,
Что нарушает жизни бег привычный.
Но будут и наследники иные,
Кто с гибеллю моей не примирится,
Они мне будут благодарны вечно,
За то что в обществе дельцов, где правят деньги,
Где жаждут сытости одни, другие — власти,
Не помешал мне голод размышлениям,
Ленивым и ужасным, предаваться
И, чуя смерть, загадывать загадки,
Тем, кто появится на свет однажды,
Героям книг моих их адресуя,
И лгать: «*In manus vestras, viatores
In tempore, do animam meam*».

(А. С. Пушкин. «Не дай мне Бог сойти с ума»)

*Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Рассстаться был не рад:*

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителейочных,
Да визг, да звон оков.

Дай, Боже, мне сойти с ума!
Пусть это значит: смерть и тьма,
Страдание и ад.
Неправда, что не страшно свой
Увидеть в зеркале, чужой,
Внутрь обращенный взгляд.

В душе и памяти моей
Не уцелеет мелочей:
Сплошная кровь и соль,
И тщетно буду я искать

Хоть мысль, хоть звук, чтоб мог звучать,
Не причиняя боль.

Во мне живущий черный зверь
Начнет стучать в висках; теперь,
Ликуя и ревя,
Он хлынет в кровь мою, в потир,
И унесет в тот странный мир,
Где я — уже не я.

Не видя ничего вокруг,
Всему на свете враг и друг,
Немой, нагой, ничей,
Он будет выть, стонать и петь,
Чтоб на досуге разглядеть
Изнанку всех вещей.

И будет вид ужасен мой,
И трупный запах от живой,
Как сладкий смрад, пойдет,
Начнут меня травить и гнать,
Но я уже не буду знать,
Где плоть моя уснет.

И лучше так, чем, суется,
Среди ненужных дел круться
И бесполезных слов,
Устав плодиться и стареть,
Благопристойно умереть
В раю для дураков.

1999–2001.

Любовный диptyх

1

Wir mussen beide elend sein⁸:
H. Heine.

Как страшно знать, что любишь подлеца,
Способного ограбить и предать,
Лакея, проходимца и льстеца.
Придется мне такой же подлой стать.

И вместе мы отыщем двери в ад.
Пусть нежен взгляд — черна душа твоя.
Мой долг — не покидать тебя, мой брат.
Ты подл и жаден. Так же, как и я.

Меня возненавидят все невольно.
Мне будут лгать. Я буду это знать.
Как больно — будь ты проклят! — как мне больно...
Придется мне такой же подлой стать.

2

Как горько знать, что любишь дурака,
Играть ему неведомую роль.
Инстинктами мужлана и зверька
Он не поймет ни плоть мою, ни боль.

Как просто обмануть его чутье,
Солгать, вставая в ряд жеманных поз.
Но, слушая молчание мое,
Он не узнает соль незримых слез.

И если я погибну в тишине,
Он не поймет, кто был тому виной.
И никогда не вспомнит обо мне,
И будет спать в объятиях другой.

2002–2007.

⁸Мы оба должны быть несчастны (нем.). Вариант: мы оба должны вызывать презрение.

Краткий курс общей физики

(Отрывки)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда в глухие, дикие года,
В свои мечты и вымыслы влюбленный,
Одной идеи преданный всегда,
Вдруг совершал открытие ученый,

Тогда, боясь, что мысль его поймут —
И украдут, иль не поймут — вовеки,
Он зашифровывал свой главный труд
И в письмах рассыпал своим коллегам.

Но может быть и худший вариант,
Когда, в средине юности несчастной,
В тебе начнет расти странный талант,
Но ты поймешь, насколько он опасен.

И ощущишь присутствие черты,
Важней которой ничего не будет,
Там на одном краю остался ты,
А на другом — все остальные люди.

И ждет тебя неверная стезя,
И жизнь твоя — подобье жизни только,
Когда сказать, что думаешь, — нельзя,
А не сказать — бессовестно и горько.

И мысли, погибая, создадут
Цепочки слов, как будто бы случайных,
Чтоб кто-то, может быть, когда-нибудь
В них угадал намек на твою тайну.

Чтоб в них осталась верить и гореть
Твоя душа, в тебе давно потухшая.
Хотя, быть может, проще умереть,
Как умирал Джордано Бруно: мучаясь.

ЧАСТЬ 1

1. Нам кажется конечным бесконечное,
И то, чего для нас есть только два,
Намного больше, даже в нашей вечности.

Рассмотрим нам знакомое сперва:
Две ипостаси, разные издревле.
(Но различаются едва-едва?)

В одной из них — ткань нашей плоти древней,
И нам ее, увы, не потерять,
Мы точно знаем силы, что в ней дремлют.

Другую стань иначе измерять,
Величину ее осознавая
И из нее вселенную творя.

2. Но, эти ипостаси выбирая,
Мы забываем их неполноту,
Тем самым свою душу забывая,

И всю Вселенной нашей красоту,
И строгость ее форм, что так понятна,
И жажду воплотить свою мечту,

И многое другое, вероятно,
Что очень важно для других планет,
В чужих галактиках, и странных, и занятных.

Но если видеть только белый свет,
То можно думать с легкою душою,
Что ипостасей — три, а больше нет.

3. И есть миры, где мы летим стрелою,
Расчерчивая твердь и поколенья.
Иные извиваются дугою,

Нам непонятны их хитросплетенья,
Их прихотливый, непривычный строй.
Их неуверенность — для нас мученье.

Но все мы ошибаемся порой.
Быть может, это разница простая
Меж полнотою и неполнотой?

4. Теперь поймем, в чем суть чужого края
(Что будет важно в следующих стихах),
Тем самым сонмы мыслей умножая,

Душевный строй меняя и размах,
Да так, чтобы усомниться, что за тварь ты
И что за свет горит в твоих глазах.

Представим мир, в котором — только марты,
Мгновенья, что мерцают в глубине,
События, случайные, как карты...

Так иногда случается во сне,
Когда виденья скачут по Заморью...
Теперь, пускай, напротив, мокрый снег

И тает, и сияет белой болью,
Несет в себе отметину Творца
И порождает целую историю.

А есть такие странные сердца,
В которых долгота с длиною смешаны.
Понятия начала и конца,

Как и у нас, запутаны, завешены.
Но свет, запечатленный в их глазах,
Неотличим от нашего по внешности.

И, наконец, с волнением, в слезах,
Допустим, существует мир непризнанный,
С которым сочленяться нам нельзя:

Сожмется, станет плоской, даже призрачной
Земная твердь, и небо над землей,
И часть листков, на календарь нанизанных.

Итак, мы видим план игры чужой,
Идущей здесь же — но такой далекой,
Одновременной с нами — но другой.

5. Пора обдумать более глубоко
Свои вполне домашние дела.
Понять, как безрассудно и убого

Надеяться на целостность числа,
Особенно — царящего в природе,
Чья двойственность не раз бывала зла.

Изменчивость, случайность не уходят
Из мыслей всех, кто ведал ее суть,
Хотя предугадать их можно вроде.

А вообще, заметим как-нибудь,
Что в мире не бывает дел случайных,
Ни неслучайных — разве что чуть-чуть.
6. А есть союзы двух соседей тайных,
Почти однонаправленных миров,
Питающих друг друга непрестанно.

Чтоб с их секретов приподнять покров,
Разъедини Вселенную на точки,
Как на картинах ряда мастеров,

И — иногда — в науках наших точных,
Основанных на ряде натуральном
(Фундамент сей считать не стоит прочным).

И ты поймешь, что может быть нормально
За миг один прожить почти что жизнь,
Причем не по порядку, моментально.

И бывшее с грядущим разошлись,
И мы считаем, нет таких соседей,
Между которых точке не найтись.
7. Но здесь неправду можем мы заметить
Иль след неполной правды торжества,
Что иногда опасней лжи на свете.

А если волны, капли, вещества,
Сплетенья сил, живых и даже мертвых,
И, может быть, идеи и слова —

Все суть одно? Их различает твердо
Заглавное для нынешней главы
Понятие особенного сорта.

Отныне предположим мы и вы
Его всеобщность, полноту и прочность,
И в этом слабость данных строк, увы.

Его мы здесь назвать не сможем точно:
И незачем, и беден наш язык —
А потому окрестим *средоточьем*.

Какой-нибудь наивный ученик
Пускай поймет его как вязкость, плотность,
Покуда мыслю глубже не проник.

А мы слегка проявим беззаботность
В двух наших ипостасях — хватит их —
Держа в уме давнишних строк вольготность.

8. При малом *средоточье* невелик
И не вполне насыщен ряд событий.
Так замирает маятник-шутник

В предвосхищенье страхов и открытий.
Но интенсивность следствий и причин
О росте *средоточья* говорит нам.

Теперь мы рассужденье обратим
В соседней ипостаси, разрешая
Отбрасывать частицы величин,

Но только те, что массой обладают.
И убирать все чаще те куски,
Знать, что границы тел обозначают

Почти неуловимые толчки:
Ведь понемногу, как бы между прочим,
Мы *средоточья* сдвинули тиски...

9. Не зная, что такое *средоточье*
Мы видели константу. Время шло.
И мир для нас удобней был и проще.

Нам попросту случайно повезло:
По редкому стеченью обстоятельств
Оно почти что целое число.

10. Последнее из наших обязательств —
Не забывать про третью ипостась.
Она сложна, в ней много посягательств

На бесконечную, вечную власть
Неумолимых правил, быстрых дней...
А может, третью (или ее часть)

За разновидность первой взять верней
При меньшем, чем обычно, *средоточье*?
Но чересчур свободы много в ней.

11. «Главнейшее среди людских занятий —
Не изучать наш мир, а изменять», —
Учил сто лет назад один мечтатель.

Итак, неважно, можем мы понять,
Что значит *средоточье*, иль не можем:
Нам надо *средоточьем* управлять.

12. Задачу эту мы признаем сложной.
И впрямь, как бытие ни поверни,
А все-таки оно нам не поможет.

Допустим, если мир наш искони
Для нас как театральная площадка
Иль клетка, где мы заперты одни,

То вырваться нам было бы несладко:
Со страшной силой тянет нас назад
Вся масса, мощь вселенского порядка.

Растаять — просто лишь на первый взгляд:
Со всех сторон в тебя вопьются крепко
И не дадут исчезнуть на свой лад.

А если мы и есть граница клетки,
То нам придется изменить себя,
Но случаи такие очень редки.

Но, безысходность в душах истребя,
Мы — часть чего-то большего, чем просто
Тот мир, в котором маемся, любя.

Порой спонтанно, от стремленья к росту,
Мы знаем это, телом иль душой,
Но слишком быстро, слишком несерьезно.

Нет в этих вспышках ценности большой,
Они сгорают в разных направленьях,
Поэтому нам нужен путь иной.

13. ...Но есть предел и бегу, и теплу,
И тяжести ленивой и остылой.
Стань чистым светом, обратись во мглу —

Ты вне законов прежней жизни милой.
Есть те, кто быстр, кто льется с высоты,
Но им, похоже, не хватает силы

На жизнь, на измененье, на мечты,
И, заменив свое существованье
На поддержанье этой быстроты,

Они быстрее стать не в состоянье.
Им не помочь: они как бы пусты
И не подвластны нашему влиянию.

14. Законы сохранения в природе
Соблюдены на удивленье точно,
Полны и совершенны в своем роде.

Но догадаться нам несложно, впрочем,
Что вместе с ними могут выполняться
Законы сохраненья средоточья.

Так, неизменной может оказаться
Его цена для каждой ипостаси.
Но мы предпочитаем заниматься

Другим вариантом, как бы ни опасен
Был ход всех наших размышлений, если
Действительность мы в чем-то приукрасим.

Итак, предполагать мы будем честно,
Что постоянен уровень его
В двух главных ипостасях, взятых вместе.

15. Тот, в ком *вещественность* сильней всего,
Утратит связь событий и явлений,
Все — ниоткуда и ни для чего,

И жизнь полна упущенных мгновений.
Как хорошо, что у подобных тел
Нет разума, а значит, сожалений.

16. Теперь займемся теми, кто сумел
В себе понизить степень уплотненья,
Причем за это выиграть успел

Не только в интенсивности движенья:
Все меньшая телесность нам дает
Все большую свободу в поведенье,

Все чаще случай за собой ведет.
А при разволочены слишком сильном
Совсем изменится событий ход.

Есть грань между большим и малым миром,
И те, кто смог ее переступить,
Сумеют, как бы с легкостью факира,

Чуть больше, чем одну судьбу прожить.
И будут в двух местах одновременно,
Пока нам не придет нужда следить

И расставлять ловушки вдохновенно,
Чтоб в них попал материю клочок
С историей простой и несомненной,

Но виноват в том будет наш силок,
Ведь это он поднимет средоточье
Обратно за критический порог.

ЧАСТЬ 2

1. Среди частиц, летающих во мгле,
Отмеченных особенной печатью
Немало в космосе и на Земле.

Они способны как бы к восприятию
Других, так же отмеченных частиц,
К их притяженью или неприятью.

Мы посвятим им несколько страниц,
Начав с предположения о том,
Что вне каких-то рамок и границ

Всеобщий выполняется закон:
Кто существует в данной ипостаси —
В ней некоторым весом наделен,

Способностью к влиянию и властью
Над каждым из соседей рядом с ним,
Поскольку все они — в единой массе.

И этот дар — он неуничтожим.
И, что б с ним дальше ни происходило,
Но от частицы он неотделим.

2. Обычно проявление данной силы,
Как принято в природе неживой,
Однообразно, тяжко и уныло.

Но есть тела, где этот дар — иной.
Он порожден в одной из ипостасей,
А проявляется совсем в другой.

Как будто им разъять себя на части
И наизнанку вывернуть велели,
Чтоб получить в той, новой ипостаси

Одну частицу — но на самом деле
Их несколько, с единою судьбой,
Друг с другом совпадающих в пределе.

Поэтому частица за собой
Соседей увлекает по цепочке
И выворачивает целый слой.

3. Но, даже взятые поодиночке,
Они своих способны разглядеть
Из нескольких слоев, таких же точно.

Волнуясь, точно можно не успеть.
Они встают в ряды, шеренги строят,
Образовав невидимую сеть.

И вот такие, общие по крови,
Все время друг от друга убегают,
Боясь усилить вывернутость слоя.

Но их удерживает власть другая,
Вторая сущность, самой чистой пробы,
Для данной ипостаси — основная.

4. К тому же мир, где мы живем, особый:
Прямой и тонкий, якобы в движенье,
В нем много мнимой доброты и злобы,

И просто парного противопоставленья.
Так, выворот обычно происходит
В двух противоположных направленьях.

Свои с чужими в строй единый входят,
Мы грань меж ними не определим,
И в каждой паре, в двойственной природе,

Один стремится слиться со вторым:
Мир вывихнут в самой своей основе
И вправить этот вывих надо им.

5. Но только если попадутся двое
Как пара близнецов, во всем похожих
За исключеньем поворота в слое,

Только тогда стремленья их, быть может,
Успехом увенчают сей сюжет:
Они друг друга как бы уничтожат,

Хотя при этом возникает свет
И начинает бурное движенье.
Но свет ущербен, в нем почти что нет

Той силы, что должна быть от рожденья:
Вместе с заемной сутью основная
В двух противоположных направленьях

Из данной ипостаси ускользает.
И там, с изнанки мира, сила эта
В свой строй, как часть единого, вступает.

А мир, который залит белым светом,
Не ведает про двойственность его,
Не ищет в нем вопросов и ответов.

6. ...Бесстрашие — пусть будет твой пароль,

Когда тебя ведут, ведут сквозь строй
От самого рождения до смерти
По безупречно горестной кривой,

Которую ни взвесить, ни измерить.
И, вспыхивая, гаснет твое Я,
Способное запоминать и верить

Сквозь плоские картины бытия,
В которые тебя лицом швыряют.
И это — жизнь бесценная твоя!

7. Узнав, что есть другая точка зрения,
И обретя чутье совсем иное,
Вернемся к нашим прежним рассужденьям.

То, что считалось выворотом слоя,
Теперь точнее можно понимать,
Как сдвиг иль перекос, источник сбоя

В двух разных направлениях опять.
И, подавляя древнюю привычку
К движению, мы будем представлять

Наш мир ненужно, глупо симметричным.
Таким, который можно объяснить
В словах понятных и вполне обычных.

Два тела, обреченных жизнь прожить
В какой-то ипостаси — если вспомнить —
Способны свою сущность проявить,

Влияя друг на друга по закону
О том, что две частицы, вставши в строй,
Стремятся, в направленье отвлеченном,

Как вдоль оси симметрии какой,
Соединиться — в той же ипостаси,
Однако разбегаются — в другой.

8. И исключения не так уж часты.
И этого достаточно вполне,
Чтоб безрассудной смелости набраться

И предсказать движение планет,
А также совпаденье каждой вещи
С самой собой в теченье долгих лет.

Стремление друг к другу бесконечно.
Но в ипостаси, для себя чужой,
Мы узнаем, как мир наш переменчив,

Как невозможно сохранить покой.
А чтобы свет наш не был пуст и сир,
Мы примиримся с верою простой

В кипящий и раздвоенный эфир.
Так надо, потому что сила эта
И движет, и удерживает мир.

Она поможет разгадать секреты
Янтарной магии, и мнимость расстояний,
И все, на что способен мозг поэта.

ЧАСТЬ 4

1. Куда и как нам суждено пройти
За всем известной роковой чертой?
Издревле существуют три пути.

Померкший свет и ужас ледяной,
Беспамятство, ничто, небытие —
Вот первый путь, осознанный тобой.

2. Но сердце воспротивится твое,
И ты, желая света и тепла,
Замыслишь продолжение свое,

Иную жизнь, свободную от зла,
Где вечный мир, и правда, и покой,
Где нам воздастся за наши дела.

В ней — древняя надежда, путь второй.

3. Но страшен бесконечности закон.
Тебя сомненья мучают порой —

Что хуже: вечный ад иль вечный сон,
Где ничего уже не изменить?
И скучен душ блаженных унисон.

И ты захочешь снова жизнь прожить —
Растеньем, зверем — ведь не в этом суть.
За прошлые ошибки заплатить,

Беспамятную молодость вернуть,
Чтоб мир тебя продолжил удивлять...
И это третий и последний путь.

4. И все, что можно здесь перечислять:
Чистилище и асфоделей луг,
Законы кармы или благодать —

Все тех же мыслей изначальных круг,
И в каждой есть свой смысл и свой посыл.

5. Но в этих рамках тесно станет вдруг,

Когда рождаются, наберутся сил,
Все те, кто не считает непреложным
Различье между «будет», «есть» и «был».

Им в нашем мире выжить очень сложно,
У них иные песни и мечты,
Им одиноко, сумрачно, тревожно.

Они всё ждут тоскливой пустоты,
Когда неугомонный разум твой,
Достигнув максимальной высоты,

Чуть-чуть назад вернется за тобой —
И мир внутри тебя перевернется.
Им кажется, что это — путь домой.

6. И даже если жизнь в кольцо замкнется,
Им бесконечный, безначальный след
Желанней новых стран, земли и солнца:

В основе ведь лежит один сюжет,
Который все равно уже известен.
Один цветок не хуже, чем букет,

Одна звезда не меньше всех созвездий.
Конечно, если доставало ей
Величия, и красоты, и чести.

7. Но это не конец, и часть людей
Так сможет изменить свое сознанье,
Чтоб исказить чередованье дней,

Остаться в полумраке и в молчанье,
Когда вся жизнь — в тебе, перед тобой,
Как будто Страшный Суд настал заране,

Но не всеобщий — персонально твой,
Где приговор давно уже не важен.
И каждый новый век ведет с собой

Все больше их, сумевших эту стражу,
Как обитатель Замка, отстоять.
И все, кто на Земле, решат однажды

Рассвет последний вместе повстречать.
В истории людей многострадальной
Поставить точку. Этой точкой стать.

8. Но если вдруг покажется печальным,
Неправильным предложенный исход
Или, напротив, слишком тривиальным,

То ты сумей придумать в свой черед
(Как должен сделать обитатель Замка)
Еще один великий переход.

У каждой стороны — своя изнанка,
Свои изъяны — в каждом направленье.
Но все-таки попробуй в прежних рамках

Все лучшее, что может быть в движенье:
Открытия, и подвиги, и страсть —
Слитъ с полной невозможностью забвенья,

Оберегать и видеть научась,
Всей жизни впечатления былые,
Как неотъемлемую ее часть.

И — древние и вечно молодые —
Мы на планете истинных людей
Поселим наши образы живые.

ЧАСТЬ 5

|

1. Смущенные усталостью Вселенной,
Крупнейшие учёные с нуля
Отыскивали точки разветвленья,

Конец определенности суля,
И намекали на односторонность,
На стрельчатость законов бытия.

2. Но в дне сегодняшнем есть неопределенность.
Как перекресток множества дорог,
Он призрачен. И чует обреченность

Дрожащий мир, шагнувший за порог
Вчерашнего: не может разобрать,
Что было в раньше отведенный срок.

Вариантов прошлого ему не исчерпать.
(Хотя в грядущем больше есть путей
И вспомнить легче все ж, чем предсказать.)

И нам события минувших дней —
Как звуки, где полно обертонов.
Нет четкости в рисунке мелочей.

И каждый миг ты наблюдать готов
Как разветвление, так же и слиянье
Бесчисленного множества миров.

3. Хотя для нас, конечно же, нормально
Всю жизнь, блуждая разумом, искать
Ту нить, что будет мниться генеральной,

Единственной, и вечно собирать
Неясный образ прошлого — как сон.
Но можно ль хоть отчасти доказать,

Что многие миры сошлись в одном?
Ведь есть историков противоречья
И то, что ложной памятью зовем.

II

1. Придумав мир искусственных желаний,
Ты можешь впредь обосноваться здесь,
Не средь вещей, а среди их названий.

Но как-то, глядя в синеву небес,
Ты все поймешь иначе и спонтанно,
Начав с того, что бог, конечно, есть.

2. Есть бог, творящий в мире неустанно,
Он создает людей, раба к рабе,
Сейчас, ежесекундно, беспрестанно,

Смеясь и не внимая их мольбе,
И не желая видеть в людях больше,
Чем образы, подобные себе.

Но не во всем царит единобожье,
Ведь каждый, каждый хочет богом быть.
И вот толпятся, лезут вон из кожи,

Мешая планы мирозданья слить
В единое, не ведая счастливо,
Что могут по ошибке *натворить*.

(Не оттого ли противореча
Душа всего живого существа?
И потому особенно красива,

И этим чудом, собственно, жива.
Вот камень мертв — и господу понятен.
Тут спорить не о чем... Почти... Сперва...)

Но в жизни было б больше белых пятен,
Когда бы боги не толкались в ней,
Ведь каждому особый строй приятен.

Так многобожие творит верней
И делает свободными нас боле,
Чем чей-то цельный замысел вещей.

3. И такова свобода нашей воли,
Что мы способны богом ощутить
Себя. Свои мечты о лучшей доле,

Когда их невозможно воплотить,
Мы бережем; мы любим, мы желаем
Взамен героев вымышенных жить.

И до могилы нас сопровождают
Какие-то неясные миры,
Картины, о которых мы мечтаем,

Как маяки, а может быть, костры.
И править ими всеми так занято,
Выдумывая правила игры,

Которые твоей душе приятны,
Которые, как сказано уж было,
Ее масштаб наследуют изрядно.

4. Один создаст себе пейзаж унылый,
Где правят жажда золота и власти;
Другому сердцу ритмы танцев милы,

А третьему — биенье темной страсти.
А чей-то мир — бескрайний океан,
Где вечно мореходы сушат счасти.

5. И часто нами созданный обман
Похож на мир, который все мы знаем:
В его основе тот же самый план.

Один фантаст иль сказочник меняет
Какой-нибудь из принципов решенных,
Да иногда ученый созидает

Мир отвлеченных символов взнесенных.
Однако меру надо знать во всем.
Ведь Новый Свет, тобою сочиненный —

Он может стать за смертным рубежом
Твоей наградой или воздаяньем:
Придумал мир — так и живи же в нем!

6. Но пусть не нам назначено призванье
В свои мечты навеки удалиться.
Тогда встревожит сонное сознанье

То, что мечты способны воплотиться.
Не в будущем — тот случай слишком прост,
Нет, наша мысль не прекращает длиться

В иных мирах, ведущих счет и рост
Помимо нам известного доселе
Учения о численности звезд,

Но существующих на самом деле.
Недоказуемо, хотя красиво:
Твои мечты живут, страдают, верят

И в свой черед творят мечты счастливо...
Мы тоже — часть мечты кого-то, где-то
Следящего за нами терпеливо:

Он, посторонний, выдумал все это.
А кто-то третий выдумал его,
Его светила и его планеты.

7. И если горечь в мыслях у кого —
То новый персонаж уже заранее
Предрасположен к ней сильней всего,

И жизнь ему — как божье наказание.
А тот, кто воплощен в его мечте,
Способен и на большее страдание.

И в мыслях у него возникнут те,
Кто ради веры на костре сгорает
Иль завершает путь свой на кресте...

Минута гневной вспышки порождает
Цепочку палачей со злобой в лицах,
И ненависть в их душах возрастает.

Так и любовь не перестанет длиться,
И доброта, и жадность, зло и страсть —
Все, все на чьих-то жизнях отразится.

А это и ответственность, и власть,
И тяжело бывает это бремя,
Так тяжело, что сложно не упасть.

8. Но суть поступков наших, в то же время —
Не в нашей бесстолковой суете.
Мы — только часть всеобщего строенья,

Есть нить, протянутая в пустоте,
Влекущая создателя к созданью,
Творца — к делам его, мечтателя — к мечте.

Но в ней не строгость полотняной ткани,
Скорее беспорядочность клубка,
Обрывков перепутанных и рваных.

Бывает, мода, стиль или приказ —
И все мечтают об одном и том же,
В пустых деталях путаясь слегка,

А это означает многобожье
Для персонажей модного сюжета
(Для символов ортодоксальных — тоже).

Бывает, мозг безумного поэта
Насочиняет тысячи планет.
В них мысль его слегка переодета,

Но все же узнаваема вполне.
Так почерк бога в каждой божьей твари
Един на белом свете и во тьме.

9. Но в этом беспорядочном кошмаре
Любой из нас найдет, как я и ты,
Того творца, с которым будет в паре,

Как будто волны схожей частоты.
Ты связан с ним особым везеньем:
Ты — главный персонаж его мечты.

Лишь иногда, на несколько мгновений,
Мы можем эту связь предощущить,
В минуту счастья или вдохновенья,

А после — долго и ненужно жить,
Служа объектом для слабейших связей,
Чтоб фоном чьи-то подвиги снабдить.

10. Но даже если этот стих неясен,
Мы выдвинем еще один вперед.
Еще сложнее и еще опасней.

В природе нет скачков или пустот.
От автора к герою представленья
Возможен непрерывный переход.

11. И, кстати, у кого-то проявление
Мечты — в его же собственной судьбе.
Другой отталкивает воплощенье,

Создавши жизнь иным, но не себе.
В его душе царит закон жестокий:
О чем мечтал — не суждено тебе.

12. Но почему? Обдумав эти строки,
Мы вот что предположим на сей раз.
Быть может, существует одинокий,

Вне наших связей, тот, кто выше нас?
Он основные правила создал,
Что правят мирозданием сейчас.

Что ж, перевоплощений череда,
Допустим, подведет твое сознанье
На внешний, высший уровень, туда,

Где встанешь в ряд с вершителями знанья.
Тогда, оценивая их умы,
Творившие законы мирозданья,

Поймешь: они такие же, как мы,
Но более высокого порядка,
И тоже рвутся из своей тюрьмы.

И кто-то назначает их догадки,
Как и твоих перерождений бред,
Твои поступки и твои повадки.

13. А чувства и мечты? Ответа нет.
Наш долг не меньше и, увы, не боле,
Чем правильно исполнить свой сюжет,

А изменить его — да кто ж позволит!
И вот играет в пьесе без названья
То злыдень, то страдалец поневоле.

14. Но тот лишен свободного сознанья,
Кто тут же не задаст себе вопрос:
Возможно ли обратное влиянье?

Возможно ль обернуться в полный рост,
Восстать на автора своей судьбы грядущей?
Хоть этот бунт, конечно же, непрост.

А вдруг поможет случай вездесущий,
Или схлестнутся боги вдалеке?
Но ты захочешь зрелища получше:

Твой бог, в твоей трепещущий руке.
Так может быть смешна марионетка,
Иль кукловод на чьем-то поводке,

Иль кукла, убежавшая из клетки.
Грозя богам и путы разрубя,
Ты жить захочешь по своей наметке,

Но знай: в ответ, твой замысел губя,
Твои мечты и все твои герои
Восстанут точно так же на тебя,

Ведь сдвиг возможен только в целом слове.
И одному тебе, увы, решать,
Насколько этот факт тебя устроит...

2004–2007.

СОДЕРЖАНИЕ

Человеческие риски: от <i>Homo sapiens faber</i> к <i>Homo in tempore</i>	3
Настоящие путешественники во времени	13
Пролог	15
Часть 1. Ты — наша случайность	19
Часть 2. Анж.....	91
Часть 3. Эвар.....	113
Часть 4. Счастливчик.....	137
Замок Бессмертия.....	147
Синий вечер.....	149
Черная ночь.....	156
Розовое утро	167
Белый день	181
ИЗ РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ	
Дневник духа времени.....	187
Иисус по прозвищу мессия	235
Конец света.....	311
СТИХИ	
Из цикла «В помощь изучающему дифференциальные уравнения».....	325
Записки безумца	331
Наши песни	343
Антистихи.....	349
Любовный диптих.....	359
Краткий курс общей физики (<i>отрывки</i>).....	361

Шуликовская Валентина Валентиновна

Настоящие путешественники во времени

При оформлении книги использованы рисунки автора.
Вопросы, замечания и предложения можно направлять по адресу
viatores@mail.ru

Корректор Соболева З.Ю.
Компьютерная верстка Высоцкий С.В.
Графическое оформление Сутыгина О.Н.

Подписано в печать 11.03.2008. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,32. Уч. изд. л. 18,20.

Гарнитура Ариал. Бумага офсетная №1.

Тираж 1000 экз. Заказ №

ООО ИИЦ «Бон Анца»
426006, г. Ижевск, ул. Нагорная, 32, к. 201.
Тел. (+7-3412) 71-37-72. E-mail: mail@izhcat.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
материалов в ОАО «Дом печати - ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
